

17
69

О.О. ПОТЕБНЯ
І ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОЇ
ФІЛОЛОГІЇ

и



3
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА
О. О. ПОТЕБНЯ

61-62

О. О. ПОТЕБНЯ
І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ
ФІЛОЛОГІЇ



НБ ПНУС

565054

КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 1992

О. О. Потебня і проблеми сучасної філології; Зб. наук. праць / АН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Відп. ред. В. Ю. Франчук. — К.: Наук.-думка, 1991. — 248 с.

У збірнику розглядаються різноманітні аспекти наукової і суспільної діяльності О. О. Потебні, застосовуються і розвиваються конкретні результати його досліджень, висвітлюється місце вченого у вітчизняній лінгвістичній, фольклористичній, літературознавчій, психологічній, філософській та історичній науці. Для філологів, філософів, психологів, викладачів і студентів філологічних історичних факультетів вузів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки.

В сборнике рассматриваются различные аспекты научной и общественной деятельности А. А. Потебни, применяются и развиваются конкретные результаты его научных исследований, освещается место ученого в отечественной лингвистике, фольклористике, литературоведении, психологии. Для филологов, философов, психологов, преподавателей и студентов филологических и исторических факультетов вузов, всех, кто интересуется историей отечественной науки.

Редакційна колегія:

Франчук В. Ю. (відповідальний редактор), Б. М. Ажиук, В. О. Гавриш, С. Я. Єрмоленко, Г. П. Ужакевич, Ю. І. Мінералов, В. М. Русанівський, П. В. Чесноков

Затверджено до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН України

Редакція літератури, мови та мистецтвознавства
Редактор Н. Ф. Маківчук

4601000000 - 186

221-92

БЗ - 13 - 22 - 91

© Інститут мовознавства

ім. О. О. Потебні АН України, 1992

БІБЛІОТЕКА

Івано-Франківська
літературна

ІНБ. ІВ. 565054

ПЕРЕДМОВА

Наукова діяльність Олександра Опанасовича Потебні (1835 — 1891) відіграла виключно важливу роль у розвитку слов'янської філології і світової науки загалом. Долаючи історичну обмеженість та ідеалістичні уявлення свого часу, він зумів розробити філологічну концепцію, глибоко матеріалістичну і діалектичну за своєю суттю і перспективою. Учений підійшов до мови і поетичної творчості як до безперервної історично детермінованої діяльності, зумів показати їх у русі від минулого до теперішнього і майбутнього і разом із тим вибачити їх конкретну своєрідність і системно-типологічні принципи. Задовго до багатьох учених Заходу він зумів розробити такі методи дослідження мови і поетичної творчості, які стали справжньому розроблятися лише в ХХ ст. При цьому наукові концепції О. О. Потебні завжди протистояли і протистоять формалізму та індивідуалізму, опираються на глибоку народність і справжній демократизм у підході до мови і літератури.

Поряд із теоретичними проблемами мовознавства, фольклористики, етнографії учений приділяв багато уваги розробці найважливіших проблем теорії літератури. Спираючись на досягнення культурно-історичного і порівняльно-історичного вивчення словесного мистецтва, він створив принципіально новий історико-філологічний метод дослідження художньої творчості, для якого характерний глибокий історизм у підході до явищ духовної діяльності, до мислення, мови, фольклору і літератури. Осмислюючи специфічні особливості мистецтва слова, його внутрішні закони, О. О. Потебня розглядав їх в широкому контексті загальних закономірностей розвитку людської культури.

О. О. Потебня сміливо ставив перед наукою свого часу нові, спрямовані у майбутнє завдання, які й нині залишаються не розв'язаними. У збірнику робляться спроби накреслити деякі з таких завдань і положень.

У всій різноманітності наукових інтересів Потебні невідмінними залишалися матеріалістичні в своїй основі методологічні принципи наукового дослідження — послідовний історизм. Розуміння і мови в цілому і окремих її факторів як явищ, що постійно розвиваються, взаємозв'язок та взаємообу-

мовленністмовнихвищприродназиванняорганічнаєдністьформ думки і їх мовного вираження.

Праці О. О. Потебні витримали перевірку часом, довели свою життєздатність. У контексті сучасних лінгвістичних напрямків та різноманітних методів дослідження мови не втратили своєї вартості як результати наукової творчості Потебні, так і його методологічні принципи дослідження. Глибоке засвоєння і розробка наукової спадщини О. О. Потебні — справа величезного соціально-культурного значення, що сприяє розвитку ідей слов'янської науки, вихованню наукової молоді в душі великих гуманістичних ідей минулого.

П. В. ЧЕСНОКОВ

А. А. ПОТЕБНЯ ОБ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМАХ МЫШЛЕНИЯ В ИХ ОТНОШЕНИИ К ЯЗЫКУ

В статье освещается учение А. А. Потебни о соотношении форм мышления и форм языка. Разграничиваются два типа форм мышления — общечеловеческие логические формы, выражаемые с помощью универсальных языковых форм, и национальные семантические формы, воспроизводимые национальными грамматическими формами.

Бесспорной заслугой выдающегося отечественного лингвиста А. А. Потебни является то, что он рассматривает грамматические формы языка в первую очередь со стороны их семантики, т. е. как воплощение фактов мысли, при этом обоснованно квалифицирует их значения как формальные, связанные с формой мысли, а не ее конкретным содержанием. «Грамматическая форма есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением» (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 39). «Грамматическая форма... со своего появления и во все последующие периоды языка есть значение, а не звук. Формальность языка есть существование в нем общих разрядов, по которым распределяется частное содержание языка, одновременно со своим появлением в мысли», — подчеркивает великий ученый (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 61).

Поскольку же грамматические формы, как и их системы в целом, обладают определенной спецификой в каждом конкретном языке, постольку «языки, по справедливому утверждению А. А. Потебни, различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них» (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 69). Вместе с тем А. А. Потебня, опираясь на многолетний опыт изучения форм мышления логикой и на собственные наблюдения, правомерно рассматривает логические формы как общечеловеческие, единые для всех людей и не зависящие от языка, на котором осуществляется процесс мышления. «Логические категории..., — отмечает исследователь, — народных различий не имеют» (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 69).

Справедливость такого понимания логических форм мышления подтверждают многие советские лингвисты и философы. «Ни существенные типологические различия языков, проявляющиеся в структуре слова и предложения, а также характере грамма-

© П. В. Чесноков, 1992

тических категорий, ни действительно имеющие место различия в сфере значений, закрепленных за языковыми единицами различных языков, — пишет В. З. Панфилов, — не оказывают такого решающего влияния на мышление их носителей, которое бы приводило к созданию особых типов мышления, различий в самом их логическом строе, в законах их мышления”¹.

Положение об универсальном, общечеловеческом характере логического строя мышления поддерживает Г. А. Брутян, который заявляет: “Нельзя пройти мимо мнения ученых, исследующих высшую нервную деятельность людей и утверждающих, на основе колоссальных экспериментальных данных, идентичность логического строя мысли всех людей... Главное, на что хотелось бы обратить внимание, — это подчеркивание универсального характера логического строя мышления”².

Наконец, об однотипности мышления всех людей, которая невозможна без однотипности логического строя мышления, говорят классики марксизма-ленинизма. “Так как процесс мышления сам вырастает из известных условий, сам является естественным процессом, то действительно постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости развития, следовательно, также и от развития органа мышления”³, — утверждает К. Маркс.

Создается видимость противоречия, которое, однако, разрешается благодаря установлению того бесспорного факта, что в мышлении людей существует два типа мыслительных форм — общечеловеческие логические формы, порожденные потребностями процесса познания и в конечном счете потребностями практической деятельности людей, универсальный характер которых обуславливается единством человеческого познания и практики, и национальные формы мышления, обусловленные особенностями грамматического строя языка. Последние мы называем *семантическими формами мышления*. Поскольку логические формы порождены потребностями процесса познания, постольку каждая из них необходима для познавательной деятельности людей. В силу обусловленности грамматическими особенностями языков семантические формы могут заменять друг друга при переходе от одного языка к другому и в рамках одного языка подобно грамматическим формам. Следовательно, каждая из них не является необходимой для познания при общей облигаторности категории семантических форм. Неразграничение тех и других форм ведет к серьезным ошибкам, среди которых можно выделить две крайности: 1) сведение всех форм мышления к национальным семантическим формам под общим названием “логические формы” и в связи с этим признание национальных различий в логическом строе мышления людей, что свойственно, например, неогумбольдтианству; 2) сведение всех форм мышления к общечеловеческим логическим формам и в связи с этим отрицание возможности каких-либо различий

организации мысли у людей, говорящих на разных языках, а значит, усмотрение лишь материальных различий в формах разных языков, что типично для логического направления в языкознании.

Так, Г. Хольц связывает особые логические формы мышления с эргативной и номинативной структурами предложения и, значит, с языками, которыми они свойственны. Г. Хольц полагает, что понятие о субъекте действия, выраженное не именительным, а эргативным падежом, не может быть центром логической структуры суждения, так как занимает якобы зависимое положение. На этом основании делается заключение об отсутствии логического субъекта при эргативном строе в отличие от номинативного строя, который составляет языковую основу для логического субъекта⁴. В действительности семантические различия между эргативной и номинативной структурами иного порядка: в языках с эргативной типологией предложения в понятии субъекта переходного действия мыслится его специфика по сравнению с субъектом непереходного действия (внешняя активность субъекта переходного действия, ориентировка действия на объект), в языках с номинативной типологией предложения в понятии о субъекте переходного действия его отличие от субъекта непереходного действия не отражается (в обоих случаях мыслится лишь совершение действия субъектом). По словам Г. А. Климова, “на глубинно-синтаксическом уровне в качестве эргативной типологии предложения следует рассматривать такую типологию, в рамках которой субъект переходного действия трактуется иначе, чем субъект непереходного”⁵. Как видим, различие между рассматриваемыми грамматическими структурами, свойственными языкам различных типов, не затрагивает логической структуры мысли, выражаемой в предложении (суждения). И в языках номинативного строя, и в языках эргативного строя суждение содержит понятие о предмете мысли (субъект) и понятие о том, что сообщается об этом предмете (предикат). Различие наблюдается лишь в семантических формах.

Смешивая логические и семантические формы мышления, Б. Уорф усматривает особый логический строй, отличный от логики индоевропейских языков, в мышлении американских индейцев. Из факта частого отсутствия противопоставленных друг другу подлежащего и сказуемого в структуре предложения языков шауни, нутка и хопи он делает вывод об обычном отсутствии в мышлении соответствующих народов логических субъекта и предиката⁶ несмотря на то, что и в этих языках минимальный мыслительный акт, воплощающийся в предложении, как и во всех других языках, представляет собой сообщение чего-то о чем-то, т. е. соотносит логический предикат, в котором концентрируется новое знание, с логическим субъектом, выделяющим предмет мысли с помощью старого знания — того, что заранее известно о нем. Разумеется, при отсутствии подлежащего и сказуемого логические субъект и предикат выражаются иными чле-

нами предложения, что, кстати, нередко случается и в других языках, в том числе и в индоевропейских.

(Признание лишь универсальных логических форм мышления, как уже отмечалось, приводит к отрицанию национальной специфики в формальной организации мысли у людей, говорящих на разных языках, поскольку грамматические формы языка рассматриваются как манифестация только логических форм.) Такое понимание соотношения форм языка и форм мышления находит выражение в "Грамматике Пор-Рояля", в трудах К. Беккера, Г. Германа, Н. И. Греча, Ф. И. Буслаева. Структура предложения, например, трактуется как выраженная в языке структура суждения. Так, в "Грамматике Пор-Рояля" утверждается: "Высказанное суждение о вещах, как, например, "Земля (есть) круглая", называется предложением. Таким образом, каждое предложение обязательно имеет два члена: подлежащее (субъект), т. е. то, о чем что-то утверждается, например "Земля", и атрибут (определение), которое является тем, что утверждается, например "круглая"; кроме того, между этими двумя членами находится связка "есть"⁷. Примерно то же читаем у Ф. И. Буслаева: "Предмет, о котором мы судим, называется подлежащим (subjectum, subject). То, что мы думаем или судим о предмете (о подлежащем), именуется сказуемым (praedicatum, pradicat). Присоединение сказуемого к подлежащему именуется суждением. Суждение, выраженное словами, есть предложение"⁸. Недаром Н. И. Греч называет исследование отношений между мыслями и языковыми средствами их выражения философским⁹.

А. А. Потебне были чужды обе крайности, к которым он относился критически, особенно к логическому направлению, прекрасно сознавая, что "индивидуальные различия языков не могут быть понятны логической грамматике" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 69), которая, исходя лишь из логических форм, игнорирует различия в национальных формах мышления, связанных с различиями в грамматическом строе языков. И нужно отдать должное великому мыслителю, понимавшему неизбежность существования как всеобщих логических форм, так и национальных форм мышления, обусловленных языком, и важность изучения тех и других.

К сожалению, А. А. Потебня преувеличивает противопоставленность логических и семантических форм, не учитывая их взаимосвязи и единства и относя их к различным сферам мыслительной деятельности людей — к надязыковому логическому мышлению и собственно языковому мышлению. "Язык, — пишет он, — есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 70). Касаясь целей теоретического изучения языка, Потебня отмечает, что "для такого изучения" логико-грамматическое подлежащее и тому подобное (т. е. все, что относится к логическому строю мысли. — П. Ч.)... безразлично, так как существование этих вещей возможно только вне языка" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 68).

Такой разрыв логических форм мышления и форм мышления, обусловленных особенностями грамматического строя языка, характерен для психологического направления в науке о языке в целом. Г. Штейнталь считает, что язык есть особое мышление, протекающее по своим самобытным законам в формах, отличных от форм логического, неязыкового мышления. Формы и законы логического мышления изучает логика, в то время как формами и закономерностями языкового мышления должна заниматься лингвистика¹⁰. По мнению Г. Пауля, "грамматика и логика не совпадают прежде всего потому, что образование языка и его употребление осуществляются не с помощью строго логического мышления, а посредством естественного, не вышколенного движения совокупности представлений"¹¹. О. Есперсен полагает, что грамматика языка воплощает в себе не строго научную логику ("теоретическую школьную логику"), а отличную от нее логику практической, повседневной жизни¹².

Во второй половине XX в. разграничение и противопоставление двух разных типов мышления (логического и языкового) проявляется в концепции двух сфер преломления действительности при ее отражении в сознании человека — сферы мышления и сферы языка¹³.

Между тем логические и семантические формы находятся в диалектическом единстве, в отношении постоянного взаимодополнения и взаимопроникновения. Логические формы как общие, необходимые для мышления на любом языке структуры (способы построения) мыслей реализуются всегда в конкретных, специфических для отдельных языков семантических формах мышления, причем те и другие формы выступают как две стороны единого интеллектуального процесса — языкового мышления, ибо "общее существует лишь в отдельном, через отдельное", а "всякое отдельное есть (так или иначе) общее"¹⁴.

Чрезмерное противопоставление логических и семантических форм мышления приводит к преувеличенной противопоставленности логики и грамматики, к преуменьшению их реальной связи, к утверждению, что "языкознание, и в частности грамматика, ничуть не ближе к логике, чем какая-либо из прочих наук" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 70).

Такому пониманию соотношения логики и грамматики способствовали взгляды представителей идеалистической логики, широко распространенные в XIX в. и сохранившиеся в первой половине XX в., согласно которым единица мыслительного процесса, образующая наименьший мыслительный акт, т. е. суждение, понималась слишком широко, в силу чего для нее невозможно было найти эквивалентную единицу в системе языка. Это создавало впечатление отсутствия взаимосоответствия между основными единицами языка и мышления. Во многих работах по логике суждение определялось как любое сочетание понятий или представлений, а иногда как расщепление целостной мысли (сложного представления) на смысловые элементы. И

том и в другом случае суждение рассматривалось как факт чистого сознания без учета его отношения к действительности, что не позволяло вскрыть его специфику, показать его отличие от сложного понятия. Приведем несколько примеров: "Всякое суждение ... высказывает отношение между содержаниями двух представлений" ¹⁵.

"В суждении ... устанавливается связь между двумя отдельными содержаниями представлений" ¹⁶.

Суждение есть "сочетание по меньшей мере двух понятий" ¹⁷.

"У лица, совершающего или высказывающего акт суждения, имеются во время этого процесса два различных представления..." ¹⁸.

"Сознательный акт суждения предполагает, что представления эти уже образованы" ¹⁹.

И. Ф. Герbart следующим образом изображает процесс возникновения суждения: "Если взять два понятия, встретившиеся друг с другом в мышлении, то все зависит от того, войдут ли они в связь или нет. В этом неопределенном положении (Schweben) образуют они прежде всего вопрос: разрешение этого вопроса дает суждение" ²⁰.

Как сочетание представлений, образующих в своем единстве понятие, истолковывал суждение И. Кант ²¹.

Как результат разложения единой мысли (сложного представления) на смысловые элементы рассматривал суждение В. Вундт ²², а в России эту точку зрения поддерживал профессор Карпов ²³.

Специфику суждения М. И. Владиславлев видел в раздельном представлении предмета и его признака ²⁴.

При изложенной трактовке суждения совершенно стирается различие между суждением и сложным понятием, оказывается, например, необъяснимой разницы между единицей мышления, выраженной словосочетанием *желтый лист*, и единицей мышления, воплощенной в предложении *Лист желт*, языковыми выразителями суждения признаются разные единицы, из чего делается вывод об отсутствии в языке единицы, соответствующей суждению. Соглашаясь признать в конечном счете суждением любое сочетание понятий ²⁵, Г. Штейталь приходит к убеждению, что суждение может воспроизводиться не только предложением, но и словосочетанием. В предложении *Любящий отец воспитывает (своих детей) строго*, по его мнению, заключено три суждения: 1) *любящий отец*, 2) *отец воспитывает*, 3) *воспитывает строго* ²⁶.

При сложившейся в науке концепции суждения А. А. Потебня с логической необходимостью сделал вывод о том, что суждение может воссоздаваться не только любым сочетанием двух знаменательных слов (двух членов предложения), но и одним сложным словом, в котором значения частей достаточно четко противопоставлены друг другу (например, укр. *пичкур* — истопник, человек "курящий печи") (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 69).

В действительности суждение представляет собой особую форму отражения действительности, качественно отличную от сложного

понятия, образующегося в результате слияния нескольких простых понятий. В материалистической логике суждение определяется как "форма мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и отношений и которая обладает свойством выражать либо истину, либо ложь" ²⁷. Суждение может осуществлять свою функцию лишь благодаря особой структуре, в которой различаются и противопоставляются друг другу два понятия — понятие о предмете мысли, выделяющее его с помощью заранее известных признаков (субъект), и понятие, заключающее в себе новое знание о признаках этого же предмета, содержание которого утверждается или отрицается относительно предмета мысли. Такая мысль может выражаться только повествовательным предложением. При этом она должна обладать предикативностью и модальностью, поскольку ее содержание соотносится с определенным предметом действительности и в ней же содержится авторская оценка этого соотношения: новое содержание может утверждаться или отрицаться относительно предмета мысли с полной уверенностью или только предположительно (ср.: *Николай — хороший шахматист* и *Николай, вероятно, хороший шахматист*). ¹

Во времена А. А. Потебни не была разработана логическая теория вопроса и побуждения, а также учение об общей форме мышления, объединяющей суждение, вопрос и побуждение и характеризующейся соотносительностью ее содержания с предметом действительности и, следовательно, субъектно-предикатной структурой; варьирование характера этой соотносительности (утвердительно-отрицательная, вопросительная, побудительная) обуславливает реализацию указанной общей логической формы в виде суждения, вопроса или побуждения, которые выступают как ее разновидности. В наших работах эта общая форма получила название логемы (логической фразы) ²⁸.

В силу неразработанности теории вопроса, побуждения и логемы создавалось впечатление, будто для вопросительных и побудительных предложений, а также для предложения как родовой категории не существует логических эквивалентов, к тому же и языковой эквивалент суждения представлялся недостаточно четко: было ясно, что всякое суждение выражается в предложении, но не всякое предложение воспроизводит суждение. К этому следует добавить невыявленность логического эквивалента для слова, которое в одних случаях выражает понятие, а в других не выражает (ср.: *человек и для*), и, наоборот, языкового эквивалента для понятия, воссоздаваемого то словом, то словосочетанием, то более сложным построением, включающим в себя, помимо знаменательных слов, зависимое предложение со снятой предикативностью (ср.: *победитель, одержавший победу, тот, кто победил, дело, которому мы служим*). Возникла картина несовпадения основных логических и грамматических форм (типовых единиц).

Несформированность теории актуального, или логико-грамматического, членения предложения с выделением темы (данного) и ремы (нового), или логико-грамматического субъекта и логико-грамматического предиката (по терминологии В. З. Панфилова²⁹), привело к убеждению в том, что структура мысли (суждения) не находит соответствия в структуре предложения.

Таким образом, в науке сложились условия, невольно толкавшие ученых на путь преувеличенного противопоставления и разделения логических и грамматических (следовательно, и воплощенных в них семантических) форм, а на этой основе и учений о тех и других формах — логики и грамматики. Сказанное относится не только к А. А. Потембе, но и ко многим другим исследователям. По существу оценка соотношения логики и грамматики, высказанная А. А. Потембей, справедлива по отношению к распространенным в его время логическим и грамматическим концепциям, но она не касается логики и грамматики как наук в целом.

В действительности же связь логики с грамматикой является более тесной, чем с большинством других наук, в силу единства логических и семантических форм мышления, в силу того, что логические формы мышления находят материальную основу в определенных грамматических формах (типовых единицах, обладающих определенной грамматической формой); но в отличие от семантических форм они воплощаются не в специфических национальных формах конкретных языков, а в универсальных грамматических формах (единицах). Так, суждение манифестируется в повествовательном предложении, мысль-вопрос — в вопросительном, мысль-побуждение — в побудительном; логема как общая форма мышления, объединяющая суждение, вопрос и побуждение, — в предложении как общей коммуникативной единице языка и речи, структурные компоненты логемы, в частности суждения, — логические субъект и предикат — в компонентах актуального (логико-грамматического) членения — теме и реме (логико-грамматическом субъекте и логико-грамматическом предикате), понятие — в номинативной единице языка, разновидностями которой являются знаменательное слово (*работа, справедливость, учить*), словосочетание (*молодой учитель, отличная работа, высшая справедливость*) и построение, сочетающее знаменательное слово и зависящее от него придаточное предложение (*человек, который смеется, женщина, которая поет, тот, кто идет первым*). В связи с тремя разновидностями номинативной единицы следует говорить о трех основных типах номинации — лексической, синтагматической и фразовой. Номинативными свойствами обладает и предложение, но его нецелесообразно называть номинативной единицей, потому что оно "более чем номинативная единица": на базе признака номинативности у предложения формируются признаки предикативности и коммуникативности, являющиеся для него специфическими.

Логическим эквивалентом слова (разумеется, самостоятельно значимого слова, не потерявшего своей особой семантики в составе фразеологического оборота) может быть лишь та единица мышления, которая в мыслительном процессе выступает как его наименьший отрезок (сегмент), поскольку значимые части слова (морфемы) каких-либо сегментов мысли не выражают, а лишь в составе словоформы соответствуют определенным сторонам ее содержания. Например, морфемы множественного числа -а, -ы придают словоформам дома, сады способность воспроизводить идею множества слитно с их лексическими значениями, но сами по себе этой идеи не воссоздают. Такую единицу мышления, которая составляет наименьший сегмент мыслительного процесса и соответствует слову, мы называем концептом. Концепт может быть простым понятием, если он выражается знаменательным словом (*город, работать, достижение*), или особой релятивной единицей, раскрывающей лишь отношения между понятиями, если он воспроизводится служебным словом (*из-за, перед, над, после*)³⁰.

Сверхфразовому единству в сфере мышления соответствует сочетание логем, связанных между собой по содержанию, часто, хотя и не всегда объединенных повторяющимися логическими субъектами или предикатами, при этом связь может быть и цепной, при которой предикат предшествующей логемы становится субъектом последующей. Такая единица мышления в наших работах получила наименование логической цепи³¹. Особенностью сверхфразового единства и логической цепи является двуступенчатость соответственно процесса коммуникации и процесса мышления. На нижней ступени возникает столько коммуникативных и мыслительных актов, сколько предложений и логем в сверхфразовом единстве и логической цепи, при этом каждая логема имеет свой особый объект отражения. На высшей ступени все эти акты сливаются в один коммуникативный и мыслительный акт с единым объектом отражения, в качестве которого выступает сложная ситуация, объединяющая объекты коммуникативных и мыслительных актов нижней ступени, причем в центре ее оказываются отношения между этими объектами. Например, в сверхфразовом единстве и логической цепи *Пошел дождь. Дети побежали в дом* на нижней ступени наблюдается два коммуникативных и мыслительных акта — два утверждения с двумя различными объектами: о начале дождя и о бегстве детей в дом. На высшей ступени появляется одно утверждение о временной последовательности этих двух событий с отмененком причинной обусловленности второго факта первым.

В логической цепи, выраженной сверхфразовым единством *Красивы зимой леса. Красивы зимой луга, поля, реки* на нижней ступени имеют место два утверждения относительно двух объектов — красоты лесов и красоты лугов, полей, рек, следовательно, наблюдается два минимальных мыслительных акта. На высшей ступени они сливаются в одно утверждение относительно одного объекта —

единства, с одной стороны, лесов и, с другой — лугов, полей, рек в обладании общим признаком красоты. При этом связь двух логем подчеркивается повторением одного и того же логического предиката.

Как уже отмечалось, одним из важнейших результатов исследовательской деятельности А. А. Потебни является установление им факта существования национальных форм мышления, связанных с особенностями грамматического строя языка, которые мы называем семантическими формами мышления. Однако ученый не только выявляет сам факт существования этих форм, но и намечает некоторые их характеристики, обнаруживая одновременно варьирование этих характеристик в языках, различающихся грамматическим строем, показывая, как особенности грамматических форм языков обуславливают различия в формальных характеристиках выражаемых мыслей, вскрывая существо этих различий, состоящих в чисто структурных расхождениях между мыслями, воспроизводимыми взаимно соответствующими друг другу единицами разных языков и совпадающими по их объективному содержанию. В связи с этим глубокому содержательно-семантическому и формально-семантическому анализу подвергаются лексические и грамматические значения в слове и отношения между ними, рассматриваются вопросы о возможности тождества грамматических значений одних языков лексическим значениям других, о соотношении грамматических значений, выраженных синтетическими средствами и грамматических значений, выраженных аналитическими средствами, об историческом изменении национальных (т. е. семантических — по нашей терминологии) форм мышления в связи с историческими изменениями в грамматическом строе языка.

Как показали дальнейшие исследования, семантические формы весьма многочисленны, поэтому описать каждую из них не представляется возможным, но всем им присущи десять параметров, в рамках которых может быть описана каждая семантическая форма. Характеристика единицы мышления, воплощенной в грамматически оформленной единице языка, в любом из этих параметров составляет одну из ее формальных особенностей. Единство таких характеристик во всех десяти параметрах и образует семантическую форму³².

Первый параметр — степень расчлененности отражаемого содержания.

Одно и то же объективное содержание благодаря использованию различных грамматических форм может расчленяться в мысли на большее или меньшее количество структурных сегментов или вообще не расчленяться. При использовании определенно-личных односоставных предложений лицо и действие мыслятся слитно, не противопоставляясь друг другу, в связи с чем мысль оказывается нерасчлененной; при выражении того же содержания двусоставным предложением лицо и действие осознаются раздельно, противопоставляясь друг другу, и целостная мысль членится на два отдельных, хотя

и связанных между собой сегмента (ср. латинское *Amo* и английское *Novel*). В древнерусском языке были широко распространены определенно-личные односоставные предложения с глаголом-сказуемым в первом и втором лице (*бегу, спешить*). Поскольку выраженность лица и действия в одном слове, обуславливавшая их слитное отражение, снимала возможность их противопоставления и акцентирования одного из этих компонентов, постольку назревавшая потребность в подчеркивании лица с помощью логического ударения, в выделении субъекта действия, в его противопоставлении действию, а также в противопоставлении одного субъекта другому приводила к употреблению местоимений, в связи с чем все чаще приходилось обращаться к двусоставным предложениям³³.

То же самое наблюдаем при сопоставлении флективно-синтетического и аналитического способов выражения отношений между предметами и явлениями. В первом случае предмет и отношение к нему мыслятся слитно, и противопоставление их друг другу полностью исключается, во втором случае их отражение в сознании оказывается раздельным. Так, в латинском *fratris liber* как и в русском *книга брата*, принадлежность книги брату мыслится одновременно с братом благодаря их выражению одним словом, в то время как во французском *le livre du frère* отношение к брату (принадлежность) и брат осознаются раздельно, выражаясь разными словами.

Второй параметр — степень самостоятельности отражаемого содержания.

По отношению к первому этот параметр является как бы обратным. Если первый параметр характеризует целостную мысль со стороны расчлененности или нерасчлененности, большей или меньшей расчлененности ее содержания на сегменты, то второй характеризует каждую часть содержания этой мысли со стороны самостоятельности или несамостоятельности ее осмысления и в связи с этим ее представленности или непредставленности в виде особого сегмента (концепта). Так, благодаря двусоставному предложению лицо мыслится отдельно от действия, его идея оформляется в сознании как особый структурный компонент мыслительного потока. В случае односоставного предложения идея лица сливается в мысли с идеей действия, не осознаваясь отвлеченно от нее. Содержание, оформленное в виде особого сегмента, в свою очередь, может выступать как структурно несамостоятельное (выражаясь с помощью служебного слова), и как структурно самостоятельное (выражаясь с помощью знаменательного слова). В первом случае сегмент мысли не характеризуется особым отношением к другим сегментам, а подсоединяется к ним для раскрытия их отношений, в связи с чем ни от него, ни к нему нельзя задать смысловой вопрос. Таков, например, сегмент, выраженный предлогом *для*, в сложном понятии, воспроизводимом словосочетанием *подарок для сына*. Во втором случае сегмент мысли находится в особом отношении к другим сегментам, что подтверждается возможностью задать вопрос к

нему или от него. Таков концепт, манифестирующийся в причастии *предназначенный*, в сложном понятии *подарок, предназначенный сыну*; и к нему, и от него можно задать смысловой вопрос (подарок — какой?, предназначенный — кому?).

Третий параметр — распределение совокупного содержания мысли между ее структурными компонентами (сегментами).

Одно и то же совокупное содержание целостной мысли при неизменном количестве ее компонентов может по-разному распределяться между ними: на стыке непосредственно соотнесенных компонентов какая-то часть содержания может входить в одних случаях в состав одного компонента, в других — в состав другого, при этом обычно наблюдается слияние идеи отношения между содержаниями соотнесенных компонентов то с компонентом, от которого направлено отношение, то с компонентом, к которому направлено отношение. Например, в русском *Обхожу озеро* идея локального отношения действия к предмету благодаря приставочному глаголу сливается с понятием о действии, в то время как в тождественном ему по объективному содержанию *Иду вокруг озера* та же идея отношения благодаря предложно-падежной форме имени подключается к понятию о предмете. Такое же различие характеризует немецкие *Er besteigt den Berg* и *Er steigt auf den Berg* (оба со значением "Он поднимается на гору").

Четвертый параметр — характер охвата отражаемого содержания.

Этот параметр касается концентрации в том или ином компоненте мысли (в той или иной единице мышления) большего или меньшего содержания, причем именно данного содержания, а не другого, в силу этого четвертый параметр непосредственно связан с двумя предыдущими. Единица мышления, воспроизводимая глагольной формой определенно-личного односоставного предложения отражает не только действие, но и лицо, его совершающее, и поэтому оказывается богаче по содержанию, чем единица мышления, воссоздаваемая глагольной формой соответствующего двусоставного предложения, поскольку последняя отражает действие отчлененно от его субъекта. Компоненты мысли, выражаемые в рассмотренных выше примерах приставочными глаголами, охватывают действие совместно с локальным отношением, в то время как единицы мышления, передаваемые соответствующими по содержанию бесприставочными глаголами, представляют действие отвлеченно от его локального отношения и заключают в себе, естественно, меньшее содержание.

Более широким охватом содержания характеризуются компоненты мысли, заключенные в именных словоформах флективно-синтетических языков, по сравнению с компонентами мысли, воспроизводимыми именными словоформами аналитических языков. В первых предметы и явления мыслятся совместно с их отношениями (*книга брата*), во вторых — абстрагированно от этих отношений (*le*

livre du frère).

Пятый параметр — порядок следования компонентов мысли.

Поскольку возникновение каждого компонента мысли стимулируется соответствующей ему материальной единицей языка постольку порядок слов влияет на порядок следования компонентов мысли. А так как языки различаются порядком слов в предложении и словосочетании, то и порядок следования компонентов мысли может быть различным при мышлении на разных языках. В немецком придаточном предложении сказуемое ставится в самом конце. Это приводит к тому, что предикативный признак мыслится не только после его носителя (субъекта), но и после всех объектов и обстоятельств. В русском же языке сказуемое придаточного предложения обычно следует непосредственно за подлежащим, что обуславливает осознание предикативного признака до обстоятельств и объектов (ср.: *Er sagt, daß sein Bruder die Universität im Jahre 1980 absolviert hat* и *Он говорит, что его брат окончил университет в 1980-ом году*). В русском языке несогласованные определения обычно следуют за определяемыми существительными, благодаря этому признаки мыслятся после их носителей (*башня замка Гедеминаса*), в то время как в литовском языке несогласованные определения предшествуют определяемым словам, в связи с чем признаки осознаются раньше их носителей (*Gedemino pilies bokštas*).

Шестой параметр — система отношений между компонентами мысли.

При отражении одной и той же объективной ситуации в одних случаях могут отражаться непосредственные отношения между одними ее частями, а в других — между другими. Это обуславливает различие в системах отношений между компонентами мысли, которое всегда связано с различием в системе синтаксических отношений. Так, в санскрите существуют страдательные конструкции типа "Убит ногами слонами", в которых одновременно раскрываются отношение между действием и его орудием и отношение между действием и субъектом действия. В русском языке таким структурам соответствуют построения типа "Убит ногами слонов", в которых отражается то же отношение между действием и орудием, но вместо непосредственного отношения действия к субъекту выявляется отношение между орудием и субъектом³⁴. В немецком языке оборот *accusativus cum infinitivo* употребляется после глаголов чувственного восприятия, что невозможно в русском языке. Поэтому предложение *Ich höre einen Vogel singen* (букв. *Я слышу птицу петь*) переводится на русский язык (при сохранении структуры простого предложения) как *Я слышу пение птицы*. При этом системы отношений между компонентами мысли в немецком и русском предложениях оказываются неодинаковыми. В немецком предложении отражаются непосредственно отношения слухового восприятия к птице, слухового

восприятия к пению и птицы к пению. В русском предложении отображаются только два из трех отмеченных отношений: непосредственное отношение слухового восприятия к птице в нем отражения не находит.

Седьмой параметр — направленность отношений между компонентами мысли.

При одной и той же системе отношений между компонентами мысли направленность отношений может быть неодинаковой, потому что отношение между теми же объективными фактами может отражаться с разных сторон. С помощью действительной конструкции (*Читатели посещают библиотеку*) отображаются отношение субъекта к действию и отношение действия к его объекту, а с помощью страдательной конструкции (*Библиотека посещается читателями*) — обратные отношения объекта к действию и действия к субъекту. В русском языке при изображении отношения между действием или состоянием и деятелем или носителем состояния часто используются безличные односоставные предложения, например: *Как тебе служится?, Нам живется хорошо*. В них отражается отношение действия или состояния к производителю или носителю, а именно принадлежность действия или состояния производителю или носителю (отнесенность действия или состояния к производителю или носителю). В соответствующем двусоставном предложении, которое предпочитается немецким языком, раскрывается отношение деятеля или носителя признака к действию или признаку — совершение действия его производителем или обладание носителем признаком (*Wie dienst du? — Как ты служишь?*).

Восьмой параметр — собственно отношения между компонентами мысли.

При различиях в системе отношений и в их направленности наблюдаются различия в отражении и самих отношений. Как было уже отмечено, в санскритском *Убит ногами слонами* раскрывается отношение действия к субъекту, а именно совершаемость действия субъектом. В соответствующем русском построении *Убит ногами слонов* отображено отношение орудия к субъекту действия — принадлежность орудия субъекту. При действительной конструкции последовательно отражаются осуществление действия субъектом и направленность действия на объект, а при страдательной конструкции — испытывание (восприятие) действия объектом и осуществимость действия субъектом. При сопоставлении безличных односоставных предложений с соответствующими им по объективному содержанию двусоставными предложениями мы убедились в том, что в односоставных предложениях отображается принадлежность действия или состояния деятелю или носителю, а в двусоставных предложениях — обратное отношение, а именно осуществление действия его производителем

или обладание носителя признаком.

Девятый и десятый параметры рассмотрим несколько подробнее.

Девятый параметр — степень структурной полноты мысли.

В большинстве случаев мысль является структурно полной, не нуждающейся в восполнении ее дополнительными компонентами (*Трамвай идет, Налейте мне горячего чаю, Брат купил новый телевизор, Сын помогает отцу*). Структурная полнота мысли обуславливается “насыщенностью” смысловых отношений, т. е. обязательным отражением предметов и явлений, с которыми связаны отображаемые в пределах данной мысли отношения, а также отсутствием таких компонентов, для установления смысловых отношений с которыми необходимо введение дополнительных компонентов. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий мысль становится структурно неполной.

Так, восклицание *Идет!*, произнесенное при виде приближающегося трамвая, выражает мысль, структурно неполную, в которой не отражен субъект действия при отображении его отношения к действию. Восполнение осуществляется благодаря соединению этой мысли с чувственным образом предмета, в результате чего образуется своеобразное гибридное чувственно-логическое отражение объективной ситуации³⁵. Подобное явление наблюдается и тогда, когда во время разливания чая кто-либо обратится с просьбой *Мне горячего*, при этом возникает структурная неполнота мысли: отсутствующий компонент, отражающий действие, и компонент, отражающий прямой объект. Оба они восполняются за счет чувственного восприятия.

Если говорящий, успев сказать *Сын помогает... или Брат купил новый...*, почему-либо замолчит, то в сознании слушателя возникнут структурно неполные (незавершенные, прерванные) мысли: в первой из них окажется “ненасыщенным” смысловое отношение направленности действия на объект, воспроизводимое сильноуправляющим глаголом *помогать*; во второй не получит “насыщения” такое же отношение, выражаемое глаголом *покупать*, кроме того, во второй мысли компонент *новый*, отображающий признак, окажется вне смыслового отношения к его носителю, поскольку последний не найдет отражения в сознании адресата. Обе мысли не получают восполнения за счет чувственных образов, так как для этого необходима соответствующая ситуация.

Следует иметь в виду, что о структурной неполноте мысли можно говорить лишь тогда, когда она восполняется благодаря ситуации чувственными образами или вообще не восполняется. Если же восполнение осуществляется за счет речевого контекста, то в неполную мысль включаются недостающие логические компоненты, в связи с чем она становится структурно полной, а неполной остается только речевая единица, непосредственно выражающая эту мысль.

Десятый параметр — степень повторяемости содержания.

Объективное явление может быть отражено в мыслительном процессе лишь один раз, но его отражение может повториться дважды или большее число раз в одном мыслительном акте или в нескольких следующих друг за другом актах мышления. Такое повторение обычно объединяет мыслительные акты во внутренне связанную цепь, отражая объективную связь ряда ситуации, позволяя рассматривать одни и те же вещи в различных отношениях. Разумеется, в самой объективной действительности такой повторяемости нет: могут появляться вещи, подобные прежним, но одни и те же вещи не возникают повторно. Следовательно, повторяемость или неповторяемость определенного объективного содержания в мысли, количество повторений — это проявление формы отражения, специфики самого познавательного процесса.

Осуществляется повторяемость содержания благодаря повторению языковых единиц (обычно слов или словосочетаний), употреблению единиц, синонимичных предшествующим, или использованию местоимений, повторно воспроизводящих содержание заменяемых ими единиц. Так, с помощью сверхфразового единства *На лесной поляне мы увидели небольшой дом. Крыша дома была ярко-красной. Стены дома были желтыми* трижды отражается один и тот же предмет благодаря повторению слова *дом*. Такое же трехкратное отражение сохраняется, если во втором и третьем предложениях словоформу *дома* заменить словоформами *постройки, жилища* или *его*.

Но и опустив словоформу *дома* во втором и третьем предложениях без всякой замены, мы сохраним отражение того же сложного фрагмента объективной действительности, объединяющего три простые ситуации (*На лесной поляне мы увидели небольшой дом. Крыша была ярко-красной. Стены были желтыми*). При этом отражение одного и того же предмета (дома) повторяться не будет. Возникнет своеобразное наложение двух последующих мыслей на первую — подключение понятия о доме, которое первоначально входит в структуру первого мыслительного акта, ко второму и третьему мыслительным актам, которые без этого окажутся информативно неполными: не произойдет идентификации предмета мысли, который без такого наложения не может быть выделен, поскольку во втором и третьем актах предметом мысли являются соответственно крыша и двери увиденного нами дома. Из сказанного следует, что при отсутствии повторяющегося отражения одних и тех же вещей в цепи мыслительных актов, отражающих ряд объективных ситуаций, включающих одни и те же предметы и явления, образуется своеобразная форма мышления, при которой один и тот же компонент входит в ряд следующих друг за другом мыслей, находя специальное языковое воплощение лишь в высказывании, соответствующем первой мысли.

Неоднократное отражение одних и тех же объективных фактов возможно и в пределах одного мыслительного акта, что бывает обуслов-

лено потребностью их акцентирования, сосредоточения на них особого внимания и осуществляется путем повторения одних и тех же языковых единиц или использования синонимичных единиц и местоимений. Например: *“Ветер, ветер на всем белом свете”* (Блок); *“Ветер, ветер! Ты могуч...”* (Пушкин); *“Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось!”* (Пушкин); *“...Зимы ждала, ждала природа”* (Пушкин).

В одном мыслительном акте повторяемость отражения фактов действительности может вызываться избыточностью языковых средств, обязательностью присоединения определенных грамматических значений к семантике лексических единиц даже при выражении идентичных им значений другими лексическими единицами, т. е. опять-таки особенностями грамматического строя языка. Так, воспроизводя идею множественности определенными и неопределенными числительными, с которыми связаны существительные, говорящие на русском языке должны обязательно облекать эти существительные в форму множественного числа, выражающую в свою очередь идею множественности (*многие люди, несколько деревьев, двадцать лошадей*). Следовательно, множественность предметов отражается в сознании дважды, причем один раз в отдельном сегменте мысли, выражаемом числительным, а другой — слитно с понятием об определенных предметах (при выражении идеи множественности морфологической формой существительного).

Возможны случаи, когда компонент одного из мыслительных актов повторяет содержание совокупности компонентов этого же акта мысли (при наличии так называемых обобщающих слов) или содержание всего предшествующего мыслительного акта и даже целой цепи мыслительных актов. Например, в предложении *Горы, долины, реки и лес — все утонуло во мраке* содержание слова *все* редуцирует содержание предшествующего ему однородного ряда. В предложении же *Все это очень беспокоило отца*, следующем за цепью актов мысли, манифестирующихся в нескольких предложениях и отражающих несколько событий, компонент *все это* повторяет концентрированно содержание множества мыслительных актов.

Развивая учение о грамматических формах слова, А. А. Потебня намечает, в сущности, выделение некоторых параметров семантических форм мышления, хотя, естественно, не поднимает проблемы параметров семантических форм. Имея в виду семантику морфологических форм слова, он утверждает: “На мышление грамматической формы, как бы она ни была многосложна, затрачиваем так мало новой силы, кроме той, которая нужна для мышления лексического содержания, что содержание это и грамматическая форма составляют как бы один акт мысли, а не два или более и живут в сознании говоря-

щего как неделимая единица" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 37). В то же время А. А. Потевня указывает на существование языков, в которых содержание, воспроизводимое во многих других языках грамматической формой слова, выражается особыми словами и поэтому не сливается с лексическим содержанием основного слова в одном компоненте мысли, а выступает в качестве ее отдельного сегмента. В таких языках "категория множественного числа выражается словами "много", "все"; категория времени — словами, как "когда-то", "давно"; отношения, обозначаемые у нас предлогами, словами, как "зад", "спина"; например, а спина б = а за б" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 38).

В приведенных высказываниях затрагиваются особенности трех параметров — степени расчлененности отражаемого содержания, степени самостоятельности отражаемого содержания и характера охвата отражаемого содержания.

Если отношение факта, отраженного в лексическом значении слова, к другому факту выражается с помощью морфологической формы этого же слова, то идея данного факта и идея его отношения сливаются в одном структурно не расчлененном компоненте мысли и не противопоставляются друг другу, т. е. данная мысль оказывается нерасчлененной (например, слияние идеи действия и идеи времени в одной нерасчлененной единице мышления при их выражении глаголом в форме прошедшего времени — *работал*). Если же идея факта и идея его отношения к другому факту воспроизводятся разными словами, то возникает расчлененная мысль, компоненты которой противопоставляются друг другу, не сливаясь воедино (как, например, в случае выражения отношения действия ко времени особым словом при отсутствии форм времени у глагола: при дословном переводе на русский язык такая форма должна выглядеть примерно как *работать прежде*).

При выражении отношения данного факта к другому факту морфологической формой слова (например, отношения действия ко времени временной формой глагола) отражение этого отношения, сливаясь с отображением факта в одной нерасчлененной мысли, теряет всякую структурную самостоятельность. При выражении того же отношения особым словом идея этого отношения приобретает форму самостоятельного компонента мысли.

Если слово, раскрывающее отношение, является служебным, то компонент мысли, содержащийся в нем, оказывается структурно несамостоятельным. Если же это слово — знаменательная единица, то выражаемая им идея отношения выступает как структурно самостоятельный компонент мысли.

В случае слитного отражения факта и его отношения к другому факту при помощи одной словоформы возникает единица мышления, обладающая более широким охватом объективного содержания (более богатая по содержанию), чем каждый из компонентов мысли при раздельном отражении факта и его отношения к другому факту с помощью разных слов.

Заслуживает внимания соображение А. А. Потевни о том, что развитие сложных (аналитических) форм в прежде флективно-синтетических языках ведет к определенным изменениям в форме мысли. В связи с этим А. А. Потевня пишет, "что замена простой формы сложно не есть только заплатка на старое платье, а создание новой формы мысли; образование предлога из существительного и сочетание этого предлога с именем, будет ли оно еще снабжено прежним окончанием, или нет, по значению своему для мысли не есть то же, что прежний падеж, а нечто, по всей вероятности, более согласное с новыми ее потребностями" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 66).

Однако в данном случае исследователь ничего не говорит о своеобразии вновь возникающей формы мысли. Свообразие же это состоит в том, что прежде слитное благодаря флективно-синтетической падежной форме отражение предмета и отношения к нему, исключавшее всякую самостоятельность идеи отношения и ее противопоставленность идее предмета, заменяется раздельным (расчлененным благодаря известной противопоставленности предлога знаменательному слову) отображением отношения и предмета, при котором идея отношения приобретает определенную самостоятельность и в известной мере противопоставляется идее предмета. Однако единица, в виде которой оформляется эта идея, не превращается в структурно самостоятельный компонент мысли, поскольку она выражается служебным словом. Вполне понятно, что при этом более узким становится охват содержания в единице мышления, заключенной в имени: если раньше в ней отражался предмет совместно с отношением к нему, то теперь идея отношения устраняется из содержания этой единицы.

Не говоря специально о формах мышления, А. А. Потевня фактически поднимает проблему различия семантических форм в параметре "характер охвата отражаемого содержания" при рассмотрении частей речи и соответствующих им членов предложения, касаясь не только их современного состояния, но и исторического развития. Ученый следующим образом характеризует различия между глаголом и именем, прилагательным и существительным и между соответствующими им членами предложения, а также специфику наречия — обстоятельства: "Сравнивая, с одной стороны, выражения, как "зеленая трава", не составляющее предложения, а с другой — предложения, как "трава зеленеет", не найдем в них никакого различия по содержанию; но глагол изображает признак во время его возникновения от действующего лица, а имя — нет" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 91).

"... По отношению к познающему лицу и акту познания имя относится к глаголу, как воспоминание прежде познанного к познаваемому вновь... в имени представляется признак не как производимый предметом (солнце светит), а как данный в предмете,

находящийся в нем (светлое солнце, свет солнца). Когда говорю: "солнце светит", то это (при ясности этимологического значения слова "солнце", светлое, светящее) значит: то, что я прежде называл светлым и что под этим ярлыком было сложено в моей памяти, то, как замечаю, производит теперь свет" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 93 — 94).

"...В прилагательном бел, белый мыслится и то, что признак находится в чем-либо, но само это нечто со стороны своего содержания не мыслится... Таким образом, прилагательное есть признак, данный в чем-то, что без помощи другого слова остается со стороны содержания неопределенным" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 94).

"Когда прилагательное или причастие в языке, доступном наблюдению, становится существительным, то признак в нем сначала несколько не изменяется, а лишь то, в чем находится признак, становится по содержанию определенным. Что было в прилагательном и причастии вопросом, напр. бел кто? ветх кто? коростель (т. е. издающий такие-то звуки) кто? — то является в виде ответа в существительном: бел — белок, ветха — ветшка, коростель (т. е. издающий такие-то звуки) — такая-то птица" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 96). "Существительное первоначально есть признак, заключенный (данный, уже готовый) в чем-то определенном для мысли и без помощи другого слова; белок есть белая часть яйца, белая покрытая снегом гора..." (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 96 — 97).

Таким образом, семантические различия между рассмотренными частями речи представляются не как различия отражаемого содержания, а как различия в способе отражения, т. е. в его форме, а именно в характере охвата содержания — в более широком или в более узком охвате содержания, в выделении то одной его стороны, то другой (отражение признака лишь в его принадлежности носителю без самого носителя или совместно с носителем — прилагательное и существительное, отражение факта наличия признака у предмета или порождение признака предметом — имя и глагол). Такими же особенностями семантической формы характеризуются соответственно члены предложения, в функции которых выступают описанные части речи: подлежащее и дополнение так же, как имя существительное, сказуемое — как глагол, определение — как прилагательное.

Своеобразием семантической формы отличается также наречие, играющее роль обстоятельства. "Под обстоятельством, или наречием, разумеется признак (стало быть, знаменательную часть речи), связанный с другим признаком, данным или возникающим, и лишь через его посредство относимый к предмету (субъекту, объекту), а сам по себе не имеющий с ним никакой связи", — утверждает А. А. Потебня (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 124). В приведенном высказывании не только идет речь о характере охвата содержания,

свойственным наречию-обстоятельству (признак признака), но и поднимается вопрос о системе отношений между компонентами мысли (понятие о признаке соотносится с понятием о другом признаке, которое соотносится с понятием о предмете), т. е. затрагивается еще один параметр семантической формы, которого исследователь, кстати, так или иначе касается при анализе любых синтаксических построений, состоящих более чем из двух компонентов.

А. А. Потебня внес большой вклад в учение о соотношении форм мышления и форм языка. Он обоснованно выделил среди мыслительных форм два типа — общечеловеческие логические формы и национальные формы мышления, обусловленные особенностями грамматического строя языка и воплощающиеся в грамматических формах. Кроме того, он выявил ряд особенностей национальных форм мышления, показав исторический характер этих форм. Все это — свидетельство значительных заслуг великого ученого перед отечественной наукой.

¹ Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. — М., 1982. — С. 39.

² Брутян Г. А. Очерки по анализу философского знания. — Ереван, 1979. — С. 166.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Письмо Л. Кугельману (в Ганновер). Лондон, 11 июля 1868 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-ое изд. — Т. 32. — С. 461.

⁴ Holz H. Sprache und Welt. Probleme der Sprachphilosophie. — Frankfurt am Main, 1953. — С. 111 и след.

⁵ Климов Г. А. Очерк общей теории эргативности. — М., 1973. — С. 48; см. также: Мецанинов И. И. Эргативная конструкция в языках различных типов. — Л., 1967. — С. 189 — 190.

⁶ Уорф Б. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. — Вып. 1. — М., 1960. — С. 193 — 195.

⁷ См.: Амирова Т. А., Ольховников Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по истории лингвистики. — М., 1975. — С. 225 — 226.

⁸ Буславев Ф. И. Историческая грамматика русского языка (1858) // Хрестоматия по истории русского языкознания / Под ред. чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филина. — М., 1973. — С. 154.

⁹ Греч Н. И. Пространная русская грамматика (1830) // Хрестоматия по истории русского языкознания. — С. 70.

¹⁰ Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältniss zu einander. — Berlin, 1855.

¹¹ Пауль Г. Принципы истории языка. — М., 1960. — С. 54.

¹² Jespersen O. Logic and grammar. — Oxford, 1924. — С. 4; Он же. Философия грамматики. — М., 1958. — С. 56 — 57.

¹³ Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. — М., 1970. — С. 80 — 81; Заегинцев В. А. Теоретическая и прикладная лингвистика. — М., 1968. — С. 62.

¹⁴ Ленин В. И. Философские тетради // Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 318.

¹⁵ Lotze H. Logik. — Zelpzig, 1912. — С. 57.

¹⁶ Вундельбанд. Система категорий. Прелюдии. — СПб., 1904. — С. 337.

¹⁷ Ziehen. Lehrbuch der Logik. — Bonn, 1920. — С. 600 — 601.

¹⁸ Зигварт Х. Логика. — СПб., 1908. — С. 23.

- 19 Там же. — С. 26.
 20 Herbart J. F. Lehrbuch zur Einteilung in die Philosophie. Logik. — Leipzig, 1883. — С. 91.
 21 Кант И. Логика. — Пр., 1915. — С. 93.
 22 Wundt W. Zogik. — Bd I. — Stuttgart, 1880. — С. 137 — 138.
 23 Карпов. Систематическое изложение логики. — СПб., 1856. — С. 126.
 24 Владиславлев М. И. Логика. — Спб., 1881. — С. 92.
 25 Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältnis zu einander. — С. 188 — 189.
 26 Там же. — С. 197.
 25 Кондаков Н. И. Логический словарь. — М., 1971. — С. 503.
 28 См.: Чесноков П. В. Логическая фраза и предложение. — Ростов-на-Дону, 1961; Он же. Основные единицы языка и мышления. — Ростов-на-Дону, 1966. — С. 121 — 126.
 29 Панфилов В. Э. Грамматика и логика. — М.; Л., 1963. — С. 23 — 42; Он же. Взаимоотношение языка и мышления. — М., 1971. — С. 138 — 166; Он же. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. — С. 118 — 152.
 30 См.: Чесноков П. В. Слово и соответствующая ему единица мышления. — М., 1967. — С. 36 — 37; Он же. Основные единицы языка и мышления. — С. 114 — 117.
 31 См.: Чесноков П. В. Основные единицы языка и мышления. — С. 147 — 151; Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. — М., 1973. — С. 28 — 48.
 32 См. описание первого — носящего параметров в статьях: Чесноков П. В. Логические и семантические формы мышления как значения грамматических форм // Вопр. языкознания. — 1984. — № 5. — С. 5 — 12; Он же. Семантические формы мышления как значения грамматических форм // Семантика грамматических форм. — Ростов-на-Дону, 1982. — С. 5 — 8.
 33 Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения. — М., 1968. — С. 17 — 20, 60 — 63, 66, 73, 75 — 77.
 34 См.: Овсянко-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. — 2-ое изд. — СПб., 1912. — С. 25.
 35 См.: Чесноков П. В. Логическая фраза и предложение. — С. 69 — 74; Бабайцева В. В. Односоставные предложения в современном русском языке. — М., 1968. — С. 12 — 15.

Б. М. АЖНЮК

МОВНІ ЯВИЩА ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНА ЦІЛІСНІСТЬ

У світлі концепції О. О. Потебні про єдність виразової природи мистецького твору і мовного знака розглядаються спільні явища у змістовій і формальній структурі слів, фразем, прислів'їв, народних загадок, замовлянь, пісень, історичних дум. Етнічна зумовленість внутрішньої форми цих явищ дає підставу для об'єднання їх у єдиний етнокультурний простір, що є характерним складником національної мовної свідомості.

Класифікація мовних явищ: слів, словосполучень, прислів'їв, приказок, фольклорних і літературних творів, як належних до різних ярусів мовної ієрархії, є частиною лінгвістичного або, ширше кажучи, філологічного дослідницького апарату. Певна застиглість, канонізованість такої класифікації умовна, адже всі зазначені одиниці є лише різними за величиною елементами мовного континууму,

© В. М. Ажнюк, 1992

що може по-різному членуватися у процесі його вивчення. Поглиблене дослідження матеріалу мови у рамках певного рівня чи мовної категорії, полеміка про термінологічні межі і обсяг таких понять, як слово, фразеологізм, речення, текст — все це веде до втрати з поля зору тих явищ, які є для них спільними, або ж виникають на межі згаданих категорій.

Одним з найвизначніших здобутків у теоретичній спадщині О. О. Потебні є розуміння спільної виразової природи мистецького твору і словесного знака як явищ єдиного процесу творення і матеріалізованого оформлення думки. Даючи розгорнутий виклад своєї концепції про аналогію слова і мистецтва, аналізуючи механізми перетворення образного уявлення в знак і розгортання слова у образний поетичний твір, О. О. Потебня неодноразово вказує на те, що ці процеси відбуваються у етнічно однородному середовищі. Отже зв'язок поняття з внутрішньою формою відповідного мовного явища (знака) є етнічно зумовленим. Слово як засіб конденсації попереднього досвіду "виражає не увесь зміст поняття, а одну з ознак, саме ту, яка уявляється народному баченню найважливішою" (Естетика и поэтика, с. 221). Природно, що для одного й того ж поняття у різних народів відповідна ознака може бути різною. Різною, отже, є відповідна точка аперцепції певних понять, що фіксується у внутрішній формі слова.

Як слушно зазначає у цьому зв'язку В. М. Русанівський, своєрідність національного мислення виявляє себе головним чином у тій сфері, яку О. О. Потебня називає поезією, оскільки утворення понять, концептуалізація висловлювання, тобто перехід до "прози", веде до абстрагування від внутрішньої форми слова, разом з нею втрачається і елемент національної своєрідності. Таким чином, національна своєрідність образного мислення не є перешкодою у відображенні всієї різноманітності об'єктивного світу¹. Слід застерегти при цьому, що повне абстрагування від національної специфіки у мовно-мислительних процесах можливе лише в ідеалі. На практиці ця потенційна здатність не реалізує себе повністю навіть у такій високоабстрагованій сфері, як термінологія математики, фізики, інших природничих і суспільних наук.

Коливання між поезією і прозою, що характерні для розвитку інтелектуально-мовної діяльності в діячності, мають місце і в синхронних процесах розгортання думки та формування вислову. У цьому зв'язку заслуговує на детальне дослідження та верифікацію мовним матеріалом думка Джона Фізера, американського дослідника спадщини О. О. Потебні, про те, що "мова не є лінійною прогресією від слів до знаків чи від поезії до прози, а постійним коливанням між першим і другим"². Як посередники між мисленням і об'єктивною дійсністю знаки мови в різних текстових комбінаціях перебувають у різних формах переходу від поезії до прози. При функціонуванні мови в колективі, обслуговування різних комунікативних сфер відбувається взаємне перекривання цих фаз, часткове нівелювання

поетичних (специфічних, національних) ознак; загальні (прозаїчні) ознаки при цьому зберігаються як інтегруюча основа. Наведене міркування не спростовує слушного загалом висловлювання О. О. Потєбні, у якому мова порівнюється з зором, а лише пом'якшує його категоричність: "Подібно до того, як найменша зміна в будові ока і діяльності зорових нервів неминуче діє на наші сприйняття і цим впливає на все світобачення людини, так кожна дрібниця в будові мови повинна давати без нашого відому свої особливі комбінації думки" (Естетика и поэтика, с. 259).

Концепцію О. О. Потєбні відзначає цілісний погляд на діалектику філософських категорій індивідуального і загального в мові, на множинність їх виявів і взаємодій. Аналізуючи гумбольдтівську антиномію неподільного і народу, учений відзначає: "На народ також можна дивитися як на людське неподільне, що йде особливим шляхом розвитку і вимагає доповнення його з боку вищої духовної одиниці, людства" (Естетика и поэтика, с. 66). Подібним чином до співвідносних антиномій можна зарахувати такі пари: людське — божественне, національне — вселюдське, індивідуалізуюче — анелятивне, поетичне (образне) — прозаїчне (концептуальне, наукове). У цьому ж контексті слід розглядати і співвіднесення (навіть ототожнення) народності зі старовиною як протилежну уніфікуючій експансії західної цивілізації, ранні вияви якої відзначав О. О. Потєбня і його сучасники: "Якби об'єднання людства за мовою і взагалі за народністю було можливим, воно було би згубним для загальнолюдської думки, як заміна багатьох відчуттів одним" (Естетика и поэтика, с. 229).

Найзагальніші аналогії слова і мистецтва, виявлені О. О. Потєбнею, знаходять застосування і в процесі аналізу часткових спільностей у структурі, образності і значенні широкого кола мовних фактів. Заслуговують на всебічне вивчення насамперед ті з них, які є продуктом радше колективної (народної) ніж індивідуальної творчості, а саме: лексикон, ідіоматика, приказки (прислів'я), народні загадки, замовляння, думи, народні пісні. Суперечність поезія - проза закладена в цю категорію мовних фактів апріорно (за означенням): з одного боку, всі вони наділені образною основою, а з іншого, як продукту колективної творчості, їм властива належність до масової свідомості, а отже певна "обкатаність", автоматизований режим відтворення і сприйняття. Ця обставина веде до того, що внутрішня форма відступає на другий план, наближає зазначені одиниці чи їх популярні фрагменти (наприклад, пісень, дум) до сфери прозаїчного. Сталість уживання одиниць, що на-

* О. О. Потєбня вбачає у старовині лише один із виявів національного. Тому протиставлення старовини як національного, з одного боку, і цивілізації — з іншого, є одностороннім і потребує діалектичного підходу: "Якщо здатність народу "не піддаватися"... полягає лише у збереженні старовини, то вона неможлива, як і те, щоб вода не мерзла на холоді і лід не танув у теплі" (Естетика и поэтика, с. 229).

лежать до перелічених жанрів, дозволяє аналізувати їх у межах однієї системи — як відображення національних образно-естетичних уявлень, народного досвіду, моральних ідеалів тощо. У якійсь мірі всім їм притаманна знаковість і навіть нормативність (з урахуванням існуючих варіантних парадигм). Тому "внутрішня осцилограма" цієї квазісистеми, відображення коливання образно-семантичних уявлень між полюсами поезія — проза, є показовою для національної мовної традиції на загал.

Відомо, що в образній системі народної творчості сформувалося певне коло пріоритетів, за якими закріпилися репутація фольклорних. Як правило, вони збудовані за усталеними структурними формулами, з яких нашу увагу привернули насамперед сполуки з так званим постійним епітетом (*ясний сокіл, чисте поле, буйний вітер*) та парні слова (сполуки) типу *сад-виноград, місяць-зоря, хліб-сіть* тощо. Слід відзначити, що сполуки з постійним епітетом, зазнаючи певної канонізації в межах жанру, включаються у образно-семантичні зв'язки з іншими компонентами поетичного тексту. При цьому самі вони виступають вже як одиниці "прозового" рівня, як цілісність (знак). Наприклад:

На сире коріння
Та на біле каміння
Ніжки свої козацькі, молодецькі посікає
(Думи, 63)

Накопала коріння
З-під білого каміння
(Бодяньскі, 104)

Та копай, дочко, зілля
З-під білого каміння
Да будемо варити,
Да милого манити
(Там же).

Простежується зв'язок: *коріння* — (*зілля*) — *біле каміння*, який недвозначно вказує, що *біле каміння* має відношення до магії. Це підтверджується і народними замовляннями: від гадюки — "...там білий камінь лежить, під каменем Агина цариця лежить" (Ефименко, 18); від водобоязні — "І вернись назад, орданської води набери, білого каміння з скали влупи" (там же, 16). У наведених контекстах сполука *білий камінь* виступає як магичний знак, її образотворча здатність послаблена містичними конотаціями. В іншому оточенні ця здатність оживає завдяки колористичним паралелям:

Гей, що на Чорному морі
Та на тому білому камені
Там стояла темниця кам'яна
(Думи, 39)

Стало Чорне море утихати,

.....
То стали ті два брати к берегу припливати
Стали за білий камінь рученьками брати
(Там же, 61)

Про не випадковий характер таких паралелей свідчить і те, що у деяких з них один з кольорів акцентується повторним позначенням:

На Чорному морі та на камені білому
Там сидів ясний сокіл-білозорець
(Думи, 57)

Чорною китайкою очі зав'яжіте
До шиї камінь білий причепіте
.....
Нехай я буду у Чорному морі сам-один потопати
(Там же, 57).

Між образними і необразними використаннями сполук з постійним епітетом часто пролягає хистка, ледь уловима межа. Фактором, що сприяє їх прозаїзації, є неучасть у контекстуальних стилістичних взаємодіях, наприклад, у замовлянні від перелогів (хвороба худоби): "... на мха, на болота, на круті берега, на жовті піски" (Ефименко, 22) чи в народних піснях:

Та згоріла коломия
На жовтім пісочку
(Песни буков. нар., 443)

Гей, в ліску, в ліску
На жовтім піску
Камінь лупають,
Церкву мурують
(Там же, 376 — 377)

А в ліску, ліску на жовтім піску,
Сяятий вечір!
Там пава ходить, пр'ячко губить
(Бодянські, 74).

В останньому прикладі кольорові асоціації, пов'язані з павиним пр'ям, уже справляють вплив на оживлення образності (прикметника *жовтий*). Подібним чином сприймається кольорове взаємодія у рядках: "Гуля, гуля, сірі гуси, на жовтий пісок (Бодянські, 215), "Кровіх людську у полі з жовтим піском мішайте" (Думи, 100) та у випадку дистантної взаємодії:

Не заїхав молод козак (да) за білі піски,
Оглянься назад себе — біжить шурина пішки
.....
Не заїхав молод козак (да) за жовті піски...
(Бодянські, 95).

Цілком виразно відчувається образна семантика епітета у випадках стилістично маркованого вживання, як от у народній пісні:

Ой не ходи коло води, жовтоногий кобче:
Єсть у мене краший тебе — доріженьки топче.
Ой не ходи коло води жовтими ногами:
Єсть у мене краший тебе — з вірними словами.
Ой не ходи коло води по жовтім пісочку:
Єсть у мене краший тебе — брови на шнурочку.
(Бодянські, 60),

або ж у замовляннях — від гадюки: "Прийшов я до тебе, змія кропня, Бога прохатц і твої милости: сталася мні шкода в коня гнідого, жовтої кості, в червоній крові, в рижом м'ясі, в вороноій шерсті. Ізбери ти всіх своїх царев, генералов... і всіх домових служителей... і покарай винного дубовим кием, і зажени його на тридесять сажней в сирюю землю, в жовтий пісок" (Ефименко, 16 — 17); від уроків: "Тут вам не сидіти, жовтої кості не ломити, червоної крові не в'ялити, коло серця не нудити. Ізойдіте не круті береги, на жовті піски" (Там же, 27).

Широковживаність усталених сполук з постійними епітетами у різних жанрах народної словесності є важливим об'єднуючим фактором, що дозволяє говорити про етнокультурну цілісність мовних явищ. Наприклад, сполука *кам'яна гора* є частим компонентом народної пісні: "Із-за гори кам'яної доріжка лежить" (Бодянські, 131), «Через гору кам'яную орел воду носить» (Там же, 217), зустрічається в народних замовляннях: "Цар Давид позаганяв Іродові дочки в камениі гори" (Ефименко, 12), "Ішла костяна баба з кам'яної гори" (Там же, 13), загадках: "За горою кам'яною стоїть брат із сестрою" (Сонце і місяць. — Загадки, 20). Більшість з усталених сполук зазначеного типу співвідносна зі словом. Постійні епітети здебільшого не вносять нової якості в семантику означуваного іменника; вони швидше утверджують найхарактернішу з погляду етносвідомості його рису: *синє море* це, зрештою, просто море, *сива зозуля* — просто зозуля, *воли круторогі* — просто воли і т. п. Це якщо розглядати наведені приклади з погляду "прози". З іншої точки зору, *чорні брови* — це не просто портретна риса. Це — якісне означення, про що свідчать, зокрема, його словотвірні похідні — *чорноброва* (прикм.) "гарна, миловидна", *чорноброва* (ім.) "вродлива дівчина". Про те, що знакові функції можуть бути зосереджені значною мірою у прикметниковій частині вислову, свідчить автономне вживання таких субстантивованих дериватів, як *вороний* (вороний кін), *сизокрилий* (сизокрилий орел), *буйнесенький* (буйний вітер) тощо.

* Пор. уживання сполуки *жовта кість* у думках: "Ще й дрібна птиця прилітала, Коло жовтої кості тіло обдирала... Ще й вовки-сіроманці находжали, І жовтую кість по тернах, по балках розтаскали" (Думи, 67 — 68).

Функціональну аналогію сполук з постійним епітетом, з одного боку, і словом — з іншого, видно і на прикладі лексеми *голуб*, яка вживається в буквальному (орнітологічному) значенні і переносно-му (головним чином у звертанні). Словосполука *сивий голуб* має подібне вживання:

Налетіли голуби із чужої сторони,
Ой шуги, шуги, *сиві голуби*.
(Бодянські, 75)

Гей брате мій рідненький,
Голубочку сивенький!
(Думи, 27)

То ж сидить на могилі
Козак старесенький,
Як голубонько сивесенький.
(Там же, 80)

Попри зазначені вище відмінності, сполуки з постійним епітетом становлять єдиний структурно-семантичний тип, цілком своєрідний з погляду взаємодії в його одиницях образних і знакових засад. Цей тип є одним із системотворчих компонентів етнокультурного простору, що охоплює сферу національної словесності, усталеної в канонізованих формах і жанрах. Етнокультурний простір передбачає існування певного кола образних і структурно-образних пріоритетів, міжжанрових аналогій і паралелей, складної системи зв'язків, що дозволяють інтерпретувати причетні до них явища як елементи єдиного феномена.

Характерним складником етнокультурного простору є наявність великої групи усталених сполук, побудованих за структурою прикладки: *срібло-золото*, *хліб-сіль*, *місяць-зоря*, *сад-виноград* тощо. Як і для багатьох постійних епітетів, для одиниць цієї групи властива плеонастичність внутрішньої семантики, що значною мірою визначає її смислову цілісність як структурного типу. Завдяки цьому "проза" (знаковість), як правило, переважає над образним сприйняттям виразу. Компоненти традиційних образних пар можуть виступати не тільки у складі прикладкових структур, а й розрізнено (більшою чи меншою мірою). При цьому їх сприйняття як цілісного знака не втрачається, наприклад: *терни-байраки* (Думи, 21, 116), *із тернів із байраків* (118), *по тернах по балках* (68), *три терни дрібненькі, три байраки зелененькі* (27), або ж у народних піснях:

Дівчино-рибчино, здорова була,
Чи ще ж ти мене да й не забула
(Бодянські, 108)

Один каже: "дівчино",
Другий каже: "рибчино"
(Там же, 164)

Квартух прала *дівчина*,
Полоскалась *рибчина*
Та й упала в став небога
(Там же, 172).

Слід зазначити, що, розглядаючи подібні сполуки прикладкового типу у розділі про атрибутивність іменника (Зап. по р. гр., т. 3, с. 129 — 262), О. О. Потєбня інтерпретує їх як архаїчну форму означення при іменнику. Зокрема, наводяться (Там же, с. 182) рядки з думи "Втеча трьох братів із города Азова з турецької неволі":

Там собі безпечно дев'ятого дня спочивок має.
Дев'ятого дня із неба *води-погоди* вижидає.

і з тієї ж думи:

Станьмо, братіку, тута, коні попасімо:
Тут могили великі
Трава хороша і *вода погожа*.

У цій самій праці О. О. Потєбня дає коментар до іншої сполуки: "будете до тернів до байраків (= до тернів у байраках) добігати" (Там же, с. 240). Не ставлячи під сумнів наявність атрибутивних відношень, відзначених дослідником, зауважимо, що в контексті широкій парадигми словосполучень-прикладок вони є явищем все ж периферійним. Для процесу номінації у одиниць подібного типу характерна насамперед плеонастичність, акцентність, певне стимулювання семантичної амплітуди у межах категорії субстантивності. Про це свідчить не лише стилістичний контекст думи як жанру, а й аналогії з іншими зворотами, які мають подібні трансформи і варіанти, наприклад, *мед-горілка*, *мед-вино*, *вино-пиво* тощо:

В Цариграді на риночку
Та п'є Байда *мед-горілочку*
(Укр. нар. думи., 16)

В шинкарки все мед та горілка
(Бодянські, 135)

А три копи на мед та на ковиту горілку
(Думи, 72)

Ні медом шклянкою, ні горілки чаркою
(Там же, 92, 93)

То будто до ляха *медом*, *вином* і *оковитю* горілкою припиває
(Там же, 109)

Що з іншими, що й з гіршими *мед-вино* п'єш
А до мене молодой голов подаєш
(Бодянські, 132)

— Ох і завернися, хоч *пива* напийся.
— П'рکو мені *вино-пиво* пити,
Буде мене мій миленький бити
(Там же, 145).

У народному замовлянні знаходимо: “Нехай же йде Грек з винами, з пивами в вашу квашу” (Ефименко, 40).

Заслуговує на зіставлення дистантне вживання компонентів аналізованих пар у різних пісенних модифікаціях одного сюжету:

Ой я серце не женивсь.
Ой як буду жениться,
Прийди, мила, дивиться,
Дам тобі *пива* напитисья.
— Мені *пиво* — не диво,
Весіллячко не міло.

.....
По сінечках ходила,
Стакан *меду* носила,
Козаченька просила...

(Бодяньскі, 129)

Бо я молод не женивсь,
А як буду женитися,
Прошу, мила, дивитисе
А як буду вінчатисе,
Прошу, мила, прощатисе.
Скажу *пива* наварити,
А *горівки* накурити...
— Твоє *пиво* мені диво,
А *горівка* твоя п'рка

(Пісні буковинського народу, 465).

Про “акцентний” характер номінації в сполуках зазначеного типу свідчить їх різновид з редуплікацією лексичного компонента (афіксованого чи безафіксного): *серед моря моря* (Загадки, 18), *коло броду броду* (Там же, 30), *по морі, по морі* (19), *попід лісом-лісом* (18), *за лісом за пралісом* (18, 19, 42, 43, 44, 54, 90, 104), *у лісі на пралісі* (38), *рано-пораненько* (Думи, 43), *піший-пішаниця* (Там же, 63), *чужий-чужениця* (63), *біжить-підбігає* (63), *клене-проклінає* (73) і т. п. Продуктивність моделі засвідчують слова-оказіоналізми: *за лісом-королісам* (Загадки, 49), *щука-верещука* (Там же, 82), прикладкові компоненти яких не мають самостійного лексичного значення.

Плеонастичність номінації властива й іншому різновиду прикладок — компонентно-синонімічним: *мало-немного* (Думи, 60), *га-разд-добре* (106), *скарби-маєтки* (71), *статки-маєтки* (33), *щастя-доля, щастя і доля* (43), *стежки-доріжки* (105), *обитель-монастир* (107), *плаче-ридає* (101), *просити-благати* (35), *лаяти-проклінати* (43), *почитати й поважати* (59), *штити-поважати* (60) і т. п.

У системі кодифікованих мовних засобів аналогом прикладкових словосполук можна вважати фразеологізми типу *честь і хвала, в пух і в прах, торба лиха і мішок біди, без роду і племені, вздоаж і впоперек, дитися молоком і медом, з медом та маком примовити, пройти крізь сита й решето* і под.

Як свідчить наявний мовний матеріал, прикладкова модель має відчутну трансформаційну і генеративну здатність. Імовірно під впливом цієї моделі відбулася своєрідна інверсія у внутрішній формі ойконіма Царград:

Іх турки не постріляли, не порубали,
До *города царя* в полон забрали.
(Думи, 79).

Проміжною ланкою у виникненні цієї форми є сполука *город Царгород*, що зустрічається у текстах дум, наприклад: “Чи у *городі Царгороді* на базарі” (33), “Та понесли у *город, у Царгород*” (45).

Власна назва Царгород, трансформувавшись у *город цар*, повернула собі частину втраченої (затертої) образності і водночас зазнала значної апелятивізації: адже *город-цар* це швидше образ далекої ворожої столиці, де панує “цар-султан турецький”, ніж географічно-конкретний Константинополь (Стамбул, Царгород). Як видно, взаємодія категорій *proprĩa* — *appellativa* є свосрідним віддзеркаленням взаємопереходів від прози до поезії і навпаки.

Серед сполук прикладкового типу є чимало потенційних і реальних онімів, наприклад, другі компоненти таких пар, як: *щука-верещука, рак-неборак* (пор. *гадина-Ладина* — Ефименко, 17), *за лісом-королісам* (пор. у *лузі-Базалузі* — Думи, 24). Оскільки орфографічний показник (написання з великої літери) не може бути визначальним через свою умовність, про онімічність деяких утворень можна судити з жанрового контексту. Наприклад, *гадина-Ладина*, що вживається у народних замовленнях, є одним з варіантів у складі ширшої парадигми найменувань з ономастичним компонентом, що вживаються на позначення змії: *Цариця Ляга* (Ефименко, 16), *змія кропиня* (16), *Цариця Єлина* (17), *Цариця Ханиця* (18), *Агіна Цариця* (18), *три Цариці: Куфія, Невія і Полія* (19).

Щодо взаємодії онімічності й апелятивності у внутрішній формі знака, то розглянуті випадки можуть мати ряд паралелей у інших жанрах словесності: лексиці, фразеології, пареміології, загадках. Наприклад, у загадці “Вийшов на гірку, відчинив комірчу, коли б не пан Димінський, то собаки б з’їли” (вулик і бджоли) (Загадки, 49) в образі пана Димінського персоніфіковано дим, аналогічний принцип лежить в основі фразеологізмів *пан Коцький “кіт”*, *Іван Безрідний “людина без вітчизни”*, *чи ви не з Врехуніаки?* “чи ви не обманюєте?” і т. п. Гра слів у мікроконтексті приказки чи ідіоми може

"оживляти" внутрішню форму власної назви до дуже віддаленого етимона, як от у приказці *Язик доведе до Києва і до кия* (Номис, 24).

Повертаючись до поняття етнокультурного простору, слід зазначити, що ономастичний компонент відіграє у його формуванні неабияку роль. Насамперед, власні назви визначають чисто просторову систему координат, оскільки більшості з них властива диференціація за ознакою своєї (рідне, близьке) і чужої (іноземне, віддалене). Прикладом першого є *луг-Базалуг, Дніпро-Славути*, другого — згадуваний вище *город-цар*. Такі назви, як *Дунай, Дін*, символізують межі етнічного простору, за якими простягається "далекі край":

Повій вітре, повій буйний, з глибокого яру,
Прибудь, прибудь мій миленький з далекого краю!

Да засніти, моя мила, воскову снічку,
Перебрелу тихий Дунай і бистру річку.

Ой полети, чорна галко, на Дін риби їсти,
Перекажи миленькому — нехай пише листи
(Бодянські, 125).

Ойконімічна пара *Київ-Київ* символізує серцевину цього простору:

Правда, панове, полягла Кішки Самійла голова
В Києві-Києві монастирі
(Думи, 56).

Повертаючись до розгляду постійних епітетів і парних сполук, необхідно вказати, що вони можуть поєднуватися між собою, утворюючи єдиний образ чи складаючи антитезу. Наприклад, своєрідним словесним ієрогліфом на позначення дівочої вроди є образна сполука *біле личко, чорні брови*, або ж *карі очі, чорні брови*:

Біле лице, чорні брови,
Комусь будуть до любови
(Бодянські, 94)

Тільки мені до пари, що оченьки карі,
Тільки мені до любови, а що чорні брови
(Там же, 118).

У народній поезії широко вживається антитеза (*сірі*) воли (*та корови*) — (*чорні*) брови, що уособлює відповідно багатство і красу:

Вража його мати знає, на що він моргас:
Чи на мої воли, а чи на корови,
Чи на мос біле лице, чи на чорні брови?
(Бодянські, 93)
Да пасіться, сірі воли, де круті гори,

А я піду до дівчини, що чорні брови
(Там же, 94)

Ой в тієї далекої воли да корови,
А в моєї сусідьки тонкі чорні брови
(Там же, 118)

Ой хоч же ти знайдеш із кіньми з волами,
Да вже ти не знайдеш з чорними бровами
(Там же, 157)

Против воли і корови
Через ті чорні брови
(Там же, 153).

З наведеного видно, що антонімічні образи можуть не тільки протиставлятися, а й виступати вкупі. Оригінальне поєднання цих образів зустрічаємо у прислів'ї *одна брова стоїть вола, а другій цини нема* (Номис, 162). Так кажуть про дуже вродливу дівчину (жінку). Слово *брова* у даному контексті є прикладом подальшого згущення думки, концентруючи в собі семантику комплексного образу *чорні брови (карі очі, біле личко)*. У цьому самому значенні слово *брови* вживається і в інших контекстах:

Брови мої, бровенята, пропала я з вами,
Не хочете почувати ні ніченьки сами
(Бодянські, 119).

Взаємопереходи значення у наведених словах і сполуках, їх поєднання і протиставлення творять своєрідне мікрополе всередині етнокультурного простору. Явища, які охоплює згадане поле, належать до різних рівнів мови і жанрів фольклору.

Зв'язки й аналогії описаного типу можливі не тільки між окремими одиницями, але й між одиницею і варіантною парадигмою іншої одиниці. Наприклад, фразему *на вербі груші* "неправда, брехня" та прислів'я *Дарма верба, що груші нема, аби зеленіла* (Номис, 271) за поєднанням образних компонентів можна зіставити з варіантами: *Куди не повернешся — золоті верби ростуть і Де піде, то все золоті грушки за ним ростуть* (Номис, 62), пор. також у народній пісні:

На осіці все кислиці
А на вербі груші:
Не вибере Стрижаківна
Невістки до душі
(Бодянські, 63).

Аналіз значного за обсягом матеріалу показує, що формування корпусу усталених словосполук і образних поєднань, структурних типів і моделей, які утворюють етнокультурний

простір, а також їх поширення тісно пов'язані з явищем варіантності.

Механізм утворення варіантів складних слів: *місяцю-перекрою*, *місяцю-перерізу* (Водяньські, 99), фразеологізмів: *влекоти* (*дурману, чемериці*) *об'їстися*; *як у барианку* (*любистку*) *купаний* зводиться переважно до чергування певного кола лексичних компонентів і мало чим відрізняється у цьому відношенні від варіантності багатьох фрагментів народних пісень і дум, порівняймо, наприклад:

Накопала коріння
З-під білого каміння,
Полоскала на річці,
Намочила в горліці,
Полоскала на льоду,
Намочила у меду

(Бодяньські, 104)

Копала зілля
З-під білого каміння,
Полоскала на річці,
Заправляла в горліці,
Полоскала на броду
Заправляла на меду

(Там же)

або ж:

Я його хочу живцем в руки взяти
Да в город Килию за продати,
Іще ж ним перед великими панами-башами вихвалити.
За його много червоних не лічачи брати,
Дорогі сукна не мірячи почитати
(Думи, 15)

За Червоное море у арабську землю за продати,
Вудуть за них сребро-алато не лічачи,
Сукна дорогі поставами не мірячи
За них брати

(Там же, 33).

Явище варіантності нерідко зумовлено структурною однотипністю вислову, інакше кажучи, поширеністю певного кліше. Часто вони виявляються різними аспектами того самого явища. Пор.:

По садочку ходжу, кониченька воджу,
Через свою неньку нежонатий ходжу;

Подібно до сполук з усталеними епітетами чи парних словосполук прикладкового типу, що були розглянуті вище, такі фрагменти нерідко мігрують завдяки своїй популярності з одного твору в інший.

По городу ходжу, шевлієнку саджу,
Чом я в тебе, моя мати, нежонатий ходжу
(Водяньські, 163)

Господиня, як калина,
Господар, як виноград,
А діточки, як квіточки

(Бодяньські, 74)

Ясен місяць — пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір...
Красне сонце — жінка його,
Щедрий вечір, добрий вечір...
Дрібні зірки — його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір...

(Колядки та щедрівки, 50).

Як міжжанрові варіанти з різною семіотичною настановою можна розглядати такі структурно-образні паралелі:
загадка — Кругом вода, а з питвом біда.

Хто знає — де це буває?

(Море. — Загадки, 21).

приказки: кам'янець вінець: кругом вода, а в середині біда (Номис, 16), Золотоноша кругом хороша, округи вода, всередині біда (Там же).

Завдяки компонентному чергуванню, образним і структурно-семантичним паралелям варіанти деяких одиниць можуть утворювати мікрополя з цілою мережею різноманітних зв'язків. Для прикладу візьмемо народні загадки про небо, зорі, сонце і місяць:

1. Голубий шатер увесь світ наквив (Небо. — Загадки, 17);
2. Синя шуба накрила весь світ (Небо, 17);
3. У мене є простирадло, я його не можу підняти й зложити (Небо, 17);
4. Розісланий килим, розкиданий горох, Ні килима не піднять, ні гороху не зібрать (Небо і зорі, 17);
5. Розстелений кожушок, на нім посіяний горошок (Небо і зорі, 17);
6. Розстелив кожушок, посипав горошок; ще й окрась хліба поклав, а як коли — то й цілий (Небо, зорі, місяць, 19);
7. Простелю рогожку, посиплю горошку, Покладу окрайчик, — буде бігати зайчик (Небо, зорі, місяць, 19);
8. Рівненька дорожка посипана горошком (Чумацький шлях, 20);
9. Розсипався горох на чотириста дорог, Ніхто його не позбирає — ні цар, ні цариця, Ні красна дівчиця (Зорі, 17);
10. Торох, торох, розсипався горох,

Почало світати — нема що збирати (Зорі, 17);
11. Пішла пані до льоху, насипала гороху,
Іде пані з льоху — немає гороху (Сонце і зорі, 20);
12. Розсипалось на ніч зерно, глянули вранці — нема нічого
(Зорі, 18);

13. Їхав по горі волох, розсипав горох;
Стало світати — нема що збирати (Місяць і зорі, 18);

14. Старий волох розсипав горох,
Не велів підбирати, став дня дожидати;
А як дня дождав, горох позбирав (Місяць і зорі, 18);

15. Прийшов старець, розсипав перець,
Як почало світати, він почав збирати (Місяць і зорі, 18);

Подібні варіантні ланцюжки можуть формуватися із фразеологізмів, наприклад: *битий, як сидорова коза — лупити, як Сидір козу — де Сидір козам роги править — де Макар телят пасе* тощо.

У складі варіантної парадигми можуть виявлятися такі члени, які співвідносні з одиницями іншого жанру. Наприклад, серед загадок на позначення коси:

1. Шука білява ліс поваліяла, гори поставила (Загадки, 90);
2. Шука бряне — ліс в'яне;
На тім місці город стане (90);
3. Пливе шука — верещука, де не гляне — трава в'яне (83);
4. Пливе шука з Кременчука,
Куди гляне — трава в'яне (90);

знаходимо паралель до рядків з народної пісні:

Пливе шука з Кременчука,
Луска на ній сие, хто не знає закахоння,
Той щастя не має

(Укр. нар. пісні про кохання, 99)

Пливе шука з Кременчука, прострілена з лука,
Да вже ж мені, мій миленький, з тобою розлука
(Бодянські, 113).

У багатьох варіантних парадигмах має місце системно зумовлена деривація, хоча з певністю встановити її відповідний пункт дуже непросто. Наприклад, народнопісенні звертання *козаче-соколю* (Терен, мати, коло хати, 40), *козаче-соболію* (Бодянські, 107, 110) співвідносяться з різним образним контекстом. Сполука *козаче-соболію* має в пісенному лексиконі образну паралель — *дівчинько-горностаю* (Бодянські, 161). Сполука *козаче-соколю* є трансформом поширеної метафори. Це добре видно у зіставленні пісень, де в кожному з варіантів дівчина звертається до парубка “козаче-гульця, виведе мене з зеленого гаю” (Терен, мати, коло хати, 40, 118), а у відповідь чує: в першому варіанті -

А сказала б: “Козаче, соколю,
Виведе мене з зеленого бору”
(Там же, 40);

у другому —

А сказала б: “Любий соколонуку,
Виведе мене з гаю на стежоньку”
(Там же, 118).

Характер деривації визначається у багатьох випадках існування образних пріоритетів, символів, пов'язаних з естетичними уявленнями народу. Червона калина — один з найулюбленіших національних символів у слові. Назва (*червона*) *калина*, що в більшості мов має термінологічне значення (лат. *Viburnum Opulus*), для українців наповнена багатим асоціативним змістом. Як рослина вона невіддільна від уявлення про національну природу, ландшафт (росте в лузі, в долині) — “ой у лузі червону калину вода пойняла” (Бодянські, 100), калину садять на могилі — “да висип високу могилу, да посади червону калину” (Там же, 170), до калини козак в'яже коня — “як приїхав милий до могили, прив'язує коня до калини” (203, див. також 95, 140), калина символізує дівчину, дівочість, красу. Сполука *калиновий міст*, що стала вже одиницею фразеосистеми, є своєрідним мікросюжетом чи мікротвором, втілення життєвої філософської концепції. Образний контекст цього виразу має три часові плани: ретроспективу, перспективу і цю мить. *Калина* — символ розквіту, буяння, *міст* — життя, що з'єднує два береги: молодість і старість (ширше: народження і смерть). Перший берег вже за спиною (*на... мості*), попереду другий берег, і зворотного шляху немає. У філософському підтексті образу є поцінування життя в хвилину розквіту і ностальгія за тим, що минає.

У народних піснях поширений варіант цього звороту — *кленовий міст*, що, вірогідно, є його етимологічним прототипом (деревина калини непридатна як будівельний матеріал). Це припущення ґрунтується на тому, що похідні утворення здебільшого мають метафоричний характер, як от, *калиновий міст*. У другому звороті компонент *кленовий* є звичайним атрибутом, вжитим у буквальному значенні. Ймовірно, що до цієї метаморфози спричинилася паронімія *калинвий* — *кленовий*.

Теоретично не можна відкинути й іншого шляху утворення сполуки *калиновий міст* — первинної метафоризації. Оказіональні сполуки такого типу відомі в народнопісенних текстах:

Ой скрипочка з барвіночка, оріхове деще:
Як заграєш на тім боці — болить моє серце
(Бодянські, 64).

Образи червоної калини, хрещатого барвінка і т. п. освячені народною традицією, у певному розумінні канонізовані нею, набувають знакового характеру. Це накладає відбиток і на їх похідні. Окремі з них стали знаками мови, поповнивши її фразеологічний фонд. Поєднання живої образності і знакової умовності в одиницях, що належать до етнокультурного простору, складає основу його провідної стильової ознаки — іконічності, площинності словесного живопису.

Мовних явищ етнокультурного простору повною мірою стосуються роздуми О. О. Потебні про діалектику структури поетичного твору, що представляє дійсність в одночасному співіснуванні протилежностей — визначеності і безмежності обрисів. В інтерпретації О. П. Преснякова це положення вченого звучить так: "Визначеність — це конкретність і одиничність поетичного образу-знака. Безмежність — можливість для кожного сприймати цей образ у різних ситуаціях з різними варіативними відтінками"⁴. Авторська художня творчість вносить у це співвідношення певні суб'єктивні акценти.

Ідея етнокультурного простору покликана дати цілісне сприйняття різних за жанром явищ і фактів словесної творчості у їх динаміці і взаємопереходах. Гумбольдтівське розуміння мови, як активної діяльності духу *éverfereia* поєднується у ній з увагою до статичного компонента — *έρουον* (зазначений твір). Як ціле, етнокультурний простір відображає насамперед поетичне бачення світу. Потреба його теоретичного осмислення полягає в тому, що цей феномен є важливим складником національної мовної свідомості. Більшою чи меншою мірою, у різних формах він впливає і на щоденне спілкування, та світосприйняття людини, на процеси художньої і наукової творчості.

Етнокультурний простір "населений" образами та їх сполуками, характерними для національної традиції, ці образи втілені в характерні структури і мають відповідне оточення. Метаморфози, яких зазнають такі образи і структури, кочуючи із жанру в жанр, із сфери мовних одиниць у народні пісні, думи, загадки тощо, мають чимало характерних спільностей.

Дослідження явищ етнокультурного простору становить інтерес не лише для окремо взятої мови, а й у зів'язаному плані. Можна припустити, що існують спільності між етнокультурними традиціями споріднених і неспоріднених мов, адже паралелі між

окремими такими явищами відзначаються у багатьох дослідженнях, зокрема й у працях О. О. Потебні. За словами вченого, "різні ступені живості внутрішньої форми слів у різних мовах можуть зумовлювати більший чи менший ступінь поетичності народів,... наприклад, такі прозори мови, як слов'янські й германські, вигідніші для поетичного настрою окремих осіб, ніж французька..." (Естетика і поезика, 210). Підтвердження чи спростування ця теза ще не отримала. Воно можливе у ході наступних етнофілологічних студій.

В свете концепции А. А. Потебни о единстве выразительной природы художественного произведения и языкового знака рассматриваются общие явления в содержательной и формальной структуре слов, фразем, пословиц, народных загадок, заговоров, песен, исторических дум. Этническая обусловленность внутренней формы этих явлений дает основания для объединения их в единое этнокультурное пространство, являющееся характерным компонентом национального языкового сознания.

¹ Русанівський В. М. Основа розвитку думки // Мовознавство. — 1985. — №4. — С. 9.

² Flzer J. Alexander A. Potebnja's Psycholinguistic Theory of Literature. A Metacritical Inquiry. — Cambridge, Massachusetts. — 1986. — P. 22.

³ Див. детальніше: Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова. — К. — 1987. — С. 65 — 67, 77 — 85.

⁴ Пресняков О. П. Пoesтика познания и творчества: Теория словесности А. А. Потебни. — М., 1989. — 218 с.

Умовні скорочення

Бодянські — Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К., 1978. — 326 с.

Думи — Думи (Історико-героїчний цикл) / Упоряд. О. І. Дей. — К., 1982. — 159 с.

Ефименко — Ефименко П. С. Сборник малороссийских заклинаний. — М., 1874. — VII + 70 с.

Загадки — Загадки / Упоряд. І. П. Березовський. — К., 1987. — 158 с.

Номис — Українські приказки, прислів'я і таке інше. Спорудив М. Номис. — С.-Петербург, 1864. — XVII + 304 с.

Пісні буков. нар. — Пісні буковинського народу // Записки Юго-Западного отдела императорского русского географического общества. Т. 2. — К., 1875. — 615 с.

Терен, мати, коло хати — Терен, мати, коло хати. Українські народні пісні та жартівливі пісні. — К., 1989. — 175 с.

Укр. нар. думи — Українські народні думи та історичні пісні / Упоряд. П. Д. Павлій, М. С. Родіна, М. П. Стельмах. — К., 1955. — 659 с.

Укр. нар. пісні про кохання — Українські народні пісні про кохання. — К., 1978. — 135 с.

Колядки та щедрівки — Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. — К., 1965. — 135 с.

А. А. ПОТЕБНЯ О СОДЕРЖАНИИ И ФОРМЕ В ЯЗЫКЕ

В статье систематизированы взгляды А. А. Потебни на содержание и форму в языке. Указывается на связь его концепции с учением о форме языка В. Гумбольдта; отмечается оригинальность концепции, подчеркивается ее материалистический и диалектический характер.

Постановка проблемы содержания и формы применительно к языку, ее первоначальное теоретическое обоснование, как известно, принадлежит В. Гумбольдту. Его теория языка, в частности учение о форме языка, была постоянно в кругу внимания отечественной науки.

Взгляды Гумбольдта на форму и содержание языка послужили мощным толчком дальнейшего теоретического осмысления и конкретного исследования этой проблемы в трудах А. А. Потебни. В связи с общим интересом к указанной теоретической проблеме в современном языкознании представляется весьма актуальным обращение к трудам Потебни, к тем сторонам его учения о языке, в которых затронуты эти вопросы.

Ряд положений ученого о форме и содержании в языке, а также выделенные в языке элементы, соответствующие этим категориям, прямым образом перекликаются с идеями Гумбольдта. Однако концепция содержания и формы Потебни материалистична в своей основе и во многом представляет собой оригинальное конкретное исследование проблемы, поставленной Гумбольдтом. Некоторые ученые считают, что проблему содержания и формы Потебня ограничивает учением о внутренней форме слова². Однако это не соответствует действительности. Взгляды Потебни на форму и содержание не были специально изложены в какой-либо отдельной его работе. Его суждения по этой проблеме и связанным с ней вопросам, высказанные в разных исследованиях и в разное время, убеждают, что Потебня внутренне руководствовался цельной концепцией содержания и формы, не получившей, к сожалению, законченного оформления и выражения³.

Чтобы показать, с одной стороны, известную преемственность взглядов В. Гумбольдта и А. А. Потебни, с другой — оригинальное, конкретное развитие учения о форме и содержании в трудах последнего, кратко изложим основные положения концепции формы языка В. Гумбольдта.

Многие исследователи творчества Гумбольдта отмечали, что одна из центральных категорий его концепции языка — форма — определена весьма отвлеченно и тем самым допускает различное ее понимание и толкование. Если под языком Гумбольдт понимал «постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на

то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли»⁴, то форму языка он определял как «постоянное и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности»⁵. Язык Гумбольдт представлял как самое действительность (энергея), а продукт деятельности (эргон). Причем активным началом этой деятельности, осуществляемой постоянным и однородным образом, он считал форму языка. Поэтому ученый справедливо заключал: «... Понимание формы открывает исследователю путь к постижению тайн языка и выражению его сущности»⁶. Главным в проблеме формы и содержания, по Гумбольдту, в конечном счете является исследование закономерности соединения звука и значения.

Гумбольдт предостерегает от суженного понимания категории формы и содержания. «Под формой языка разумеется не только так называемая грамматическая форма»⁷, форма языка не ограничивается различием грамматики и лексики, «понятие формы выходит далеко за пределы словосочетания и словообразования»⁸. Все перечисленные факты Гумбольдт относит к форме языка, но они не исчерпывают ее. Это лишь отдельные проявления формы, которая представляется как нечто постоянное, всеобщее и единообразное в деятельности духа. «Эти частности, — пишет Гумбольдт, — должны включаться в понятие формы языка не в виде изолированных фактов, а лишь постольку, поскольку в них вскрывается единый способ образования языка»⁹.

Форма в понимании Гумбольдта представляет собой активное языкообразующее начало. Она, с одной стороны, противопоставлена звуку как материалу, который, взятый сам по себе как таковой, не принадлежит языку. С другой — и содержание, взятое само по себе, образованное на основе восприятия и отражения в мышлении явлений действительности, также не принадлежит языку. Это внеязыковое содержание. Форма оказывается необходимым посредником между двумя различными по своей природе явлениями — материалом и содержанием. Именно под воздействием формы звук как материал преобразуется в артикулированный звук, или внешнюю форму, способную образовать органическое единство с мыслью. Но и содержание может быть выражено в языке — в том или ином объеме и отношении — только под воздействием и с помощью формы.

Гумбольдт замечал, что звук по своей природе более всего подходит для выражения мысли; своей кажущейся нематериальностью он сродни самой мысли. Звук не видим глазом, но он воспринимается специально развившимся чувством слуха. Звук образуется в физической среде, весьма подвижной и эластичной, легко поддающейся под воздействием органов речи разнообразному формированию и одновременно передающей звук на расстояние. Благодаря способности человека производить звук в результате многообразных манипуляций органов речи и указанной эластичности физической среды оказались

возможными единство звука и мысли и их взаимообусловленная дискретность.

Гумбольдт, таким образом, приписывал форме исключительную роль в языке. При всем единстве, образуемом с помощью формы (с одной стороны, формы и материала, с другой — формы и содержания), отношения между формой и материалом и между формой и содержанием антиномичны, поскольку ни материал, ни содержание, взятые сами по себе, не принадлежат языку.

Соединение звука и мысли носит характер синтеза, который создает нечто новое, что не содержалось ни в одной из сочетающихся частей как таковых¹⁰. Под воздействием и с помощью формы и звука и содержание видоизменяют свою природу, становясь в таком видоизмененном виде как бы аналогами формы. Под воздействием формы звук становится членораздельным, артикулируемым, демонстрируя своей членораздельностью дискретный характер проявления как самой формы, так и препарированного с ее помощью содержания. Поэтому форма так или иначе присутствует в каждом элементе языка, не теряя при этом своего единства и систематичности. Именно в таком виде и внешняя и внутренняя форма, и содержание становятся языковым фактом, т. е. делаются объективированными, и тем самым оказываются достоянием коллектива, объектом дальнейшей оценки, усовершенствования и развития.

Единство формы и содержания, таким образом, невозможно без аналогии, изоморфности внешней, внутренней формы и содержания. Именно эта аналогия и изоморфность позволяют объединить, казалось бы, несоединимые по своей природе вещи — звук как материал и значение, а тем самым понять, отразить и закрепить в языке внешне противостоящую человеку действительность¹¹. Антиномии слова (единство и одновременно противоположность внешней формы, внутренней языковой формы и содержания) позволяют выразить в слове общее и единичное, постоянное и подвижное. Такой характер языка обеспечивает взаимопонимание в живом речеобразовании: общее и стабильное в значениях языковых единиц представляет собой основу взаимопонимания, но вместе с тем не исключает индивидуального и единичного как цели и продукта конкретного речеобразования, что, как правило, и является предметом сообщения.

Из сказанного следует, что форма имеет идеальную природу, обособно воздействует и на материал, преобразуя его в форму внешнюю, и на содержание, организуя, препарируя его в соответствии со своим внутриязыковым строением.

Поскольку форма проявляется в живой речевой деятельности как единый способ функционирования языка, обнаруживающийся в каждом его элементе, то охватить или выделить форму как целое невозможно. Вместе с тем говорящий интуитивно, неосознанно пользуется этой формой как единым принципом применения языка. Владение языком может сочетаться у говорящего с полным незнанием о его уст-

ройстве. Задача исследования — обнаружить в каждом элементе языка эту связь с целым, обусловленность формы того или иного элемента формой языка. В то же время в своих истоках форма в процессе формирования и образования языка не может ограничиться и выразиться только в каком-то отдельном элементе, а реализуется целиком в своей всеобщности и единстве, будучи в свою очередь обусловленной развитием в известной степени человеческим духом. Поэтому истинное определение языка должно быть генетическим. Однако именно взгляды Гумбольдта на происхождение языка вызвали несогласие Потебни.

Поскольку процесс образования языка изначально тесно связан с проявлением формы и содержания в языке, кратко остановимся на этом вопросе, тем более что во взаимодействии формы и содержания, по мнению обоих ученых, выражается сущность языка.

Как материалист, Потебня решительно возражает против двойственной позиции Гумбольдта, допускающего божественное происхождение языка. Потебня не сторонник метафизического, т. е. сугубо теоретического, отвлеченного освещения этого вопроса, отдавая предпочтение конкретно-историческому его исследованию с использованием языковых и психологических данных. Поэтому, отталкиваясь от идей В. Гумбольдта, А. А. Потебня не сомневается в том, что “должно быть возможно и не метафизическое исследование начала языка” (Эстетика, 67). Именно из-за отсутствия языковых и психологических данных “в вопросах о языке прибегать к метафизике слишком рано” (Эстетика, 67). Более того, Потебня приходит к выводу, что и метафизическое решение вопроса должно основываться на фактическом научном его исследовании: “... Область метафизики не исключает нашего вопроса, а начинается там, где он оканчивается” (Эстетика, 67).

Проявление чисто метафизической точки зрения у Гумбольдта Потебня видит в том, что он отождествляет, не разделяет дух и язык, и шире — область языка и область духа, возводя их единство к высшему началу, к высшему внутреннему единству (Эстетика, 63), иными словами к их божественному происхождению. С этим Потебня не может согласиться, поскольку такая точка зрения исключает исторический, эволюционный подход к проблеме происхождения языка, основанный на научных данных. Но одновременно Потебня замечает, что именно Гумбольдт “положил основание перенесению вопроса на психологическую почву своими определениями языка как деятельности, как работы духа, как органа мысли. Признание вопроса о происхождении языка вопросом психологическим определяет уже, где искать его решения и какое именно создание языка здесь разумеется” (Эстетика, 70).

Потебня намечает общее направление исследования этой проблемы. Законы душевной деятельности одни для всех времен и народов. Эти законы представляются величиной постоянной, их же результаты — величина переменная. Изучив регулярные отношения между действием этих законов и их результатами, мы можем найти черты,

общие нам с первыми говорившими людьми. Поэтому “в истории языка, в психологических наблюдениях современных нам процессов ключ к тому, как совершались эти процессы в начале жизни человечества” (Эстетика, 70). Труды Потебни убедительно иллюстрируют продуктивность такого методологического подхода; именно исторический и генетический подход в сочетании с системным, равносторонним рассмотрением языковых явлений позволил ученому добиться выдающихся результатов в изучении языка.

Важнейшей предпосылкой принципиального научного исследования этого вопроса Потебня считает разграничение области духа (человеческого мышления) и области языка. Божественность происхождения языка снимается, по Потебне, тем, что дух в широком смысле слова (т. е. человеческое мышление) и язык не одновременны и относительно самостоятельны. Начальный этап эволюции душевной деятельности человека — доязыковой, низший. Для возникновения языка душевная деятельность должна достигнуть определенной степени своего развития. Язык есть преобразование низших душевных процессов в высшие. “... Слово нужно для преобразования низших форм мысли в понятия и, следовательно, должно появляться тогда, когда в душе есть уже материалы, предполагаемые этим преобразованием” (Эстетика, 68). Потебня, таким образом, вводит понятие эволюции душевной деятельности человека и определенные этапы этой эволюции. Вторую фазу развития духа, уже связанную со словом, Потебня определяет как сознательную умственную деятельность, предполагающую создание понятий.

Общая картина соотношения мысли и языка, по Потебне, следующая: “...Область языка далеко не совпадает с областью мысли. В середине человеческого развития мысль может быть связана со словом, но в начале она, по-видимому, еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее ее требованиям, и как бы потому, что не может вполне отрешиться от чувственности, ищет опоры только в произвольном знаке” (Эстетика, 69).

Потебня отмечает в самой мысли многое такое, что не требует языка, например образы ребенка, непосредственные чувственные восприятия, творческая мысль живописца, ваятеля, музыканта и др.

Подобно Гумбольдту многие ученые считают, что человеческое мышление возможно только на базе языка; язык и мышление неразрывно связаны, предполагают друг друга, следовательно, они одновременны по происхождению. При этом некоторые советские ученые расценивают противоположную точку зрения как отступление от марксизма. Между тем приведенные выше суждения Потебни не противоречат известным положениям Энгельса о происхождении языка. Энгельс отдавал приоритет труду в процессе становления человека, превращения неразвитого мозга обезьяны в мозг человека. Следовательно, образование языка предполагает определенную степень развития мыслительной деятельности человека, и эта степень

развития обязана труду первобытного человека. Идея приоритетности труда развивается в ряде работ, в том числе и позднейшего времени¹². Не противоречат идеи Потебни и известным суждениям Энгельса о том, что «на «духе» с самого начала лежит проклятие — быть «отягощенным» материей», что “язык так же древен, как и сознание”¹³. В данном случае Энгельс имеет в виду взаимосвязь и взаимообусловленность языка и сознания как результата умственной деятельности, предполагающей создание и закрепление понятий с помощью языка. Сознание, будучи высшим этапом развития мышления, непрерывно связано с языком, поскольку является выражением и закреплением с помощью языка общественно-исторического знания и опыта данного коллектива.

Не отрицая тесную взаимосвязь и взаимообусловленность языка и душевной деятельности человека, Потебня настаивает на их нетождественности и относительной самостоятельности. Обращаясь к проблеме происхождения языка, Потебня предпочитает не метафизическое, а конкретно-историческое ее исследование, в котором главными предметами являются психологические процессы и история языка.

Потебнианская трактовка истоков языка логически связана с его концепцией формы и содержания, поскольку и эта проблема рассматривается Потебней прежде всего с исторической и генетической точки зрения. Такой методологический подход позволяет видеть в историческом движении языка диалектику взаимоотношения и взаимопереходов элементов формы и содержания.

Рассматривая содержание и форму с философской точки зрения, Потебня подчеркивал, что форма не является чем-то посторонним для содержания; они существуют в органическом единстве, взаимно предполагают друг друга. “... форма, — писал он, — не есть нечто вполне отделимое от содержания, а относится к нему органично, как форма кристалла, растения, животного к образовавшим ее процессам” (Эстетика, 373). С этой характеристикой содержания и формы прямым образом связана и другая существенная черта их взаимоотношений, а именно относительность их противоположения. В разных своих связях то, что было содержанием, может выступать формой и наоборот. “Форма и содержание, — отмечал А. А. Потебня, — понятия относительные: В, которое было содержанием по отношению к своей форме А, может быть формой по отношению к новому содержанию, которое назовем С...” (Эстетика, 178).

Эти положения А. А. Потебни о содержании и формах в языке явились ключевыми в анализе конкретного языкового материала.

Чтобы показать своеобразие языковой мысли, ее содержание и форму, сам процесс ее образования и выражения, А. А. Потебня стремится в своем анализе выйти за пределы языка в область чувственного восприятия. “... За исходную точку мысли, — писал он, следует признать чувственные восприятия и их комплексы” (Из зап. по р. гр.,

форма
и
содержание
Потебни

т. 1 — 2, с. 34). “Чувственный образ есть нерасчлененный комплекс почти одновременно данных признаков”¹⁴; В чувственном образе “нет ни действия, ни качества, ни предмета, взятых отдельно, но все это в нераздельном единстве” (Из зап. по р. гр., т. 1 — 2, 151). Поэтому мысль, выраженная в языке, первоначально близка к этому восприятию и по своему содержанию и по способу своего выражения, но тем не менее она представляет собой существенное преобразование чувственного образа. Исследуя движение мысли от чувственного восприятия до языкового ее выражения, Потебня подчеркивал, что создание высших форм мысли есть преобразование ее низших форм (Эстетика, 539).

В эпоху образования и первоначального функционирования человеческого языка мыслительный запас был весьма скуден и категориально не разработан в виде тех или иных общих понятий и их разрядов, по которым человек мог бы распределять формирующиеся в речи значения.

Языковой единицей, отражающей и обозначающей чувственное восприятие, было первоначально, по Потебне, слово-предложение. Его нерасчлененность соответствовала в известной степени нерасчлененности чувственного восприятия. Существенные черты, свойственные вообще психологической и грамматической природе предложения, предполагают двучленность и предикативность и в словес-предложении. Оно устанавливало общность между вновь познаваемым (объясняемым) и познанным, т. е. внутриязыковым содержанием, закрепленным за данным словом-предложением как знаком языка. Язык, согласно Потебне, постоянно находится между усвоенным, познанным и вновь познаваемым, объясняемым.

С отпочкованием от слова-предложения частей речи с их разветвленной системой грамматических форм, с образованием лексико-морфологических, словообразовательных разрядов слов и соответствующим расчленением чувственных восприятий изменяется и развивается сам характер отражения действительности, увеличиваются возможности более углубленного и детального познания действительности. По мере развития понятийного запаса языка и “субъективных приспособлений” для отражения действительности существенно изменяются и само восприятие действительных явлений, а также и связанные с ним понимание и квалификация воспринимаемого, поскольку человек владеет чувственной и абстрактной формами отражения действительности в органическом единстве. Между исходным пунктом отражения действительных явлений — чувственным восприятием или чувственным образом — и словом генетически определяется промежуточное звено — так называемое “внеязычное содержание” (ВС), т. е. мыслительное образование, реальность и тождество которого обнаруживается в его определенным образом соотношенных языковых выражениях и преобразованиях.

В отношениях языковых единиц Потебня пытается найти моменты связи и единства их содержания с чувствами восприятия и мыслью, образующейся на основе этого восприятия. С этой целью он и вводит категорию “внеязычного содержания”.

К сожалению, Потебня уделил этой категории мало внимания, говоря о ней преимущественно в связи с другими языковыми явлениями. К тому же он сам признавал, что “... понятие содержания (насколько оно составляет предмет языкознания) и формы слова еще весьма не ясны” (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 7). Между тем анализ даже разрозненных суждений ученого об этой категории показывает, что она занимает важное место не только в учении Потебни о форме и содержании в языке, но и вообще в его концепции языка и мышления. Без уяснения этой категории невозможно понять учение Потебни о частях речи, о внутренней форме слова, о взаимоотношении языка и мышления и др. Но на эту важную в теоретических взглядах ученого категорию исследователи научного наследия Потебни обратили недостаточно внимания¹⁵.

Попробуем на основе отдельных положений и замечаний ученого составить более или менее полное представление об этой категории и ее месте в его общелингвистических взглядах. Сжатое объяснение этого понятия и иллюстрации к нему Потебня дал в первом томе “Из записок по русской грамматике”. “... Содержание языка, — писал он, — состоит лишь из символов внеязычного значения и по отношению к последнему есть форма. Чтобы получить внеязычное содержание, нужно бы отвлечься от всего того, что определяет роль слова в речи, например, от всякого различия в выражениях: “Он носит меч”, “кто носит меч”, “кому носить меч”, “чье дело ношение меча”, “носящий меч”, “носитель меча”, “меченоситель”, “меченосец”, “меченоша”, “меченосный”. Если при этом не всякое различие между частями речи исчезнет, то это будет служить лишь доказательством несовершенства отвлечения, а никак не того, что в содержание предложения входят различия между существительным, прилагательным и глаголом” (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, С. 72). Понимание этой категории не претерпело изменений и в последующих его работах; более подробное ее разъяснение мы находим и в лекциях по истории русского языка (Ист. рус. яз., 119 — 168).

Внеязычное содержание — это собственно мыслительное образование, тождество которого обнаруживается в цепочке возможных его языковых преобразований с помощью категориальных (грамматических и словообразовательных, или субъективных, по терминологии Потебни) элементов и их значений. Самостоятельно, вне препарирующих его субъективных элементов, это содержание не выражается и не существует в языке. Субъективные элементы представляют собой формальный, категориальный механизм языка, различным образом видоизменяющий и оформляющий мысль, образующуюся в результате восприятия и отражения определенного явления

действительности, ситуации. Эти элементы входят организующей, структурной частью во многие единицы, являющиеся явно выраженными показателями их классификационности; это — грамматические, семантические рамки, формы, которые в конкретных речевых условиях наполняются индивидуальным предметным содержанием. Таким образом, в преобразованиях обнаруживается как “внязычное содержание”, так и те формы (“субъективные приспособления”), которые оформляют и категориально видоизменяют ВС. Тождество ВС обеспечивается наличием одних и тех же “объективных”, по терминологии Потебни, элементов слова (т. е. вещественных, корневых частей слова, которые, по Потебне непосредственно направлены на действительность), принадлежностью словоформ, участвующих в преобразованиях, к одной и той же лексеме, а также словами, находящимися в прямых деривативных отношениях (по современной терминологии, “синтаксическими дериватами”).

Цепочки категориальных преобразований ВС тянутся от минимально значимых единиц языка — аффиксов до предложения. Потебня в связи с этим замечает, что содержание может быть выражено в стольких грамматических комбинациях, “сколько позволяет известный язык” (Ист. рус. яз., 145). На основании примеров А. А. Потебни можно заключить, что одно и то же ВС обнаруживается у слов разных частей речи (*чернь — черный — чернеть, зеленый — зеленеет — зелень* (Ист. рус. яз., 145); *веселый — веселиться — веселье — весело*)¹⁶, в словах и словосочетаниях (*меченосец — меченосный — носитель меча — носящий меч*); в словосочетаниях (*белый снег — белизна снега, активно участвовать — активное участие*); в словосочетаниях (*Зеленая трава — Трава зеленеет*) (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 91); в предложениях (*Ученики решают задачу — Задача решается учениками* (см., например, Ист. рус. яз., 137) и т. п.

Формальный механизм языка, организующий и выражающий ВС, пронизывает весь язык, все его уровни. Важно подчеркнуть, что эти формальные, субъективные приспособления внутренне взаимосвязаны, закономерно выводимы одно из другого. В совокупности они образуют единство, систему. Поэтому одно и то же ВС может быть выражено на разных уровнях языка путем комбинации одних и тех же вещественных, или объективных, элементов слова и различных субъективных, образуя цепочки преобразований. Диапазон возможных трансформаций ВС в языке весьма широк, если учитывать как богатство грамматических и словообразовательных категорий, так и отмеченную Потебней способность слова служить средством сгущения и развертывания мысли (Эстетика, 211; Из зап. по р. гр., т. 4, с. 73).

Большое внимание Потебня уделяет словам разных частей речи, находящимся в прямых деривативных связях, что обусловлено необходимостью выяснить природу частей речи. ВС категориально видоизменяется в словах разных частей речи, что не нарушает его тождества.

“... Разница между частями речи, — писал Потебня, — не в содержании, а в способе его представлять” (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 88). Будучи языковыми категориями, части речи представляются рамками, “в которые втискивается содержание мысли нерасчлененной, не препарированной... От того же, каковы грамматические категории, зависит наше мышление, его общий характер, полнота и глубина”¹⁷. Части речи по-разному организуют, препарируют ВС и лежащее в его основе чувственное восприятие. Эти категории субъективны, но это не значит, что в них нет объективного содержания. Они, подчеркивал Потебня, не противоречат объективным, вещественным элементам слова, а, напротив, однородны с ними, являясь одновременно такими “человеческими приспособлениями”, с помощью которых человек “усваивает” действительное, объективное содержание, образующееся в результате восприятия действительности. “Чем отличается чернь, черный и чернеть? — замечает Потебня. — Чувственное восприятие дает нам не вещь, не качество и не действие, а это все безразлично. Наш ум разделяет это чувственное восприятие. Это, так сказать, процесс пищеварения в умственном восприятии, которое ум делает для себя” (Ист. рус. яз., 145). В другом месте Потебня пишет: “Сравнивая, с одной стороны, выражения, как “зеленая трава”, не составляющие предложения, а с другой, предложения, как “трава зеленая”, не найдем в них никакого различия по содержанию; но глагол изображает признак во время его возникновения от действующего лица, а имя — нет” (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 91).

Синтаксическим преобразованиям Потебня уделил меньше внимания. Но он подчеркивал, что и здесь преобразования могут быть настолько многообразны, насколько позволяет грамматический строй языка (Ист. рус. яз., 145). Количество формальных преобразований ВС, какие допускает синтаксис, весьма значительно; причем с увеличением количества членов предложения возрастает и число синтаксических трансформаций. В них существенно меняются семантические и грамматические функции слов, форма выражаемой трансформациями мысли, сочетаемость возможности как членов преобразований, так и самих трансформаций и др. (ср. например: *Петр потерял библиотечную книгу — Петр потерял книгу. Книга была библиотечной — Петром потеряна библиотечная книга — Петр потерял книгу, которая была библиотечной — Книга, потерянная Петром, была библиотечной — Потеря Петра библиотечной книги — Потерянная Петром библиотечная книга — Потерявший библиотечную книгу Петр — Потеряв библиотечную книгу, Петр...* и т. п.).

Разумеется, исчисление возможных в языке преобразований одного и то же ВС — искусственный прием; в реальном общении подобные цепочки трансформаций не могут, как правило, быть использованы одновременно. Из возможного набора конструкций, единиц говорящий интуитивно выбирает такую, которая отвечает задаче отра-

жения определенного предмета или ситуации. Но искусственный прием преобразования ВС показывает, что как языковые средства, так и их взаимопереходы не случайный набор разрозненных языковых фактов; это системно связанные единицы, категориально выводимые друг из друга. В своей совокупности они показывают возможности языка как целостной системы, его "объективных" и "субъективных приспособлений" в препарировании мыслительного содержания, образованного на базе чувственного восприятия действительности, и в конечном счете очерчивают взаимодействия человека с действительностью.

В своих суждениях о характере внеязычного содержания и способах его выражения Потебня затрагивает фундаментальный вопрос о месте и роли языковых "субъективных приспособлений" в выражении нашей мысли. Эти "приспособления", организуя, оформляя и выражая содержание, тем не менее сами не входят в содержание мысли как предмет сообщения. Мы не думаем о них, когда говорим, выражаем свою мысль. Человек, свободно владеющий языком, может не иметь никакого представления об этих "приспособлениях". Вместе с тем они являются необходимым средством оформления и выражения мысли. Именно такая роль языковых элементов и их значений в отражении и обозначении действительности в конечном счете свидетельствует о том, что они выступают как форма, в какую "отливается" мысль, образующаяся на основе восприятия тех или иных явлений действительности. Потебня и его ученики подчеркивали, что человек не затрачивает на применение этих форм, по сути дела, никаких усилий, высвобождая тем самым умственную энергию для творческой языковой работы. Потебня писал об этих "приспособлениях", выражающих классификационные значения: "Эта первоначальная классификация образов и понятий, служащая основанием позднейшей умышленной и критической, обходится нам, при пользовании формальным языком, почти ни во что" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 37 — 38) ¹⁸.

Потебня семантически не противопоставлял субъективные и объективные элементы слова; он указывал на их органическое единство в слове и относительность их различия. "Грамматическая форма, — замечал он, — есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 39). Для говорящего "вещественное и формальное значение данного слова составляют... один акт мысли" (Там же). Поэтому "момент вещественный и формальный различны для нас не тогда, когда говорим, а лишь тогда, когда делаем слово предметом наблюдения" (Там же). Об относительности противоположения вещественных и формальных элементов слова свидетельствует и происхождение последних из знаменательных слов.

В конечном счете все то, что не входит в индивидуальное, предметное содержание мысли, образованной в определенных речевых условиях в результате восприятия и отражения явления

действительности, служит формой этой мысли, средством ее организации, оформления и выражения. "Посредством языка человек доводит до своего сознания или, другими словами, представляет себе содержание своей мысли. Язык имеет свое содержание, но оно есть только форма другого содержания, которое можно назвать лично-объективным на том основании, что хотя в действительности оно составляет принадлежность только лица и в каждом лице различно, но самым лицом принимается за нечто существующее" вне его. Это лично-объективное содержание стоит вне языка" (Зап. по р. гр., т. 4, с. 99 — 100). Форма в таком понимании — это общие структурные, классификационные и квалификационные элементы самого содержания, которыми говорящие владеют в отвлечении от конкретных их применений и которые позволяют в речевом употреблении языковых единиц подвести реальные явления под известные понятия и их разряды и тем самым пронаять и отразить эти явления.

Как известно, грамматическую концепцию Потебни традиционно критиковали за то, что он понимал грамматическую форму как значение, а не как звук или, точнее, не как обязательное единство грамматического значения и его индивидуального звукового показателя. Однако эта традиционная критика Потебни не учитывала некоторых существенных моментов его грамматической концепции, прежде всего того, что в своей трактовке грамматической формы ученый исходил из общеметодологического взгляда на содержание и форму в языке. С этой точки зрения, как грамматическое, так и лексическое значения ("ближайшее", по терминологии Потебни) равно выступают формой по отношению к образующемуся в конкретных речевых условиях предметному содержанию, поскольку и то и другое значение распределяет это содержание по готовым, выработанным в языке разрядам. Выполнять такую роль звук сам по себе не может, формой выступает значение. Звук может быть материальным знаком нескольких форм, т. е. разных грамматических или лексических значений; последние нуждаются в звуке для своего выражения, объективации.

В своих конкретных исследованиях частей речи и их грамматических категорий Потебня не отрывает выражение этих категорий от соответствующих их "внешних форм", т. е. их звуковых показателей. Более того, он подчеркивает их единство, необходимое для объективации того или иного грамматического значения. "... Слово или форма, — писал он, — без значения не есть ни слово, ни форма... Слово и форма есть непременно совокупность звука и значения" (Зап. по р. гр., т. 4, вып. 2, с. 12). Звук определяется Потебней как внешняя форма, которая хотя и существует в единстве с внутренней формой и значением, видоизменяется вместе с ним, но тем не менее принципиально отлично от них. Форма в собственном смысле слова как внутриязыковая категория есть значение.

Важным моментом в концепции формы и содержания Потебни является признание относительности их противоположения.

“Внутриязычные значения”, выступая в конечном счете формой, в какую отливается внеязычное содержание, в свою очередь, могут быть относительно друг друга как формой, так и содержанием. В своем формировании языковая мысль претерпевает ряд преобразований. В этом ступенчатом процессе, осуществляющемся с помощью языка, каждая предшествующая ступень выступает формой последующей, т. е. в такой связи она является структурным организующим элементом последующей ступени при ее образовании и развитии. Особое место в этом движении, приводящем в конечном итоге к осмысленному соединению звука и значения, занимает внутренняя форма слова.

В составе языка значимые элементы по отношению к звуку, форме внешней, выступают как содержание. Но в свою очередь эти содержательные элементы (как “объективные” так и “субъективные”), имеющие обобщенный, отвлеченный характер, являются формой, в какой входит в сознание мысль, образующаяся в результате восприятия и отражения конкретной действительности, т. е. внеязычное содержание. Внутриязычное содержание, которым говорящие владеют в отличие от конкретного применения языковых единиц, обычно не является предметом сообщения: мы не сообщаем друг другу то, что все знают и чем все владеют. Форма выступает здесь как организующий, структурный элемент содержания. Однако рассмотренные отношения не отражают весь механизм взаимодействия элементов формы и содержания в языке и, главное, не объясняют, как осуществляется осмысление и произвольное соединение звука и значения. Между тем наблюдается целый ряд закономерных связей и постепенных переходов элементов слова, делающих в итоге соединение звука и значения мотивированным.

В слове, согласно Потепне, присутствуют два содержания — объективное в виде признака, т. е. значения предшествующего слова, взятого как представление, как смысловой знак нового значения, и субъективное, в котором признаков может быть множество. “Первое содержание слова, — замечал Потепня, — есть та форма, в которой нашему сознанию представляется содержание мысли” (Эстетика, 114). С выбором признака для нового названия, т. е. с подбором объективных и субъективных элементов этого названия, вместе с представлением и формирующимся значением образуется особый звуковой комплекс, внешняя форма нового слова. Новое индивидуальное значение в языке получает новый индивидуальный знак.

В представлении Потепни семантика слова — это сложная и подвижная идеальная структура, в которой можно выделить два семантических уровня, или значения, — ближайшее и дальнейшее. Ближайшее значение — это тот семантический минимум, который обеспечивает обмен мыслями в данном языковом коллективе. Поэтому Потепня называет это значение народным, в противоположность дальнейшему значению, которое он квалифицирует как личное. Но именно “из личного понимания возникает высшая объективность мысли,

научная” (Зап. по р. гр. т. 1 — 2, с. 20). С точки зрения рассматриваемой здесь проблемы важно подчеркнуть, что Потепня называет ближайшее значение по отношению к дальнейшему формальным, отмечая, что из него вырастает и развивается дальнейшее, личное. Формальным оно называется потому, что вместе с представлением является совокупностью абстрагированных признаков, общих для всех говорящих на данном языке. Потепня подчеркивает, что такая “формальность”, о которой здесь речь, свойственна всем языкам, все равно, имеют ли они грамматические формы или нет” (Там же).

Относительность противопоставления содержания и формы в языке А. А. Потепня иллюстрирует примерами соотношения различного типа значений как внутри одного и того же языка, так и в разных языках. Если ближайшее выступает формальным по отношению к дальнейшему, то “по отношению к грамматическим категориям само это формальное значение является вещественным” (Там же). Однако и это противопоставление окажется относительным, если мы будем иметь в виду разные языки. Понятие формального (грамматического) и содержательного значения меняется от языка к языку. “Есть языки, — пишет Потепня, — в коих подведение лексического содержания под общие схемы, каковы предмет и его пространственные отношения, действие, время, лицо и пр., требует каждый раз нового усилия мысли. То, что мы представляем формой, в них является лишь содержанием, так что грамматической формы они вовсе не имеют” (Там же).

Предлагаемое Потепней объяснение характера взаимосвязи формы и содержания в языке, относительность их противоположения не противоречат марксистскому пониманию этих категорий и их взаимоотношения. Диалектика взаимодействия содержания и формы выражена в известном ленинском положении: “Форма существенна. Сущность сформирована”¹⁹. Сущность является главным в содержании предметов действительности, определяющим их внутреннюю природу, качественное своеобразие. Из ленинского положения следует, что форма является не только моментом содержания, но она включает и элементы сущности, т. е. черты, определяющие качественную природу предмета.

Исследуя взаимоотношения этих категорий диалектики, А. П. Шентулин пишет: “Форма представляет собой структуру, и если это так, то она всегда содержательна, а содержание всегда формально”²⁰. И далее: “Будучи относительно устойчивой системой связей процессов, свойственной вещи, их структурой, форма существует не вне этих процессов, а в них самих, то есть входит в содержание, является его моментом, составной частью”²¹.

Проблема содержания и формы в языке, выдвинутая В. Гумбольдом, именно в трудах Потепни получила плодотворное развитие, которое, по нашему мнению, должно определять направление дальнейшего исследования этой проблемы. Известная незавершенность взглядов Потепни объясняется объективными причинами —

отсутствием специальных лингвистических и психологических исследований по этой проблеме, необходимостью широкого охвата материала, выходящего за пределы языка, недоступностью для наблюдателя идеальных процессов и др. Несмотря на это, отдельные стороны проблемы были глубоко раскрыты Потебней (ср. учение о внутренней и внешней форме слова, концепцию частей речи, понимание грамматического значения и формы). Он во многом уточнил, конкретизировал проблему и, главное, опираясь на лингвистические и психологические данные, заметно продвинул ее исследование в материалистическом направлении. В движении мысли от чувственного восприятия действительности к абстрактному, сущностному ее отражению в языковых формах. Потебня открыл ряд существенных элементов относящихся к содержанию и форме, одновременно показав относительность их противоположения.

Концепцию содержания и формы Потебни можно рассматривать как плодотворный поиск разрешения этой проблемы, заслуживающей творческого освоения и развития.

¹ Прежде всего здесь нужно указать на труды А. А. Потебни и других представителей Харьковской лингвистической школы, развивавших идеи своего учителя, в частности в выпусках "Вопросов теории и психологии творчества". Проблемы теории языка, его содержания и формы обсуждаются также в ряде других работ: Шпет Г. Внутренняя форма слова. — М., 1927; Флоренский П. А. Антиномия языка. — Вopr. языкознания. — 1988. — № 6. — С. 88 — 125; Постовалова В. И. Язык как деятельность. Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. — М., 1982; Рамишвили Г. В. Вильгельм фон Гумбольдт — основоположник теоретического языкознания // Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984. — С. 5 — 33; см. также другие работы этого автора; Звегинцев В. А. О научном наследии Вильгельма фон Гумбольдта // Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984. — С. 356 — 362; Бибихин В. В. Принцип внутренней формы и редукционизм в семантических исследованиях // Языковая практика и теория языка. — М., 1978. — С. 52 — 69; Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. — М., 1988.

² Рамишвили Г. В. Указ. соч. — С. 19.

³ О том, что Потебня не успел подытожить свои лингвистические исследования в обобщающем теоретическом труде, свидетельствовали его современники. А. С. Будилович писал, что Потебне "... не удалось, к сожалению, сказать последнего своего слова, вывести своды над высоким научным сооружением. Но и в настоящем виде заслуги его для науки поистине громадны... Влияние Потебни еще долго и даже все сильнее будет сказываться в развитии науки о русском языке и словесности" (А. А. Потебня. Отрывок из некролога // Зап. по р. гр., т. 4, вып. 2, с. 355).

⁴ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984. — С. 70.

⁵ Там же. — С. 71.

⁶ Там же. — С. 72.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же. — С. 73.

¹⁰ Там же. — С. 107.

¹¹ Гумбольдт В. Язык и философия культуры. — М., 1985. — С. 300.

¹² См., например: Якубинский Л. П. Язык и его функционирование. — М., 1986. — С. 104 и след.; Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. — М., 1963; Ардентов Б. П. Мысль и язык. — Кишинев, 1965. — С. 30 и след.; Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. — М., 1983. — С. 76 и след.; Якушин Б. В. Гипотеза о происхождении языка. — М., 1985.

¹³ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 3. — С. 29.

¹⁴ Потебня А. А. Психология поэтического и прозаического мышления (из лекций А. А. Потебни) // Вопросы теории и психологии творчества. — 1910. — Т. 2. — Вып. 2. — С. 119.

¹⁵ Эта категория затронута в работе А. Б. Богдарко. Из истории разработки концепции языкового содержания в отечественном языкознании XIX века (К. С. Аксаков, А. А. Потебня, В. П. Сланский) // Грамматические концепции в языкознании XIX века. — Л., 1985. — С. 95 и след.

¹⁶ О тождестве содержания однокоренных слов, принадлежащих к разным частям речи, писал Л. В. Щерба: "Веселый, веселье, веселиться никак нельзя признать формами одного и того же слова, ибо веселый — это все же качество, а веселиться — действие. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что содержание этих слов в известном смысле тождественно и лишь воспринимается сквозь призму разных категорий — качества, субстанции, действия" (Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974. — С. 59).

¹⁷ Харцьев В. Основы поэтики А. А. Потебни // Вопросы теории и психологии творчества. — 1910. — Т. 2. — Вып. 2. — С. 22 — 23.

¹⁸ См. также: Овсянко-Куликовский Д. Н. О значении научного языкознания для психологии мысли // Вопросы теории и психологии творчества. — Т. 1 (без даты издания). — С. 1 — 20; Лезин В. А. Художественное творчество как особый вид экономии мысли // Там же. — С. 252 — 312.

¹⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 129.

²⁰ Шентулин Я. П. Категории диалектики. — М., 1967. — С. 274.

²¹ Там же

Ю. П. ТЕНЯНКО

АНАЛОГІЯ СЛОВА І МИСТЕЦТВА В КОНЦЕПЦІЇ О. О. ПОТЕБНІ

У статті виявляється цілісність погляду О. О. Потебні на природу словесної творчості як єдиного іносеологічного феномена, що може бути розчленований на суто естетичні і суто знакові вияви лише штучно, з метою дослідження. Підкреслюються ті риси, що споріднюють узагальнення дійсності в мистецькому образі і у мовних знаках з живою образною основою.

О. О. Потебня є одним із найвидатніших представників серед університетських учених XIX ст. на Україні. Він заснував лингвістичну школу, яка зіграла чималу роль у вітчизняному мовознавстві та літературознавстві. Але розроблена ним теоретична концепція становить і надзвичайно важливий внесок в українську та російську естетику. Цей факт однак ще недостатньо усвідомлений

істориками естетичної думки. Про Потебню як естетика майже не згадують ні “Українська радянська енциклопедія”, ні інші довідкові видання. І в “Нарисі історії філософської думки на Україні”, де розглядаються філософські погляди Потебні, про естетичні ідеї не згадано. Чи не єдиним винятком є стаття про нього в “Краткой литературной энциклопедии” (т. 5). Лише в 70—80-ті роки з’явилися дослідження естетичних ідей Потебні. В 1976 р. вийшла збірка фрагментів його творів “А. А. Потебня. Эстетика и поэтика” зі вступною статтею І. В. Іваньо і А. І. Колодної, в 1985 р. О. П. Преснякова “Поэтика познания и творчества” і збірка “Олександр Потебня. Эстетика и поэтика слова”.

Склалася загальна думка, що Потебня цікавий лише як філолог, славист-лінгвіст та фольклорист. Справді, в його спадщині немає праць, спеціально присвячених питанням естетики. Але всі його твори надзвичайно насичені філософськими та естетичними ідеями. Це передусім такі, як “Мысль и язык” (1862), “Объяснения малорусских и сродных народных песен” (1883—1887), “О некоторых символах в славянской народной поэзии” (1860) “Из лекций по теории словесности” (1894), а також видані вже після смерті матеріали “Из записок по теории словесности”. Окремі філософські і естетичні ідеї розсіпані і в інших творах Потебні, навіть з питань граматики, оскільки його естетика має переважно лінгвістичний характер.

Фундаментальним положенням усієї естетичної концепції Потебні є гіпотеза про аналогію слова, його зв’язків і взаємодії з елементами складних творів мистецтва. Л. С. Виготський зазначає, що саме “ця точка зору була блискуче розвинена в працях Потебні і його школи і послужила основним принципом у цілому ряді його плідних досліджень”¹.

Поетичний образ і складний художній твір, вважає Потебня, виникає і живе так, як і образне слово. Всі властивості слова, основні його елементи, їх зв’язки і взаємодія такі самі, як в структурі художнього твору. “Мова у всьому своєму обсягу і кожне окреме слово відповідають мистецтву, при тому не тільки за своїми стихіями, але й за способом поєднання їх” (Мысль, 151).

Потебня детально і всебічно досліджує слово, його генетичну історію, властивості, структурні елементи для того, щоб прокласти пряме сполучення до вивчення і аналізу “складних процесів творення і вживання драми, ліричної пісні, поетичного оповідання”. За вченням Потебні, мова (слово) є реальна практична свідомість, засіб пізнання і перетворення життя, причому засіб не стільки висловлювати вже готову думку, скільки відкривати нову, невідому. Він підкреслює: “...Мова, чи будемо ми її розглядати як діяльність або як річ, є засіб (або знаряддя) всякої іншої людської діяльності” (Записки по теории, 642—643). Саме в мові, за Потебнею, конкретно-пізнавальні величини, поняття органічно злиті з “чуттєвим образом”, конкретним уявленням і чуттєвою оцінкою, і через це вона виступає як естетичний

і спричинилась до того, що вся його естетична концепція інтерпретувалась прямолінійно і схематично. Дослідники спадщини вченого досі вважали і вважають, що до проблем сутності і специфіки мистецтва Потебня підходить суто гносеологічно, що він начебто недооцінював роль чуттєвого сприйняття і осягнення дійсності мистецтвом. Цей докір Потебні про “односторонній інтелектуалізм” вони аргументували тим, що вчений зіставляв мистецтво з наукою, акцентував на мистецтві як пізнанні, зближуючи його з теоретичним мисленням.

Подібний підхід до найважливіших ідей Потебні, на нашу думку, має характер упередженості і однобічності. Він свідчить, що дослідники не враховували того, що в його концепції значне місце займає характеристика чуттєвих сприймань у процесі художнього відображення дійсності. Потебня багаторазово підкреслював, що на відміну від науки, створення поетичного образу і користування ним пов’язане з відомим хвилюванням, і що це останнє виникає у споживачів мистецтва не як результат “передачі думки, а як резонанс певних настроїв автора” (Записки по теории, 59). Він звертає увагу на те, що художній образ веде людину до такого пізнання, при якому осягнення навколишнього світу здійснюється не тільки і не скільки суто логічним, розумовим шляхом, а головним чином синтезом мислі і почуттів, які в процесі пізнання невіддільні одне від одного. Визначаючи мистецтво як форму духовно-практичної діяльності, Потебня ніколи не обмежував його роль і кінцеві завдання лише пізнавальними функціями. Художнє пізнання в естетиці Потебні — це образне мислення суб’єкта, оцінкове об’єктивування, перетворення чуттів і мислення в дію, практику, що “змінює виробника”.

Потебня вважає, що мистецтво специфічне пізнання, яке завжди зв’язане з інакомовністю, що становить іманентний в мистецтві вияв його умовності і цілісно-конкретного образного ладу. Алегоричність визначає потенціал художнього впливу і багатоплановість образів мистецтва, фантазію, інтенсивну емоційну уяву, сприйняття та інтерпретацію відображеного. Інакомовність аж ніяк не узгоджується з вимогами однозначності, що прийнята в науковому пізнанні.

Вчення Потебні загалом протистояло пануючим в його час гносеологічним концепціям, що доводили тотожність мистецтва і пізнання щодо мети, мотивів і результатів. Відомо, що Потебня різко критикував визначення поезії як “судження в образах”, яке було традиційним у багатьох “теоріях словесності” (Шевирєв, Буслаяв, Галахов і ін.). Він стояв на точці зору, що мистецтво і наукове пізнання різні за своєю структурою способи освоєння світу, які виникли на основі історичної диференціації суспільної діяльності і людських здібностей.

Потебня розрізняє художнє відображення, вираження і художнє пізнання як терміни нерівнозначні. Термін “відображення”

зв'язується зі здатністю творів мистецтва зображати предмети і явища життя в художньо-образній формі, з проникненням свідомості в зовнішній світ, духовним відтворенням дійсності в чуттєво-наочній картині реальних форм об'єкта. Вираження — емоційна спрямованість образу і відображення, передача суб'єктивного внутрішнього стану переживань, емоцій художника.

Пізнання по відношенню до мистецтва у Потебні виступає як специфічне художньо-теоретичне мислення, в якому твори мистецтва виступають як джерело одержання знань. Тобто, говорячи про мистецтво як естетичну діяльність, творчий процес, Потебня визначає відображення і вираження як його природу, його специфічне відношення до дійсності, що має на меті її художнє освоєння, пізнання ж пов'язує з його практичним впливом на людей. Ці категорії у вченні Потебні нерозривні на всіх етапах існування художнього образу і твору: від задуму художника до сприйняття твору; взаємозв'язані, причому так, що їх розрізнити можливо лише в мислі, аналітичним, науковим шляхом.

На відміну від наукового абстрактного мислення, мистецтво, на думку Потебні, є процес, дія, результатом яких є творення художніх образів, творів поезії, в яких художнє відображення дійсності визначається сутністю об'єкта, а буття його проходить в сфері свідомості, художньої оцінки суб'єкта. В процесі відображення предметів і явищ реального світу художник суб'єктивує дійсність. Реальні явища її у взаємодії з суб'єктом відображення перетворюються на об'єкт і цей об'єкт, залучений до людської діяльності, набуває цінності естетичної. Таким чином, мистецтво розглядається Потебнею, як феномен, що виник на стику пізнання і практичної творчої діяльності. Воно є водночас і творчість, і художнє мислення, форма виробництва, продукт праці.

В мистецтві процес відображення дійсності, за Потебнею, виступає в формі естетичного відношення до неї і проявляється в образно-знаковій формі її моделювання. Причому, відображення дійсності є одночасно і вираженням суб'єкта, його відношення до світу. Мистецтво об'єктивує взаємодію суб'єкта в ході відображально-виражальної діяльності в художніх образах, в яких зберігаються конкретні чуттєві властивості і ознаки об'єктів і суб'єктивність відношення художника до них. "Під зображенням, зазначає Потебня у праці "Язык и народность", — розуміється тут не лише вираз думки на малюнку, в слові, образі, але й сама ця думка по відношенню до свого об'єкта" (Записки по теорії, 214).

Зв'язок відображення з оригіналом (об'єктом) виявляється в тому, що в творі мистецтва зберігається конкретна структура відображуваного. Схожість його з оригіналом, ступінь і характер цієї подібності опосередковані діяльністю суб'єкта. Тобто, крім об'єкта в процесі відображення детермінуючим фактором виступає і діяльність. В тій мірі, в якій ця детермінація опосередкована свідомістю суб'єкта,

відображення є суб'єктивним. Суб'єктивність відображення означає, що в зміст відображення входить не тільки об'єкт, і суб'єкт, що виражається в певних формах, в перетвореному відображенні. Єдність процесу відображення і вираження, на думку Потебні, можна розглядати як закріплення в художньому творі того, що іде від предмета дійсності, і того, що іде від митця. В тій мірі, в якій ця детермінація опосередкована свідомістю суб'єкта, відображення суб'єктивне, в яке органічно вливається і нетотожне йому вираження. На відміну від чуттєвих образів, суб'єктивність відображення в мистецтві не означає того, що воно знаходиться лише в свідомості суб'єкта і недоступна звичайному спостереженню. Суб'єкт не відображається, а виражається. Специфічною особливістю суб'єктивного моменту є ціннісне (аксіологічне) відношення до самого відображення, його субстрату, зокрема естетичне відношення.

У процесі взаємодії об'єктивного і суб'єктивного, реального і ідеального в мистецтві, на думку Потебні, може виникати дещо нове в розкритті і відображенні дійсності, взаємодії людини і життя. Тобто, мистецтво може бути джерелом для естетичних відкриттів, бо містить в собі пошукові можливості. Своє твердження мислитель пояснює відомим фактом, що спостерігається в самому процесі відображення, в якому художник для того, щоб підступитися до дійсності, ніби протиставляє себе і світ, виділяє своє людське Я і все інше НЕ — Я, зумисне виводить свідомість на орбіту чогось зовнішнього по відношенню до світу. Суб'єктивний момент, направлений на світ з іншого, зовнішнього по відношенню до нього боку, грає активну конструюючу, моделюючу роль у тому, щоб здолати первісну однозначність ситуації і виробити нові і нові варіантні пристосування в творчій відображальній діяльності. Він і дозволяє митцеві розкривати природу, явища життя і людські відношення на нових, додатково відкритих, по-новому реалізованих об'єктивних рівнях. Саме в такому розумінні мистецтво використовує свій універсальний засіб виведення цілого з часткового. На такому рівні відображення вже реалізується як творення.

Визнаючи за мистецтвом об'єктивну здатність правдиво відтворювати життя, явища природи і суспільства, Потебня одночасно вважає, що відображення в художніх творах не є точною копією дійсності, фотографічним знімком її. "Художня творчість, — пише він, — залишаючись цілком вірною природі... бере лише одну певну сторону предметів... опускає багато не необхідних рис предмета, дає в дійсності..., даючи особистому розумінню доповнювати цей образ іншими ознаками" (Мысль, 157—158). Отже, відображення в мистецтві це не лише наявність певної подібності між образом і об'єктом. Воно стає таким лише тоді, коли існуюча об'єктивна схожість усвідомлюється суб'єктом у процесі співвідношення образу і об'єкта. Істотним є висновок Потебні про те, що художня творчість, мистецтво не ставлять мети досягнути тотожності образу і об'єкта

відображення, що художній образ завжди ідеальний в розумінні виділення з основних сполучень і об'єднання певної групи рис, відкидання інших рис, збереження яких збивало б думку з шляху, по якому повинен направляти її образ.

Художній образ синтезує емоційний і раціональний підхід до відображуваних явищ дійсності і виявляє поетичність, художність цього підходу. Через це, — пише Потебня, — “образ важливіший за зображене” (Записки по теорії, 208).

Ідеї і висновки Потебні про вирішальне значення суб'єктивного елемента в процесі відображення і пізнання дійсності різко відмежовувало Потебню від учених і естетиків того часу, як в естетичній думці Заходу — Беккер, Шлейхер, Мюллер, так і Росії — Дружинін, Григор'єв і ін., які розуміли відображення, як механічне копіювання, наслідування природи, де творчий суб'єкт не грає важливої ролі.

Обґрунтування Потебнею творчих, евристичних можливостей мистецтва як його іманентної специфіки вказують на прогресивний характер його концепції, яка набагато йшла попереду естетичної думки його часу.

Другою онтологічною рисою відображення, на яку вказує вчений, є цілісність, яка говорить про предметний, чуттєвий характер відображуваного. Відображення, точніше, його субстрат і структура в мистецтві — матеріальні, бо чуттєво можуть сприйматися. Матеріальна структура відображення в мистецтві, на думку вченого, набуває характеру знакової системи, тобто семантичної інформації про об'єкт відображення. Потебня детально аналізує слово, що само по собі є безпосереднім знаком думки, що своїм значенням має предмет або явище, і, перекидаючи місток аналогії на цілісний художній твір, доводить, що мистецтво користується цілою системою знаків, виробленою протягом усієї історії художньої творчості.

В мистецтві, вважає Потебня, знаком виступає і весь твір, і окремий образ. Особливість знаку-образу (твору) в тому, що на думки і почуття він діє не стільки зображеним, а головним чином вираженим у ньому. Між зображенням і вираженням у структурно-функціональній єдності образу-знаку виникає тісний зв'язок, він і створює естетичну цілісність художнього образу.

Образ-знак у мистецтві є засобом комунікації і передачі інформації. Інформативність образу зумовлена перш за все його позначальною функцією. Позначення в мистецтві, як і “назва словом, — вказує Потебня, — є творенням нової думки в розумінні перетворення, в розумінні нового групування попереднього запасу думок під тиском нового враження або нового питання” (Лекції по теорії, 131). Образ-знак служить заміником об'єктів, на які він вказує, до яких він належить. Комунікативна і змістовна функції знаків нерозривно зв'язані одна з одною. Пізнаючи об'єкти з допомогою образів-знаків, суб'єкт перетворює їх в засоби комунікації. Виконуючи ці функції,

образ виступає фактором ідеалізації зовнішньо-предметних відношень, перетворює їх із матеріальних в ідеальні, які і дозволяють охоплювати об'єктивний зміст, відображати зовнішній світ. Значення образу, за Потебнею, не є повне висловлення думки, зв'язаної з ним, а лише одна ознака, яка символічно означає цю думку. Він виражає і почуття і думки. Але для того, щоб образ міг виражати не лише думки людей, але й все багатство їх почуттів, мистецтво відповідно обробляє його. Поетична мова, на відміну від наукової, насичена різними видами тропів. У зв'язку з цим вона, не втрачаючи думки, має ще надзвичайну емоційну виразність. Саме на цьому, на думку вченого, ґрунтується здатність художніх образів-знаків породжувати в уяві цілісні предмети або явища, які супроводжуються естетичними переживаннями, аналогічними до тих, що пережив сам художник.

Система знаків у мистецтві — специфічна. Специфіка її в тому, що вона не відходить від дійсності, як це є в науці, де знаками виступають абстракції, що безпосередньо не відображають яких-небудь об'єктивних ознак і властивостей предметів і явищ. Знаки в мистецтві, лишаючись в межах системи образного мислення, тобто у формі образів, означають конкретно-чуттєві риси відображених об'єктів.

Знак-образ, за Потебнею, має можливість заміщати масу різноманітних думок відносно невеликими “розумовими величинами”. Через це образ можна назвати “знаком значення”, який служить для “помноження людської думки і збільшення швидкості її руху”. “Образ, — говорить Потебня, — заміщує множинне, складає важко вловиме через віддаленість, неясність чимсь відносно одиничним і простим, близьким, визначеним, набутим. Таким чином, світ мистецтва складається з відносно малих і простих знаків великого світу природи і людського життя” (Записки по теорії, 207). Процес творення образів Потебня назвав “процесом згущення думки”. “Згущення думки” — є основною закономірністю розвитку мистецтва. “Людство, — на думку мислителя, — іде від такого становища, при якому конкретні явища, враження поточної миті займають всю ширину і глибину свідомості, до такого становища, при якому за допомогою все більшого і більшого узагальнення, все більшої і більшої гармонії в розподілі узагальнень думка стає здатною обіймати все більше і більше складні ряди явищ” (Записки по теорії, 481). У художньому образі (творі) відтворюються не всі характеристики елементів і навіть не всі елементи відображуваного об'єкта, але конкретність образу передбачає збереження тієї ж модельної характеристики його структури. Образ-знак об'єктивує лише окремі ознаки, риси, деталі: “Як слово спочатку є знак дуже обмеженого, конкретного чуттєвого образу, який, проте, в силу уявлення, зараз не одержує можливість узагальнення, так художній образ, що належить в хвилину створення до дуже тісного кола чуттєвих образів, тут не стає типом, ідеалом” (Мисль, 158).

Ідеальна модельна структура образу-знаку в мистецтві, на думку Потебні, нескінечно багатопланова, вона трансформує чуттєві реальності, в той же час залишаючи образ загальнозначущим. Матеріалізація образу-знаку в мистецтві, за Потебнею, полягає в тому, що з образу, вживаного спочатку алегорично заради одної властивої йому ознаки, потім здобувають другі ознаки, якими передається нова алегорія, а іноді і власне значення. Образи-знаки мистецтва дають змогу виражати подвійний об'єктивно-суб'єктивний смисл, подвійне раціонально-емоційне значення. Зв'язок образної структури з вираженим значенням у них такий тісний, що зміна значення вимагає зміни знака, а зміна останнього неодмінно веде до зміни значення.

Знакова природа мистецтва, за Потебнею, наглядно проявляється в поетичних символах, бо в них є "спільне існування протилежних якостей, а саме визначеності й безкінечності обрисів". Він пише: "Слово тільки тому є орган думки і неодмінною умовою всього пізнішого розвитку розуміння світу і себе, що спочатку є символ, ідеал і має всі ознаки художнього твору" (Мисль, 158). Символ у мистецтві є знаком, бо він відбиває один бік чи ознаку предмета або явища, і його значенням є предмет або явище загалом. У символах як знаках втілені і виражені наявні чуттєві образи предметів і явищ життя, а через це вони виступають як знаки, що вже в своїй зовнішній формі містять зміст того уявлення, яке вони символізують. Символ заміщає одне явище іншими за спорідненістю якихось ознак, водночас він викликає в свідомості не самого себе, а ту загальну якість, що розуміється в його значенні. Ці ознаки можуть бути другорядними, неістотними, але значення того, що заміщується, завжди істотне, важливе. Символічність художніх образів зумовлена відображальною природою мистецтва. В працях "О некоторых символах в славянской народной поэзии", "О купальских огнях и сродных с ними представлениях", "О доле и сродных с нею существах" Потебня детально досліджує символіку усної народної творчості, зокрема такі, характерні для пісенної народної творчості символи, як Калина, Щастя, Горе, Доля тощо, зв'язуючи їх з художнім відображенням дійсності.

Такі висловлювання Потебні про знакову природу мистецтва актуальні і для сучасної науки. Вони аж ніяк не можуть бути зіставлені з агностичною "теорією символів і ієрогліфів" Гельмгольца, яку критикував В. І. Ленін за те, що вона заперечувала об'єктивну реальність і об'єктивну істину відображеного ⁴.

Проте і вони вимагають серйозного уточнення. Перебуваючи на позиціях "лінгвістичної естетики", Потебня розглядає головним чином семіотичний (знаково-символічний) аспект слова і відповідно художнього образу і дещо недооцінює їх гносеологічну і комунікативну природу. Він зміщує поняття образу як відображення і образу як знака певного значення. Ці різні, діалектично зв'язані феномени в ученні Потебні виступають як поняття однозначні.

Знакова система мистецтва, зумовлена специфікою цієї форми пізнання, і є засобом реалізації процесу і наслідків пізнання. Виступаючи в формі художніх образів, знаки в мистецтві відображають конкретно-чуттєві риси об'єкта в такій його предметній цілісності, в якій відображене, відчуване належать самому предметові, а не лише позначають його. Чуттєві властивості предметів об'єктивного світу, які є наслідком практичної діяльності і осмислення їх, в мистецтві виступають не як абстрактний знак, а як форма його суспільної функції, яка стає в залежності від характеру практики і осмислюваних результатів багатозначною, на відміну від знака в науці, що має стале значення. Саме тому значення знаків у мистецтві докорінно відрізняється від їх значення в науці. У науці значеннями знаків є факти самої дійсності. У мистецтві знаками є образи, а їх значеннями — абстракції — думки, ідеї. Будучи пов'язаною з відображуваною реальністю не як її прямий відбиток, а як своєрідна інакомовна інтерпретація, система знаків у мистецтві є одночасно образною моделлю і системою образних знаків, матеріальною конструкцією і специфічною мовою, носієм естетичної, пізнавальної і комунікативної цінності.

Центральне місце в естетичній концепції О. О. Потебні посідає проблема специфіки і структури художнього образу. Як і проблема специфіки мистецтва загалом, вона знайшла своє обґрунтування в теорії "внутрішньої форми".

Потебня вважає, що художній образ є головною ознакою мистецтва. Як і слово, він є "засобом творення думки", специфічною формою відображення і пізнання предметів і явищ дійсності. В образі реалізується ідея, задум художника, через образ, як окреме, для споживача мистецтва матеріалізується те загальне (почуття, уявлення, зміст), що несе в собі художній твір.

Художній образ, за Потебнею, не є простою і точною копією реального об'єкта, прямим і безпосереднім відображенням предметів, фактів, явищ дійсності, він — результат процесу їх художнього перетворення. Це суб'єктивна концепція реальної дійсності. Тому він органічно включає в себе і компоненти відображення і вираз відношень і оцінки її митцем. Ця неоднозначність художнього образу визначає і неоднозначність специфіки його функцій. З одного боку, він є акт творчості, результат практично-духовної діяльності, і тому безпосередньо впливає на свідомість споживачів, з другого — акт пізнання, що опосередковано передає ідеї і почуття художника.

Специфічною рисою художнього образу, за вченням Потебні, є типовість. Осмислення категорії типізації у Потебні займає значне місце. Частково ми зупинились на ній вище, говорячи про процес "згущення думки". Але тут необхідно сказати докладніше. Згідно з ученням Потебні, художня типізація — це особливий процес узагальнення і індивідуалізації художником реальних рис об'єкта, в результаті якого опередмечена об'єктивна дійсність, її суб'єктивно-естетичне розуміння і оцінка переробляються в поняття, уявлення, конкретно-

чуттєву форму, що може сприйматися. Він будується на відкиданні від багатьох осіб, фактів, подій, явищ, предметів якихось окремих рис і на об'єднанні однорідних, характерних ознак у створюваному художньому образі. Причому цей процес означає злиття не будь-яких рис і ознак, а таких, які взаємно доповнюють одна одну і створюють живу єдність, повноту і цілісність. Художня типізація, — пише Потебня в праці "О доле и сродных с нею существах", — полягає в "образному поясненні сутності, в створенні типів, тобто таких відокремлених від випадковостей зразків породи, за якими можливо думати про інших невідимих тієї ж породи" (О ... символах, 203). Загальною ознакою типізації, на думку Потебні, є здатність образу фіксувати знайоме, близьке і разом з тим нести відкриття нового. Саме завдяки цій практично-духовній діяльності "образи здатні на першу вимогу стати загальною схемою явищ життя і служити їх поясненням" (Лекції по теорії, 36).

Перетворення дійсності в процесі типізації образу, за Потебнею, може відбуватися двома шляхами. Один шлях — створення образів життєподібних, які йдуть і розвиваються за логікою реального життя і наглядного поєднання елементів в одне ціле. Другий шлях — створення образів фантастичних, неправдоподібних, в яких складові елементи не поєднуються і не можуть поєднатися так, як в житті, хоча вони обов'язково і зв'язані з реальною дійсністю. Цей другий шлях характерний для народно-поетичної творчості, народної фантазії — міфології, байки, казки, в яких живуть такі образи-символи, як Доля, Русалка, Віда та ін.

Процес типізації, створення художнього образу, за Потебнею, починається з задуму художника, ідеї, чогось, що існує в вигляді питання для нього, на яке він шукає відповіді — X. Відповідь на свій задум він може знайти, як у попередньо набутому, вже одержаному змісті (досвіді) своєї думки, так і зумисно розширеній думці, зв'язаній з вивченням життя, людей, подій і т. інше. Цей структурний елемент образу Потебня позначає через А. В цьому А під впливом X виникає певний рух думки, схвилюваність. X ніби відштовхує від А все для нього непотрібне, зайве і притягує, включає необхідне, споріднене. Це останнє об'єднується в форми а і виникає судження: судження: X мислиться у вигляді а, але виявляється в новій формі а'. "Це той самий процес, — говорить він, — який ми помічаємо в виникненні окремого слова, а є те, що ми називаємо уявленням у слові, образом у поетичному творі, або те, що ми називаємо, сукупністю образів, якщо поетичний твір складний" (Лекції по теорії, 145—146). X + А при цьому становлять зміст, що шукає форма а, яка в процесі творчості взаємозв'язується з XА і утворює внутрішню форму, яка реалізується в зовнішній формі а'. Крайніми точками творчого процесу є задум X і зовнішня форма а', що означають відповідно зміст і форму, а а і а' виступають то як зміст, то як форма. На думку вченого, в худож-

ньому творі образ так відноситься до змісту, як в слові уявлення відноситься до чуттєвого образу або поняття.

Потебня вважає, що в процесі типізації відбувається поєднання загального і окремого /в конкретній формі, причому індивідуальне, одиничне в цьому поєднанні виступає як форма вираження загального. "Вірний розвиток думки, — писав він, — полягає у сходженні від часткового до загального, а потім, на основі цього процесу, і в зворотному русі..." (Зап. по р. гр., 34). Загальне і індивідуальне — необхідні властивості художнього образу, вони існують в єдності, обумовлюють одне одного і в той же час є протилежними, несумісними. Індивідуальне передає своєрідне в явищах, предметах, характерах, відмінне між ними, а загальне, навпаки, спільне, однакове: «Логічно вірне визначення повинно мати в собі родову ознаку (загальне поняття), родову відміну (поняття часткове по відношенню до першого)» (Мисль, 10). Єдність загального і одиничного при цьому проявляється через художню форму. Зберігаючи конкретно-чуттєву форму одиничних предметів, явищ життя, художній образ є одночасно узагальненням, він вказує на загальне значення відображеного. «Узагальнення має для нас цінність лише в тому випадку, якщо під ним ми маємо конкретне сприйняття» (Лекції по теорії, 84), — підкреслює Потебня. Узагальнююча якість образу визначає типовість відображеного, виступає як образ — тип. Художній тип дає можливість у всіх людських обличчях зберігати спільні свої людські риси, в той же час ставати в кожному з них чимось єдиним, своєрідним. У російській літературі, вказує він, від Фонвізіна до Салтикова, тягнеться ряд яскравих типів: Митрофанушка, Онєгін, Печорін, Помпадури, Хлестаков, Чацький і інші. Ті ж типи він вбачає і в грецьких трагедіях, що базуються на народних міфах, де образи з боку основних рис характеру вже задалегідь визначені (Прометей, Язон, Медея, Цар Едіп, Антігона тощо).

Образ становить собою нерозривну єдність загального і окремого. Але загальне і окреме в мистецтві не тотожні загальному і одиничному в дійсності. Вони є чимось іншим, бо в них утримується певна суб'єктивність узагальнення життя. Окреме, одиничне в мистецтві є специфічним окремим, особливим, індивідуальним, даним: у цьому індивідуальному проявляється дещо спільне з іншими окремими явищами.

В осмисленні процесу типізації Потебня стихійно приходять до діалектичного розуміння зв'язку індивідуального, особливого, загального. В єдності одиничного і загального він зумів побачити і найважливіший принцип діалектичної логіки — взаємозв'язок між абстрактним і конкретним. Процес узагальнення у мистецтві, на думку вченого, не приводить до зникнення конкретно-чуттєвих форм, він об'єктивує складну взаємодію абстрактного і конкретного, їх взаємопроникнення. У формуванні загального, абстрактного, в переході від чуттєвого до раціонального, важливе значення Потебня надає слову.

Адже саме в слові об'єктивуються і закріплюються в свідомості не лише уявлення, але й всі етапи процесу мислення, в тому числі й пізнавальна трансформація уявлень, елементарних чуттєвих образів у поняття.

“Розкриваючи внутрішні механізми творчої діяльності,— підкреслюють І. Іваньо і А. Колодна,— Потебня розвивав прогресивні традиції вітчизняної естетичної думки. Послідовним обґрунтуванням і захистом погляду на мистецтво як мислення і пізнавальну його функцію він утверджував принципи реалізму”⁵.

З іменем Потебні пов'язаний значний внесок в розкриття проблеми сприйняття та інтерпретації творів мистецтва. Уподібнюючи структуру слова і художнього твору, він приходив до висновку, що твір мистецтва, виникаючи в результаті пізнання якихось конкретних явищ дійсності, в процесі “вживання”, як і слово, набуває нових елементів змісту, смислових відтінків. Тобто, художній твір завжди виступає як широка алегорія. Пізнаючи його, читач чи глядач вносить свій зміст, думки і почуття у створенні художником образи. Алегоричність у художній літературі досягається мовними засобами, оскільки слова є багатозначними. Саме в цьому Потебня вбачав причини і механізми співтворчості митця і споживачів художніх творів. Він вважав, що сприйняття художніх творів є активний творчий процес, що розуміння творів — це продовження творчості митця, своєрідне співавторство митця і споживача мистецтва. “Поетичний образ (це однаково вживається і до слова, і до поетичного твору) кожен раз, коли оживає в розуміючому, говорить йому дещо інше і при цьому нерідко більше, ніж те, що в цьому образі безпосередньо вкладено” (Мысль, 154). Виходячи з положення В. Гумбольдта, що “будь-яке розуміння є нерозуміння”, Потебня підкреслює, що однакові думки з приводу одного і того ж явища для всіх неможливі тому, що та чи інша думка складається по-своєму в залежності від індивідуального сприйняття, індивідуального досвіду, життєвих обставин.

Сприймаючи і використовуючи великий художній твір, на думку Потебні, читач фактично сприймає складний поетичний образ. Причому сприймають і використовують його різні читачі і навіть один і той же читач в різні часи й іншому. Образ прислів'я “суха ложка рот дере” можна розуміти в прямому значенні, як просте уявлення, взяте з життєвих спостережень, і як алегорію, яка стає поетичним образом і виявляє зовсім інші значення. Різне функціонування образів і твору призводить і до різного розуміння загальної ідеї, що виникає при розумінні твору, тобто те загальне, що пов'язує образ, створений митцем, з колом думок того, хто сприймає.

Потебня спростовує твердження, ніби у справді художньому творі є повна відповідність образу і ідеї. Справа, на його думку, не в цій відповідності якоїсь певної ідеї і образу, а в тій безкінечній здат-

ності образу відповідати новим і новим ідеям, у тій можливості збуджувати, викликати нові й нові думки, пояснювати безкінечний ряд явищ життя. “Сутність, сила такого твору не в тому, що розумів під ним автор, а в тому, як він діє на читача чи глядача, отже, в невичерпно-можливому його змісті” (Мысль, 153). Процес розуміння художнього твору Потебня розглядає, як щось протилежне в творчій діяльності. Для художника образ є кінцевим результатом у процесі творення, для споживача — з образу починається творчість, його сприйняття, розуміння і використання.

В цих загалом вірних твердженнях, які підкреслюють активність суб'єкта пізнання, виявилися і певні суперечності концепції мислителя, які зрештою спираються на окремі положення ідеалістичної естетики. Заперечення об'єктивного змісту слова та художнього твору є свідченням того, що з позицій ідеалізму неможливо науково розв'язати питання про діалектику відображальної і творчої природи мистецтва. Надаючи важливого значення функціонуванню художнього твору, Потебня не зумів розкрити суспільну сутність суб'єкта і його зв'язків з естетичним об'єктом. Розглядаючи суб'єкт лише як психічний індивід, він, фактично, не дає відповіді на питання про об'єктивну якісну визначеність об'єкта. Вчений хоче пояснити, чому творіння минулих віків можуть зберігати своє художнє значення і в часи високого розвитку.

Потебня абсолютизує відносну рухливість змісту художнього твору, недооцінює “інваріантну” основу відображальної природи образу. Вірно вказавши на те, що зміст твору продовжує розвиватись у процесі сприйняття, яке завжди має характер співтворчості, він, проте, не вирішує питання про межі тлумачення змісту художньої творчості. Цим він і виявився на позиціях відкидання об'єктивного змісту слова і образу, абсолютизації значення суб'єктивного фактора, як в процесі мовного спілкування, так і в процесі спілкування за допомогою мистецтва.

Важливим напрямком досліджень Потебні як естетика є доведення ним естетичної природи відношення мистецтва до дійсності. У творі мистецтва, вважає він, відбиваються певні відомості про дійсність, які в процесі знайомства з його образами переходять з естетичне переживання, бо відношення суб'єкта до об'єкта в мистецтві завжди виступає як естетичне відношення, як оцінка зображуваного за законами краси.

Тобто, пізнавальне ставлення мистецтва до дійсності виступає в єдності з оціночним, вони і спрямовують сприйняття твору в бажаному напрямі. Єдність пізнання і оцінки в художньому творі несуть як весь твір загалом, так і кожен образ, кожен його структурний елемент. Естетичне відношення і є тією головною сутністю художнього пізнання, яке об'єднує мислення і чуттєвість, відображальну і виражальну, об'єктивну і суб'єктивну сторони мистецтва.

Концепція мистецтва О. О. Потебні містить багато плідних ідей, критичне засвоєння і використання яких сучасною естетичною наукою сприятиме справі глибшого з'ясування закономірностей художньої творчості, суспільного впливу мистецтва. Вона пояснює важливі соціально-історичні основи відображення, пізнання і творчої функції мистецтва, сутність взаємозв'язків творчого акту і акту сприйняття як складових частин єдиного за своєю природою процесу естетичного освоєння світу.

В статті виявляється цілісність взгляда А. А. Потебні на природу словесного творчества як єдиного гносеологічного феномена, який може бути расчленен на чисто естетичские и чисто знаковые виявлення лишь искусственно, с целью исследования. Подчеркиваются те черты, которые роднят обобщение действительности в художественном образе в языковых знаках с живою образной основой.

¹ Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968. — С. 46.

² Пресняков О. П. Поэтика познания и творчества (Теория словесности А. А. Потебни). — М., 1980, с. 22.

³ Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня. — К., 1985. — С. 40.

⁴ Ленін В. І. Повне збр. творів. — Т. 18. — С. 226—232.

⁵ Иванько И. В., Колодная А. И. Эстетическая концепция А. А. Потебни // А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. — М., 1976. — С. 30.

Ю. И. МИНЕРАЛОВ

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕМАСИОЛОГИЯ (об абстрактном и конкретном в концепции А. А. Потебни)

В статье подчеркивается, что Потебня-концептуалист четко разграничивает различные приемы научного абстрагирования, полагая малопродуктивной для филологии "пустую абстракцию" (в гегелевском смысле). Принцип конкретности, пронизывающий теоретические суждения Потебни, характерная для них "орудийность", придающая им характер практических рекомендаций и ряд других подобных черт свидетельствуют о типологическом родстве его концепции с наиболее плодотворными концептуальными проявлениями русской риторики XVIII — начала XIX вв.

Для А. А. Потебни как глубокого исследователя концептуальной сферы человека характерно особое внимание к проблеме абстракции (отвлечения) и ее роли в науке. Соображения ученого, касающиеся этого феномена, значимы не только для филологии. По вопросу научной абстракции А. А. Потебня занимал четкую и своеобразную позицию, не раз облекая ее в чеканные формулировки. "При помощи слова создаются абстракции, необходимые для дальнейших успехов мысли, но вместе с тем служащие источником заблуждений", — говорится в его крупнейшем литературоведческом

© Ю. И. Минералов, 1992

труде (Зап. по теории, С. 400). Великий мыслитель всесторонне проанализировал причины указанных "заблуждений", возводя их к античной философской традиции. В. И. Харциев сохранил в своих известных записях лекций А. А. Потебни, например, такое рассуждение последнего перед студенческой аудиторией: "Очень часто, — и прежде и теперь, — отвлечение, совершенное нашей мыслью, следовательно, нечто в высокой степени субъективное, мы превращаем почти бессознательно в объект и, кроме того, приписываем этому объекту творческое значение, считаем его причиной вещей. Так пифагорейцы, подметил уже Аристотель, считали причинами всего сущего числа, числовые отношения, которые для нас не более не менее, как результаты усилий нашей мысли...". Другую "сторону отвлечения мысли" А. А. Потебня справедливо усматривал в "универсалиях" Платона — "по учению Платона, подлинно, так сказать, существуют одни идеи: конкретный человек, любое конкретное явление существуют постольку, поскольку причастны отвлеченному человеку, отвлеченному понятию"¹.

А. А. Потебня был убежден, что впоследствии эволюции такого рода воззрений постепенно привела к распространению в сфере научного познания окостенелых "предрассудков". Так, вполне естественно и при постановке определенных задач даже необходимо изучать, допустим, древесный лист отвлеченно, через "наблюдения и обобщения", "отвлекаясь от частного, оставляя все несходное в стороне" (Эстетика, 465). Но этот подход нередко начинает ассоциироваться с самой "научностью" как таковой. Против сторонников такого понимания научности Потебня всегда восставал, иронически замечая, что они "как будто думают, что наука сидит в них самих или что она им тетка или сестра, уполномочившая их для выборов"; "как будто бы они, или некто подразумеваемый, у нее по особым поручениям" (Зап. по теории, 59, 189). Подобные ассоциации имеют определенное хождение и в наши дни — например, на базе прокламирования "математизации" филологического знания². Тем более актуально звучат сегодня слова А. А. Потебни, что "мы должны рассматривать отвлечение как пособие для нашей мысли; но не должны им подчиняться, не должны смотреть на них как на единственный источник наших знаний" (Эстетика, 465).

Современным "пифагорейцам" от литературоведения, не всегда ясно осознающим тот факт, что их подсчеты — лишь способ интерпретации данных об объекте исследования (причем далеко не единственный, рядовой и имеющий немалые недостатки в сравнении с более органичными для филологии способами интерпретации материала), начинающим сплошь и рядом относиться к своим цифрам так, словно они и есть объект исследования и его материал, целесообразно было бы адресовать емкое суждение А. А. Потебни по поводу "научности" и "научной точности": "Что иметь дело с... отвлечением легче и, может быть, полезно в работах, не требующих большой точности, это так; но

чтобы тот, кто хочет и умеет обращаться от этих отвлечений к чтению подлинных документов, подвергался сравнительно с первым двойному ряду заблуждений, это уж вряд ли" (Зап. по р. гр., т. 3, с. 6).

Это последнее высказывание великого славянского ученого уже проливает некоторый свет на то, в чем видел А. А. Потебня творческую альтернативу "отвлечениям" и, в частности, игре с цифрами. Здесь уместно оговориться, что он воспринимал феномен научной абстракции расчлененно, т. е. четко различал различные типы абстрагирования. А. А. Потебня, знаток немецкой классической философии, продолжатель того семасиологического направления в филологии, в котором крупнейшим предшественником самого Потебни был философ и филолог В. Гумбольдт, разумеется, знал и выделенное в работах Гегеля и других философов понятие "дурной абстракции" и не раз сформулированное последним понятие «пустой абстракции»³. "Грамматические абстракции, — указывал Гегель, — наиболее духовные сущности... которыми язык в большинстве случаев располагает сам"⁴. При этом необходимо отметить, что далеко не всегда авторы конкретных грамматических руководств вносят в свои труды то и только то, чем язык "располагает сам". Авторы в силу разных причин могут прибегнуть и к совсем другим по своей сути абстракциям. Индивидуальная рефлексия над уже существующим живым "организмом" языка не всегда адекватна: "Мы знаем, например, что даже современные английские школьные грамматики в своей терминологии содержат многое из того, что восходит к античным грамматикам, пользуются такими грамматическими понятиями, которые совершенно не свойственны грамматическому строю живого современного английского языка"⁵. В таких случаях приходится говорить об абстракции особого рода — отвлечении, не имеющем под собой объективного основания, конкретного материального "субстрата". И здесь нельзя не вспомнить о "пустой абстракции", охарактеризованной в гегелевской диалектике. Думается, к этого рода абстрагированию в филологии прибегают не так уж редко, и пафос процитированных суждений А. А. Потебни вполне обоснован.

О том, в чем состояла альтернативная "программа" А. А. Потебни, дают представление не только те или иные его высказывания, но, прежде всего, вся практическая исследовательская работа ученого. Как известно, он полагал, что "существительное", "глагол" суть отвлечения и вне мысли ученых не существуют; действительное же бытие имеет только известное существительное, известный глагол, составляющий часть живой речи" (Зап. по р. гр. т. 1 — 2, с. 72). Нет нужды напоминать, что в лингвистике последних десятилетий весьма широко распространен подход к этой проблеме, который следует назвать едва ли не прямо противоположным. Он основан на культивировании именно такого абстрагирования, продукты которого "вне мысли ученых не существуют". Впрочем, здесь наблюдается вполне осознанная теоретическая линия. И лингвисты, решающие

прикладные задачи, естественно, вполне правомочны объявлять, например, объектом своего изучения "обобщенно-информативное содержание, свойственное не одному отдельному предложению как единице... а большому классу однородных предложений"⁶; утверждать, что для них "единицами синтаксического уровня служат не конкретные словосочетания и предложения, а модели их производства"⁷; осуществлять нужные им построения с такого рода "моделями". Вместе с тем воистину "вряд ли" основательны не раз имевшие место в истории филологии XX века известные инсинуации по поводу особенностей концепции А. А. Потебни, которому охотно приписывались "заблуждения".

Потебня твердо заявлял: "Выше мы нашли многозначность слова понятием ложным: где два значения, там два слова" (Зап. по р. гр., т. 1 / 2, с. 39). Обычно эта важнейшая и дающая себя знать и в языковедческих, и в литературоведческих исследованиях черта воззрений А. А. Потебни берется просто как факт, без попыток вникнуть в истоки такого отрицания полисемии; были и авторы, которым казалось наиболее соблазнительным говорить в связи с данной чертой — так сказать, не мудрствуя лукаво! — именно о "заблуждении". Между тем совершенно ясно, что приведенное заявление А. А. Потебни с железной необходимостью вытекает из существа его позиции по проблеме "отвлечения" в научном познании. Оно находится в четкой логической связи с вышеприведенным материалом из различных работ ученого. То же самое следует сказать и о другом неординарно (звучащим "диссонансом" на фоне представлений некоторых распространенных сегодня концепций прикладной лингвистики!) суждений А. А. Потебни: "...Должно стремиться к тому, чтобы считать за единицу действительную форму, а не абстракцию. Мы привыкли, напр., говорить об одном падеже в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собою. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж..." (Зап. по р. гр., с. 64). А поскольку, по убеждению А. А. Потебни, всякая "грамматическая форма" (в том числе и та, о которой говорится в данном случае) "есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением", "есть значение, а не звук" (Зап. по р. гр., с. 39, 61), постольку всякое новое употребление есть новая и уникальная семантика.

Именно семасиологическую сторону явления стремился уловить и постичь во всей ее реальной сложности, во всех ее нюансах (без "огрублений" и "модельных" упрощений) А. А. Потебня в своих и языковедческих и литературоведческих трудах. А тот тип "отвлечений", который он неустанно критиковал в своих лекциях, для изучения данной стороны никак не подходил, приучая (и прямо ориентируя) филологов к некоторым условным и просто ирреальным воззрениям на семантику.

Напомним, что еще в первой половине XIX в. рост ассемантических тенденций в языкознании побуждал крупнейших ученых к конста-

тациям, что последнее может постепенно приобрести нефилологический характер. Так, В. Гумбольдт, наблюдая указанные тенденции, прямо заявил, что "не было бы, пожалуй, никакой ошибки отличить таким образом лингвистику от филологии", ибо это "два разных направления", которые "требуют от исследователя разных дарований и сами по себе ведут к разным результатам"⁸. Позднее в России Ф. И. Буслаев писал: "В начале нынешнего столетия возникла, под именем лингвистики, новая наука о языке. В противоположность филологическому, лингвистический способ рассматривает язык не только как средство для знакомства с литературой, но и как самостоятельный предмет изучения"⁹. А сегодня один из филологов констатирует: "Развитие языкознания происходило таким образом, что на определенном этапе... внимание лингвистов сосредоточилось преимущественно на выведенных из текста "концептах". Языкознание на этом уровне исследований стало быстро утрачивать свою филологическую сущность. Отсюда пошло и представление о языке как системе абстракций. С таким представлением о своем объекте языкознание, конечно, отрывается от литературоведения. ...Такое положение ведет к неоправданному сужению границ языкознания и обособлению его от филологии"¹⁰.

Напротив, А. А. Потебня был филологом в высшем смысле этого слова. В сфере его интересов, в присутствии ему ходе мысли постоянно проявляется дух органического единства филологического знания, так что, строго говоря, невозможно даже ставить вопросы типа "Кем был Потебня в большей степени, лингвистом или литературоведом?"; он всегда был филологом, т. е. язык воспринимал и изучал во всем богатстве его культурной семантики — или, применяя терминологию самого Потебни, "вместе с богатым запасом содержания", в нем сконцентрированном на протяжении веков его культурно-исторического развития (см.: Зап. по теории, 176). При целенаправленном изучении литературы А. А. Потебня постоянно сохранял (хотя бы и на втором плане, иногда по мере необходимости выводя его и на первый план в соответствии с задачами проводимого исследования) языковедческий ракурс. Нужно добавить, что в этом проявлялась не просто индивидуальная особенность А. А. Потебни: сходным образом действовали все крупнейшие филологи той эпохи (Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, Д. Н. Овсянко-Куликовский и др.); лишь в XX в. вследствие перерыва в филологической традиции, вызванного общеизвестными причинами, единство филологии оказалось основательно расшатанным (хотя такие крупнейшие ученые, как В. В. Виноградов, А. Ф. Лосев и др., продолжали олицетворять его).

Ставя не какие-либо прикладные, а собственно филологические задачи, А. А. Потебня вполне естественным образом не испытывал потребности в опоре на абстракции, подобные "концептам" или "обобщенно-информативному содержанию". Вполне понятно, что не прикладная лингвистика, а филологическое языкознание подразуме-

вались им, когда он утверждал, что «общее значение слов, как формальное, так и вещественное, есть только создание личной мысли и действительно существовать в языке не может. Языкознание не нуждается в этих «общих» значениях» (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 43). Эти слова никак не относятся к прикладной лингвистике и не подвергают сомнению ее право на выработку абстрактных категорий, в которых данная отрасль познания испытывает внутреннюю потребность; речь идет о филологии, как ее понимал Гумбольдт и Буслаев в приводившихся выше высказываниях. А в этой последней отрасли знания заявление А. А. Потебни, "что, собственно, у нас несколько падежей, обозначаемых именем творительного" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 64), как и многие иные аналогичные высказывания Потебни, не могут восприниматься в том ореоле "парадоксальности", которым в XX в. окутало их, между прочим, восприятие представителей прикладной лингвистики (привыкших к трактовке языковых явлений не как конкретных индивидуально окрашенных фактов, а как системы абстракций).

"Спорными" могут показаться филологу однако некоторые более широкомасштабные суждения А. А. Потебни о конкретном и абстрактном в филологии. Например: "Наиболее реальное бытие имеет язык личный. Языки племени, народа суть отвлечения и, подобно всяким отвлечениям, подлежат произволу" (Зап. по теории, 401). Вообще дух конкретности, пронизывающий концепцию А. А. Потебни, органически присущ филологическому языкознанию, а не работам одного лишь Потебни. Вот лишь один дополнительный пример. "...Гипостазирование отвлеченных понятий извращает истинную сущность процессов. ... "Прочь все абстракции", — таким должен быть наш лозунг, когда мы пытаемся определить факторы реальных процессов", — писал младограмматик Г. Пауль, добавляя: "...Я, естественно, противлюсь лишь тому, чтобы абстракции становились между глазом наблюдателя и реальным миром и препятствовали постигать каузальные связи вещей"¹¹. А. А. Потебня же в последнем приведенном высказывании оспаривает нечто гораздо большее. Эти идеи всегда вызвали интерес, и в начале XX в. их пытались варьировать группа последователей Овсянко-Куликовского (как и он сам). Но всеобщего филологического признания такие идеи, пожалуй, все-таки никогда не получили и воспринимались многими исследователями как некоторая экстравагантность — подобно аналогичным идеям прямого предшественника А. А. Потебни В. Гумбольдта, писавшего, например: "...Каждый язык заключается в акте его реального порождения"¹².

Однако то обстоятельство, что приписывание Гумбольдтом и Потебней особого значения индивидуальному творчеству в языке, предпочтение, отдаваемое в их концепциях "личному языку" как единственной конкретной реальности, не всеми в филологии разделяются, не избавляет нас от необходимости понять истоки таких воззрений. Обычно особое отношение Гумбольдта и Потебни к акту

личного языктворчества просто констатируется, т. е. подается как наличный факт, "феноменологически". Иногда делаются лишь общие указания на связь концепций двух этих филологов мирового класса с психологией их времени. Мнение о "психологизме" концепции А. А. Потебни, чрезвычайно широко распространенное в отечественной литературе, давно уже высказывается как нечто заведомо не нуждающееся ни в каком доказательстве. Между тем оно базируется на весьма шатких основаниях. С одной стороны, на наличии сходной "психологической" репутации у В. Гумбольдта (признаваемого непосредственным предшественником Потебни — что, на наш взгляд, вполне справедливо, хотя вряд ли вполне справедлива названная "репутация" потебнианского предшественника). С другой на том, что А. А. Потебня был, так сказать, посмертно канонизован и объявлен знаменем в "психологическом направлении", сгруппировавшемся в предреволюционные годы вокруг Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Но в связи с этим фактом уместно напомнить точные слова В. В. Виноградова о том, что Овсяннико-Куликовский "разбавляет потебнианское учение... психологизмом" ¹³. Иными словами, как подметил В. В. Виноградов, "психологизм" — черта не компетенции Потебни как таковой, а черта ее позднейших "обработок" и переименования на свой лад другими авторами. Д. Н. Овсяннико-Куликовский был, безусловно, ярким ученым, но он давал идеям А. А. Потебни модернизирующие их (и заставляющие их "подтверждать" его собственные психологические соображения) трактовки. Тот же Виноградов писал: "Само собой разумеется, что сам Потебня не отвечал за все последующие и особенно за активизирующиеся в наше время вариации его взглядов в области лингвистической поэтики и стилистики" ¹⁴.

О. П. Пресняков, глубокий знаток наследия А. А. Потебни, заметил, что для критиков Потебни "типично смешивать его метод с методом... так называемого "психологического направления" в литературоведении" ¹⁵. Это смешение не раз оказывалось той незаметной "маленькой неточностью", которая позволяла критикующему лицу делать внешне гладкий, хотя и совершенно немотивированный переход к куда большим неточностям.

"Потебню, — говорит в другой работе О. П. Пресняков, — нередко критиковали за недооценку эмоционально-подсознательного в искусстве. Ссылались при этом, правда, больше не на него самого, а на его интерпретаторов. Указывалось, например, что А. Г. Горнфельд признавал, что теория Потебни "насквозь познавательна", что в ней "обойдены эмоциональные моменты искусства" ¹⁶. От себя добавим, что, говоря о потебнианском "психологизме" (в том плане, что "психологизм" этот непоследовательный, недостаточный и устарелый), Л. С. Выготский регулярно прибегает к ссылкам на работы не Потебни, а... Овсяннико-Куликовского. Д. Н. Овсяннико-Куликовскому, действительно, были свойственны определенные самооценные "психологические" устремления. Но как можно на основании этого за-

ключить, что аналогичные устремления были свойственны также Гумбольдту и Потебне? Вопрос об истоках взглядов этих двух великих ученых, о том, какую же научную традицию они объективно продолжали, по сути и сегодня остается недостаточно выясненным. В нем надо разобраться непредвзято, отстранившись от стереотипных мнений о "психологизме" концепций В. Гумбольдта и А. А. Потебни.

Прежде чем давать какой-либо ответ, напомним об одном просуществовавшем много веков направлении в филологии, внутренней связи с которым — подчеркнем это со всей силой! — ни Гумбольдт, ни тем более живший несколькими десятилетиями позднее Потебня не ощущали. О направлении, которое в силу ряда объективных обстоятельств во времена Потебни воспринималось в своей целостности как нечто отошедшее в прошлое и устаревшее.

Направление это на протяжении веков отличал весьма своеобразный ход мысли и самобытное, очень далекое от современного, осмысление ряда внешне знакомых филологу и сегодня слов. Например, нет необходимости распространяться, что такое с точки зрения общепринятых грамматических представлений союз. А вот как понимался термин "союз" в характеризуемом филологическом направлении: "Союзы не что иное суть, как средства, которыми идеи соединяются; итак, подобны они гвоздям или клею, которыми части какой махины сплочены или склеены бывают" ¹⁷. Бросается в глаза поразительная "предметная" конкретность в осмыслении явления, в настоящее время органически включаемого в систему грамматических абстракций. Аналогичным образом трактуется в грамматике обстоятельство. А вот как о нем говорилось в том же именном древней традиции в мировой филологии направлении: "Обстоятельства суть вещи или действия, которые хотя к самой предложенной вещи ("предложенная вещь" именуется здесь иначе более коротко "предложение"; ср. со смыслом соответствующего современного термина! — Ю. М.) не принадлежат, однако в то же время или на том же месте с нею бывают, как встречающиеся путнику звери, около пути лежащие, или пустые места, леса, луга, горы и пр. суть обстоятельства оного. На реках бегающие суда суть обстоятельства реки. Пчела и роса на розе — обстоятельства розы. Их можно сыскать довольно способом следующих предлогов и наречий: у, за, вне, против, под, над, около, до, без, далеко, вплоть" ¹⁸.

Во втором примере поразительно наглядно "возвращение" грамматических абстракций к их смысловым первоосновам. От реальных обстоятельств, присущих конкретным жизненным ситуациям, к отражению в речевом высказывании именно данных ситуаций с присущими им обстоятельствами и в конечном итоге к оформлению грамматической абстракции "обстоятельство" (уже безотносительной к тем или иным конкретным единичным коллизиям, общезначимой для однотипных высказываний) — таков (если представить его схематически) был путь обсуждаемого термина. Рассматриваемое

филологическое направление постоянно и целенаправленно прodelывало в своих штудиях как бы обратный путь, стремясь (если воспользоваться формулировкой Гегеля) “знать предметное в его предметности”¹⁹.

Как видим, направление это знало термины типа “союз” и “обстоятельство”, однако совсем не в таком смысле, который присущ им в нынешней грамматике. Знало оно и много других “знакомо” звучащих терминов, например, “признак”, “качество”, “действие”, “страдание”, “род”, “вид”, “причина”, “сравнение”, “уступление” и их производные²⁰ (ср. “мужской род”, “придаточные причины”, “сравнительный оборот” и пр.). Однако сегодняшняя грамматика использует все подобные термины опять-таки совсем не в том предметно-конкретном смысле, тесно соотношенном с жизненными реалиями, который был для них характерен некогда.

Направление, о котором идет речь, — это риторика. В свое время ряд понятных объективных причин обусловил уход риторики с арены филологического познания. Так, естественные протесты в XIX в. с его культом диалектики стал вызывать механизм риторического мышления. Но, абсолютизируя недостатки теории, в 40 — 60-е годы XIX в. критики риторики как-то упускали из виду то, что ее выводы и рекомендации имели практический характер и множество раз подтверждали свое соответствие реальности на протяжении столетий. В упомянутый период кризиса риторики у ее критиков, видимо, вызывал раздражение также базис риторических рекомендаций, казавшийся иррациональным. А. Ф. Лосев писал с полным пониманием пафоса критиков риторики: “Здесь перед нами как будто открывается чисто иррациональная область, в которой ровно ничего нет надежного и доказательного и в которой господствуют только какие-то догадки, какие-то намеки, какие-то частные и случайные мнения”. Но далее он утверждал: “На самом деле, риторическое мышление вовсе не является чисто иррациональным”²¹.

Повторяем, А. А. Потебня не ощущал внутренней связи с теорией риторики, крайне скупое и по случайным поводам упоминающая о последней в своих работах — например, в связи с констатацией ошибочности некоторых конкретных взглядов “старой риторики” (Зап. по р. гр., т. 3, с. 277). Вопрос в ином: в каком отношении его последовательно семасиологическая, последовательно ориентированная на конкретику концепция находится с последовательно семасиологической и предельно (если не “гипертрофированно”) конкретной риторической теорией о б ъ е к т и в н о? И при такой постановке вопроса становятся заметны безынтересные вещи.

Гумбольдт и Потебня, идя против господствующего течения, избрали в своих концепциях опору не на удобную своей наглядностью форму, не на упрощающие задачи исследователя формальные абстракции, а на “зыбкую” по самой своей природе семантику, на диалектически подвижные семантические категории. “Идеи”, “мысли”

(т. е. семантика) — для них важнейшая сторона языка. Гумбольдт четко формулировал: “Любые преимущества самых искусных и богатых звуковых форм, даже в сочетании с живейшим артикуляционным чувством, будут, однако, не в состоянии сделать языки достойными духа, если ослабнет влияние лучезарных идей, направленных на язык и пронизывающих его своим светом и теплом. Эта внутренняя и чисто интеллектуальная сторона языка и составляет собственно язык”²². Это суждение свидетельствует о том, что для его автора языковая теория есть по сути своей теория семантики. О том же свидетельствуют (применительно к А. А. Потебне) ряд сходных потебнианских высказываний, в частности его знаменитый тезис, что “грамматическая форма... есть значение, а не звук” (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 61). Но если это так, то невозможно не задуматься о том, как же соотносится теория семантики Гумбольдта и Потебни с теорией семантики минувших времен, каковой и была риторика.

“О том, что касается мысли, следует говорить в риторике, так как это принадлежность ее учения”²³, заявлял Аристотель. “Мысль”, “соединение идей” — не что иное, как синтаксическая конструкция (предложение), взятая не в формально-структурном, а в смысловом аспекте. Неслучайно еще у Ломоносова и в “постломоносовских” грамматиках вплоть до XIX в. раздел синтаксиса либо был предельно редуцирован, либо отсутствовал, и предложение описывалось не в грамматике, а в риторике²⁴. А в дальнейшем — вплоть до наших дней — в теории предложения сохранились, хотя с “выветрившейся” семантикой, свойственные риторике термины, часть из которых уже называлась. А. А. Потебня стремился поставить проблему языкового значения во всей ее реальной сложности и конкретности, причем, что особенно важно, поставить чисто филологически — описывая русский язык во всем богатстве того “запаса содержания”, которым напитали его литература и другие сферы культуры. Такой подход побуждал его вслед за Гумбольдтом понимать “языки как глубоко различные системы приемов мышления”, понимать, что “различные языки в одном и том же человеке связаны с различными областями и приемами мысли” и по-разному действуют “на нас эстетически и нравственно”, так что даже “сходные наречия” выглядят “как различные музыкальные инструменты, быть может, иногда относящиеся друг к другу, как церковный орган к балалайке, но тем не менее не заменимые друг другом” (Зап. по теории, 167, 171, 167, 174).

В данной связи вспоминаются суждения, относящиеся ко временам всеобщего распространения риторической теории семантики. В майской книжке журнала “Ежемесячные сочинения” за 1755 г. была помещена известная историкам литературы анонимная статья, автор которой писал: “Рассуди, что все народы в употреблении пера и изъявлении мыслей много между собою разнятся. И для того береги свойства собственного своего языка. То, что любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно иногда бывает в русском” (“О качестве стихотворца

рассуждение"). Примерно в то же время очень похожие мысли выразил в эпистоле "О русском языке" А. А. Сумароков:

Что очень хорошо на языке французском,
То может в точности быть скаредно на русском.

Данного рода представления были достаточно известны в XVIII — начале XIX вв. Именно в данном, восходящем к риторике русле развивается мысль А. А. Потебни, когда он говорит, полемизируя с А. Градовским, что "даже в употреблении и понимании вещей, переходящих от одного народа к другому, существует большое разнообразие. ... Неужели, например, автор думает, что силлабическое стихосложение на русской почве было равно польскому или что есть, например, в живописи и гравюре не только два народа, две школы, но даже два художника с одинаковой техникой. Если бы речь шла только о возможности от всего отвлечения, то не стоило бы приводить частных примеров; но дело идет о большем, именно о возможности критики народного с точки зрения общечеловеческого" (Зап. по теории, 194 — 195). В данном глубоком суждении впечатляет, между прочим, обоснование теории и конкретизация теоретических тезисов с опорой на факты из сферы реальности (точное указание на самобытность, особую семантическую нюансировку, казалось бы, "одной и той же" системы стихосложения на базе языков различных славянских народов — с присущим им различием "запаса содержания"). Здесь самое место упомянуть о практической нацеленности потебнианской концептуальной конкретики, опять-таки заставляющей вспомнить о риторике, выводы и рекомендации которой неизменно имели сугубо практический характер.

Подчеркнем, что речь идет не о применении "на практике" результатов познания, а совершенно об ином — о том, что конкретность, реальная жизнь (практика) есть высшая стадия самого познания, входит в него. В. И. Ленин указывал: «Мысль (Гегеля. — Ю. М.) включить жизнь в логику понятия — и гениальна — с точки зрения процесса отражения в сознании (сначала индивидуальном) человека объективного мира и проверки этого сознания (отражения) практикой...»²⁵. Ср. у Г. Лейбница: "...Непросвещенная публика находится в вечном замешательстве вследствие плохо понятой разницы между практикой и теорией"; "ведь практика по сути это та же теория, только более сложная, и более специальная, нежели обычная теория"²⁶.

Из высказываний А. А. Потебни можно составить ясное представление и о том, в каких пределах он считал целесообразным использование приемов абстрагирования, а также о том, какого именно характера "отвлечение" считал А. А. Потебня оптимальным. Например, он говорил: "Когда начинать с мелочей и частей, влияние языка нам осознательно, ибо невозможность или возможность и эффект сочетания двух слов, дающих образ, обусловлены данным языком. Но по мере приближения к целой картине мы чувствуем возможность отделения ее от слов и частных образов, которыми она написана. Так,

живописная картина может быть отвлечена от полотна, и красок, и известных приемов и до некоторой степени передана тем или другим способом рисования, гравюры, мозаики, даже вышиванья по канве квадратиками, из чего, конечно, не следует, чтобы она могла быть первоначально написана одним из последних способов" (Зап. по теории, 105). В литературе именно на данного рода "отвлечении" основана практика поэтического перевода, и суждение А. А. Потебни могло бы оказаться очень полезным в плане внесения конструктивного элемента в перманентные споры о том, что передаваемо и что непередаваемо в переводе. "Целая картина" (например, сюжет) — вот то, что заведомо доступно данного рода поэтическому творчеству. Попытки "воспроизводить" средствами другого языка особенности просодии оригинала, присущие ему звукописи и т. п. заведомо недостижимы и могут иметь результатом лишь создание более или менее субъективных "подобий" (разумеется, с совершенно иной, чем у оригинала, семантической окраской), что и наблюдается во множестве конкретных переводческих опытов.

Если практика не что иное, как продолжение теории, то совершая мысленно обратное движение, на основе сказанного выше можно сделать вывод о том, как должны оптимально проявлять себя "отвлечения" и в филологической теории. Например, на их основе трудно делать семасиологические выводы — поступать так, значит "по-пифагорейски" приписывать абстракциям, "результатам усилия нашей мысли" — явлению, как ясно понимал Потебня-методолог, "в высокой степени субъективному" — "творческое значение" (именно так, однако, поступают иногда некоторые современные стиховеды, излишне увлекающиеся числовыми подсчетами). Общие вопросы — концептуальная схема, первоначальный эскиз "целой картины" изучаемого объекта — вот где "отвлечения" используются с необходимой корректностью. Напротив, "одинаковость" элементов внешней формы, подсчитываемых некоторыми стиховедами (например, "моделей" метра, "типов" рифм и пр.), оказывается иллюзорной, стоит только поставить вопрос конкретно-семасиологически. Четырехстопный ямб Пушкина — иное семантическое явление, чем, например, четырехстопный ямб Державина. Вообще, всякое "совпадение" художников в так называемой "технике", как следует из уже приводившегося суждения А. А. Потебни, есть иллюзия, основанная на отвлеченном восприятии объекта изучения.

Такое "совпадение" опять-таки заведомо недостижимо. И Потебня с поразительной глубиной проникновения в "лабораторию" художников слова показал в своих работах, как соотносится "техника" различных авторов и различных литературных школ реально. Он подверг конкретному исследованию тот факт, что "настоящие

поэты... весьма часто берут готовые формы для своих произведений. Но так как содержание их мыслей представляет много особенностей, то они неизбежно вкладывают в эти готовые формы новое содержание и тем изменяют эти формы" (Эстетика, 550). Далее в цитированной работе подробно анализируются контактные связи между произведениями разных поэтов (стихотворением Пушкина "И путник усталый на бога роптал..." из "Подражаний Корану" и "Тремя пальмами" Лермонтова — Эстетика, 550 — 551). В другой работе А. А. Потебня исследует "различия личностей поэтов и их произведений при преемственности образов" на примерах "применения образов" Пушкина Тютчевым, Лермонтовым (Зап. по теории, 147 — 149).

Такое пристальное внимание исследователя к индивидуальному в литературно-художественном творчестве, бесспорно, сильная сторона его концепций, и значение этих наблюдений А. А. Потебни непреходяще. К стати сказать, именно внимание риторики к индивидуальному, опора дававшихся ею рекомендаций на тонкое понимание творческого процесса в его конкретике и обеспечивали этой филологической отрасли многовековую жизнеспособность.

А. А. Потебня сознавал и то, что некорректность в применении абстракций делает концепцию, по сути говоря, самооценной и безадресной: "Никакой живописец или ваятель не создал бы изображения льва, если бы ему был дан лишь признак, выдаваемый за сущность, а в действительности являющийся лишь бледным отвлечением: "большое четвероногое хищное животное" (Зап. по теории, 62).

Внимание А. А. Потебни, как и В. Гумбольдта, к индивидуальному творчеству в языке позволяет этим исследователям проникать в его семасиологические глубины, описывать языковую семантику в высшей степени расчлененно, с отображением "внутренних пропорций" языка как "организма", то есть добиваться таких уникальных результатов, которые заставляют признать это внимание целиком оправданным и в языковедческой сфере. Известно, каково было соотношение риторики с грамматикой. "Грамматика занимается только словами — писал Н. Ф. Кошанский, — риторика преимущественно мыслями..."²¹ В. Гумбольдт, а затем А. А. Потебня в своих концепциях, исходящих из того, что "собственно язык" составляют именно мысли ("лучезарные идеи", как выражался Гумбольдт), то есть его семантическая сторона, пришли к синтезу прежней формальной грамматики с семасиологической риторикой.

Что же касается так называемого "психологизма" их концепций, то по существу это миф, основанный не на анализе взглядов исследователей, взятых в их генезисе и в их системе, а на внешних впечатлениях от разрозненных высказываний Гумбольдта и Потебни. Так, А. А. Потебня в некоторых работах (особенно в раннем труде "Мысль

и язык") часто пользуется словом "психология", исключительно в его время популярным. Но на практике он никогда не пытался исследовать психо-физиологические механизмы языка (в отличие от того же Овсяннико-Куликовского). А еще Гегель точно сказал, что "в специальной науке о духе, в психологии" дух рассматривается "в плане его самодетельности внутри себя"; если же духовная деятельность берется просто как факт, без анализа материальных механизмов ее "самодетельности внутри себя", тогда приходится говорить не о "психологии", а о "феноменологии духа"²⁸. Совершенно ясно, что у Гумбольдта и Потебни проявляется не психологический, а именно феноменологический ракурс в анализе проблем литературно-художественной и языковой семантики.

А. А. Потебня дал бесценные четкие ориентиры в том, какими путями оптимизировать соотношение абстрактного и конкретного начал в филологической теории, какие формы абстрагирования органичны для филологии. Его собственное научное творчество — блестящий образец такой оптимизации. Это — практическая семасиология.

¹ Харцьев В. И. Основы поэтики А. А. Потебни // Вопросы теории и психологии творчества. — Т. 2. — Вып. 2. — Спб., 1910. — С. 1 — 2.

² См.: Минералов Ю. И. Об условно-абстрактном анализе в литературоведении // Филологические науки. — 1983. — № 5.

³ См.: Гегель Г. В. Философия религии: В 2 т. — М., 1977. — Т. 2. — С. 445; он же. Наука логики: В 3 т. — М., 1970. — Т. 1. — С. 87, 90.

⁴ Гегель Г. В. Работы разных лет: В 2 т. — М., 1970. — Т. 1. — С. 406.

⁵ Кузнецов П. С. У истоков русской грамматической мысли. — М., 1958. — С. 13 — 14.

⁶ Белошанкова В. А. Современный русский язык. — М., 1977. — С. 118.

⁷ Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка. — М., 1980. — С. 26.

⁸ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М., 1984. — С. 169.

⁹ Вуслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. — М., 1959. — С. 570.

¹⁰ Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. — М., 1984. — С. 9.

¹¹ Пауль Г. Принципы истории языка. — М., 1960. — С. 34.

¹² Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — С. 70.

¹³ Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). — М., 1972. — С. 491.

¹⁴ Виноградов В. В. О теории художественной речи. — М., 1971. — С. 10.

¹⁵ Пресняков О. П. Литературоведение и филология в научном наследии А. А. Потебни. — М., 1978. — С. 125.

¹⁶ Пресняков О. П. Поэтика познания и творчества. — М., 1980. — С. 114.

¹⁷ Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. — Т. 7. Труды по филологии. — М.; Л., 1952. — С. 377.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Гегель Г. В. Работы разных лет. — Т. 1. — С. 310.

²⁰ См.: Кошанский Н. Ф. Общая риторика. — Спб., 1934. — С. 9 — 15.

²¹ Лосев А. Ф. История античной эстетики. — М., 1975. — Т. 4. — С. 529.

²² Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — С. 100.

²³ Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4. — С. 666.

24 См.: Виноградов В. В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). — М., 1958. — С. 35 и далее.

25 Ленин В. И. Полн. собр. соч. — Т. 29. — С. 184.

26 Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. — М., 1985. — Т. 3. — С. 476, 489.

27 Кошанский Н. Ф. Общая риторика. — С. 2.

28 Гегель Г. В. Работы разных лет. — Т. 2. — С. 80, 181.

В. В. КРЫСЬКО

ДВОЙНОЙ ОБЪЕКТНЫЙ ВИНИТЕЛЬНЫЙ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ (В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИЙ А. А. ПОТЕБНИ И А. В. ПОПОВА)

При исследовании конструкций с двумя прямообъектными винительными при одном глаголе основополагающее значение имеет указание А. А. Потебни о различии в древнем сознании ближайшего и отдаленного объектов. Ученик Потебни А. В. Попов на обширном материале показал общиндоевропейский характер подобных форм. В статье доказывалось, что биаккузативные конструкции представлены также и в славянских языках.

Термином “двойной объектный винительный”¹ (или “биаккузативная конструкция”) мы обозначаем сочетание глагола с двумя винительными падежами² прямого объекта: винительным лица и винительным предмета, типа лат. *doces te litteras* “я обучаю тебя грамоте”. Из данного определения следует, что, во-первых, рассматриваемые формы структурно-семантически отличаются от конструкций с ВП объекта и ВП предикативным, традиционно именуемых “двойным винительным” или “вторым винительным” (типа *постави Мефодья епископа* — Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 299); во-вторых, к числу двойных объектных винительных могут быть отнесены сочетания с винительным целого и части (так. наз. *σχημα ηαν δην ηατά μερος*³, типа греч. *βαλε δε προουρηνορα δεξιον ωμων* «поразил Профознора в правое плечо»⁴).

Как отмечает А. В. Десницкая, “конструкции с двойным винительным представляют собой один из наиболее сложных участков в системе функций винительного падежа”⁵. Прежде всего обращает внимание тот факт, что в различных индоевропейских языках соответствующие обороты распространены неравномерно: если в древнеиндийском они “встречаются весьма часто”⁶, в древнегреческом засвидетельствованы многочисленными примерами⁷, то в древнеиранских⁸ и латинском⁹ наблюдаются лишь при относительно узком круге глаголов, а в германских¹⁰ и балтийских¹¹ фиксируются только в виде отдельных реликтов. Наличие сочетаний с двойным объектным винительным практически во всех индоевропейских языках, привле-

каемых обычно для сравнительно-исторического анализа, позволило компаративистам еще в прошлом веке сделать вывод — разделяемый и современной наукой — о праязыковом характере этой конструкции¹². В то же время определение ее генезиса и причин исчезновения вызывает у языковедов существенные затруднения. Весьма показательны в этом отношении заявления Г. Хирта о том, что глубокая древность данной формы не позволяет ее объяснить¹³, парадоксальное высказывание Т. Румпеля о принципиальной невозможности соединения переходного глагола с двумя объектами¹⁴ и лаконичная оценка Ж. Одри: “синтаксическая аномалия двойного винительного”¹⁵. Отмирание двойных объектных винительных, по мнению Г. Хирта, вызвано тем, что они “противоречили духу дальнейшего языкового развития”¹⁶, а по мнению Э. Френкеля — обусловлено их “неудобством” (*Ungelegenheit*)¹⁷.

Таким образом, европейская компаративистика, внесшая существенный вклад в отбор и классификацию конкретного языкового материала, определившая принципиальные различия между оборотами “двойной винительный” и “двойной объектный винительный” (хотя и не различавшая их терминологически), разграничившая в пределах второго типа некаузативные и каузативные конструкции, не смогла, однако, дать удовлетворительную интерпретацию и с т о р и и анализируемых форм. Лишь в научном наследии А. А. Потебни мы находим основополагающие идеи, позволяющие непротиворечиво объяснить всю совокупность явлений, связанных с употреблением при глаголе двух объектных винительных. Обратив внимание на то, что круг употребления аккузатива “в древнем языке был... многим обширнее, чем ныне” (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 295 — 296) (в частности, винительный наблюдается при глаголах речи и восприятия в таких контекстах, где сейчас используются предложно-падежные формы либо придаточные предложения: слышавъ *смерть* (= услышавши о смерти); Повѣдаша ему *Володимера* въ Черниговѣ (= что В. в Чернигове) и т. д., ученый заметил: “Чем далее продвигается в старину, тем чаще встречаем в языке отсутствие предложных объектов, из чего — вероятное заключение, что было такое время, когда оба рода объектов [”ближайший, непосредственный предмет восприятия, познания, речи” и “дальнейший, более самостоятельный” (Там же, с. 296). — В. К.], вовсе не различаясь в сознании, одинаково выражались простым винительным. Это напоминает состояние дитяти, только что начинающего пользоваться чувствами и протягивающего руки к предметам, которых схватить не может, или состояние людей, для которых не существует перспектива при графическом изображении видимых предметов” (Там же, с. 296 — 297).¹⁸

При всей гипотетичности этой реконструкции древнего мышления нельзя не признать, что соотносящаяся с идеей Потебни оценка аккузатива как падежа “объекта в широком смысле”¹⁹ дает возможность истолковать многие факты, остающиеся необъяснимыми в том случае,

© В. В. Крысько, 1992

если мы будем придерживаться равно традиционных концепций о винительном как изначально прямообъектном либо — напротив — на-правительном падеже. Знаменательно, что в новейшем компендиуме индоевропеистики — монографии Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова — трактовка двойных (объектных) винительных опирается именно на представление о первоначальной диффузности аккузатива (или, если угодно, протоаккузатива), выполнявшего целый ряд семантически недифференцированных функций²⁰, — иначе говоря, непосредственно корреспондирует с мыслями А. А. Потебни о неразличении в древнем винительном ближайшего и отдаленного объектов.

Будучи по преимуществу славистом, создателем славянского сравнительно-исторического синтаксиса, А. А. Потебня в “Записках по русской грамматике” оперировал прежде всего славянским, особенно древнерусским, материалом и, естественно, все свое внимание посвятил “вторым” (т. е. двойным) винительным, широко представленным в памятниках. Конструкции же с двойным объектом винительным, практически не встречающиеся в использованных им источниках и почти не упоминавшиеся в имевшихся тогда трудах по славистике, остались за пределами его работы.

Дальнейшее развитие концепции Потебни, обогащенные достижениями европейской компаративистики, получили в “Синтаксических исследованиях” его безвременного умершего ученика Александра Васильевича Попова (1855 — 1880), ярчайшего представителя русской индоевропеистики, предвосхитившего многие положения современного языкознания²¹.

Восприняв идею Г. Курциуса о винительном как общем косвенном падеже²², Попов наполнил ее конкретным лингвистическим содержанием: он доказал на многочисленных примерах, что аккузатив в индоевропейских языках способен выполнять фактически все функции, осуществляемые другими падежными формами, и показал, что прямообъектная функция ВП представляет собой результат уточнения и дифференциации первичного “независимого” (или, пользуясь терминологией А. В. Десницкой, “обстоятельно-определяющего”²³) аккузатива — падежа “объекта в широком смысле”, т. е., в сущности, не объекта, а распространителя, уточнителя действия. Поскольку таких уточнителей (“ближайших” и “отдаленных”, по Потебне) в предложении могло быть несколько, очевидно, что формы ВП в силу его исконной полифункциональности, диффузности могли “нанизываться” на сказуемое. По мере развития индоевропейского предложения, конкретизации связей между словами, кристаллизации грамматических форм и категорий, т. е. — в целом — в процессе развития номинативного строя и субъектно-объектных отношений ВП становится главным оппонентом номинатива как падежа субъекта, подлежащего; формирование залоговой корреляции актив/пассив обуславливает установление четкого соответствия между единственным возможным подлежащим страдательного оборота и — следовательно — единственным возможным объектом соотносительного

действительного оборота²⁴; в результате один из аккузативных объектов, не находящий трансформационного соответствия в пассиве и сохраняющийся при пассивном преобразовании — вопреки самой семантике пассива как выражения действия, замкнутого на подлежащем (ср. лат. *rogatus sum sententiam*), неизбежно вытесняется иными косвенно-падежными формами либо предложно-падежными сочетаниями. Те древние индоевропейские языки (др. -инд., др.-греч.), в которых противопоставление актива/пассива еще не встало в центр всей структуры предложения, т. е. языки, последовательно сохранявшие более древнюю оппозицию активных и медиальных форм, первоначально непосредственно не связанную с категорией переходности и функционированием аккузатива, сохранили и сочетания с двойным объектным винительным в более широком масштабе, нежели языки с более поздней письменной фиксацией (лат., др.-иран., герм., балт., слав.), в которых противопоставление актива и медиа затухало, сменяясь дихотомией действительных и страдательных конструкций. Итак, оборот, “двойной объектный винительный” в индоевропейских языках следует признать реликтом полифункциональности аккузатива, характерной, как предполагали А. А. Потебня и А. В. Попов и как подтверждают современные реконструкции²⁵, для праиндоевропейского языкового состояния.

Заслугой А. В. Попова явилась не только семантическая (представленная и в работах немецких компаративистов), но и генетическая классификация двойных объектных винительных, основанная на разработанной им же классификации зависимых винительных в индоевропейском: винительных объекта времени и места, винительных объекта комитативных и объектных винительных отношений. Путем комбинации этих аккузативов образуются два основных вида двойных (объектных) винительных²⁶.

1) Двойные винительные одного значения различаются тем, что один из них определяет объект более общим, а другой — более частным образом. И тот, и другой аккузатив восходит к независимому винительному цели (при глаголах движения, физического воздействия, просьбы: “идти к кому-л. (первый ВП) за чем-л. (второй ВП)” > “схватывать у кого-л. что-л.”, “просить у кого-л. что-л.”), ср. др.-инд. *saranam jami daiuatani* “я прошу у божеств защиты” (букв. “прихожу к божествам к защите”).

2) Двойные винительные различного значения образуются в результате комбинации трех типов винительных: первоначальных аккузатива места (“двигаться по чему-л.”), аккузатива цели (“двигаться к кому-чему-л.”) и комитативного аккузатива (“двигаться с кем-чем-л.” > “нести, пускать что-л. куда-л.”), ср. латыш. *irbit mani ceļu veda* “куропатка вела меня по дороге”, греч. *ἤρθε πολλὰ ἑορῶν Τροίας* «причинил многие бедствия троянцам» (трояницы — направление, цель; бедствия — комитативный объект, т. е. объект, сопровождающий действие). Вследствие метонимического переноса

аналогичные конструкции распространяются и на глаголы, обозначающие передачу информации (речи, обучения и т. п.), ср. др.-инд. *matur bhaginīṣ idam vasaṃ abravīt* «он сказал такую речь к сестре матери».

Помимо двойных объектных винительных при производных глаголах А. В. Попов отмечает биаккузативные конструкции при глаголах фактивных (каузативных). Поскольку, как известно, первоначально формы, осмысленные затем как каузативы, семантически не отличались от исходных глаголов²⁷, естественно сохранение при них исходного объекта. Кроме аккузатива предмета, они могли иметь при себе и аккузатив лица, выражавший вначале, очевидно, направительное ("освещать кого" < "светить на кого") либо комитативное значение ("нести кого" < "идти с кем"); развитие каузативной семантики приводит к переосмыслению личного винительного "как объекта, которому причиняется известное действие или состояние"²⁸. В результате каузативы, образованные от переходных глаголов, обретают способность управлять двумя объектными винительными: аккузативом предмета и аккузативом каузируемого лица; возникшие конструкции составляют полную синтаксическую аналогию к сочетаниям с двойными объектными винительными при некаузативных глаголах, ср. формы со значением "учить кого чему" при др.-инд. некаузативе *īks* (*īvan īksyami tat*) и нем. каузативе *lehren* (*jemanden etwas lehren*)²⁹.

Таким образом, благодаря основополагающим исследованиям А. А. Потемни и тщательным разысканиям А. В. Попова индоевропейские биаккузативные конструкции получили, наконец, непротиворечивое семантическое и грамматическое истолкование и стройную классификацию. Однако если Потемня, как славист, уделил наибольшее внимание "вторым винительным", то Попов, специализировавшийся по санскриту и индоевропейской компаративистике (его кандидатское сочинение "Синтаксические особенности винительного в санскрите" было удостоено золотой медали Харьковского университета), построил анализ двойных (объектных) винительных преимущественно на индоиранском и греческом материале, в отношении славянских языков ограничившись единичными примерами из Д. Даничица и Ф. Миклошича. Впрочем, и в обобщающих трудах, специально посвященных славянскому синтаксису, биаккузативные конструкции признаются крайне редкими, поздними или заимствованными³⁰.

Проведенное нами исследование более чем 300 памятников древнерусской и русской письменности XI — XIX вв., а также просмотр академических историко-лексикографических картотек и исторических словарей славянских языков позволили существенно расширить список славянских конструкций с двойным объектным винительным. В настоящее время есть основания утверждать, что данные формы употреблялись в истории славянских языков при глаголах следующих лексико-семантических групп: движения, обучения, одевания,

передачи и вопроса.

1. Два аккузатива при глаголах движения (и в особенности преодоления пространства) обычны в санскрите (*senan padin tarati* "переправляет войско через реку")³¹, древнегреческом, латинском; в балтийских известен приведенный выше латышский пример с глаголом *vesti* "вести". Несколькими конструкциями из разных славянских языков отметил Ф. Миклошич, ср.: ст.-серб. *Savu rēku grēvezetē i*; ст.-пол. *obwiodł je drogō*. Объектный характер обоих винительных подтверждается тем, что в страдательных оборотах как личный, так и пространственный аккузатив могут преобразовываться в ИП, а при отрицаниях и при отглагольных существительных заменяются генитивом: санскр. *senā padīn tīrṅa* "войско переправлено через реку" — *senāḥ padī tīrṅa* "река перейдена войском"³²; др.-рус. да быста мя приялѣ древь на *пренесение рѣкы* (Миклошич), ст.-рус. великого князя *гостей Дидпра не перевезли* (Пол. д. 1, 26). Все глаголы движения, управляемые двумя объектными винительными, являются каузативами со значением "нести", "вести", "переправлять". Однако, как показал А. В. Попов, "значение не е с т и есть специализированное значение движения, шествия (именно и д т и с к е м , с ч е м), а винительный, очевидно, означает тот предмет, с которым совершается движение, шествие"³³. Следовательно, более первоначальной зависимой формой при глаголах типа *нести* в значении "идти" был винительный, обозначающий пространство, по которому осуществляется движение. Семантический синкретизм древнего глагола способствовал совмещению обоих значений: исконного значения движения и вторичного значения каузации — и, соответственно, использованию при глаголе двух разных объектов. Следы этого состояния наблюдаются в древнеиндийском, где, например, глаголы *tar* и *rag* в значениях "переправляться" и "переправлять" управляют аккузативом лица и аккузативом предмета³⁴, в древнегреческом (ср. при *λεγειω* «переправляться»; *переправлять»: τὸν Ελληποντον* и *στρατιάν*)³⁵, в латинском (ср.: *transmitto* (*maria*) «переплывать» (*eguitatum*) «переправлять»)³⁶. В древнерусском языке зафиксирован целый ряд примеров двойственного — каузативного и некаузативного — употребления глаголов движения: *въ вифанию ямо же и поуть гънаше* (УСб, 374) — *женеть вѣтръ прахъ* (там же, 482); *видѣ королевича, мчаща под руку* (Ж. Ал. Нев. — СлРЯ XI — ХУІІ вв., 9, 326) — *мъчаща ю кони* (УСб, 229); *повеле друугымъ рабомъ прѣвозити рѣкою* (ПрЛ XIII, 72а — КСДР) — *почаша в насидех дружину ег [о] перевозити* на сю сторону (ИЛ, 402). Поскольку, как известно, валентность каузатива на один актанта больше, чем валентность исходного глагола³⁷, естественно, что в условиях господства ВП среди других косвенных падежей при каузативных глаголах движения закрепились двойные объектные винительные. В проанализированных нами древне- и старорусских памятниках они представлены 36 примерами — при глаголах *обести*, *п(е)ревозити*, *переправляти*, *перепустити*, *привести*, *провести*. Наиболее ранний пример отмечен в

одном из древнейших собственно восточнославянских памятников — поучении Феодосия Печерского XI в., причем в метафорическом контексте, что указывает, как мы полагаем, на обыденность подобных форм в непереносном употреблении: въздающе хвалу живодавцю Богу, *прѣпровоидишу нас врьсту* nocturnую (ФП, 178). С XV в. рассматриваемые конструкции находят отражение и в деловых текстах, и в летописях, ср.: Абды-Рахман бы меня велѣть рѣку *перевестивъ* судѣхъ (Крым. д. II, 270); Князь же Олегъ *объведе* царя землю Резаньскую (Рус. хр. I, 415); Федора не *перепустило* морской проливъ (Никл XII, 332), а в XVII в. встречаются также в художественно-повествовательных и публицистических сочинениях: *А кого перевезут Дунай* (Сказ. роск. жит., 33); *Богъ ихъ перепроводитъ вѣкъ* сей суетный (Авв., 53); образъ креста *людей* Израильтескихъ *море* *проведе* (Авв., 263). Таким образом, русский язык на протяжении длительного периода сохранял в живом употреблении конструкции, свойственные также другим родственным языкам и восходящие, надо полагать, к праиндоевропейской эпохе. Вместе с тем использование в памятниках вариативных предложно-падежных форм (*за* + ВП, *через* + ВП) и крайняя малочисленность примеров с двойным объектным винительным в иных славянских языках позволяют сделать вывод, что вытеснение второго аккузатива началось еще в праславянском. Рефлексом исследованных сочетаний являются широко распространенные в языке XI — начала XIX в. транзитивные конструкции при возвратных глаголах преодоления пространства³⁸, типа *перевезшися Угру* (Крым. д. I, 314); образование этих рефлексивов происходило путем замены первого (личного) ВП возвратным элементом, второй же (пространственный) ВП не подвергался элиминации (ср. аналогичное греч. *περαϊσθε τινα τῶρετρον* Σ *περαϊσθε το* *ρετρον*). Знаменательно, что исчезновение аккузативных сочетаний с возвратными глаголами в начале XIX в. хронологически следует за последней фиксацией двойного объектного винительного (первый *ров* *его* *бог* *перенес.* — Чулк. 2, 199, кон. XVIII в.)³⁹.

2. Биаккузативные конструкции с глаголами обучения характерны для большинства индоевропейских языков⁴⁰. В балтийских языках соответствующие примеры признаются «редкими и диалектными» (А. Вайан), ср. лит. *mokik tavo vāle dukrytē* «учи доченьку твоей воле»⁴¹, латыш. *es vlnu izmacīšu vissmalkako amatu* «я его научу тончайшему ремеслу»⁴²; в древнепрусских памятниках глагол *tuikinsusin* отмечается как с ВП лица, так и с ВП предмета⁴³. Что же касается славянских языков, то двойные объектные винительные, вопреки утверждению Э. Френкеля об их спорадическом употреблении, регулярно используются в верхнелужицком (ср.: *Wuč mje ruč, kotryž tam hič*)⁴⁴. засвидетельствованы несколькими примерами в старочешских текстах (*dobrotu a kdzen naucz mē* (SSC, 2, 511) и являются господствующими в новочешском и словацком (чеш. *učiti dcerku novou pishičku* (SSJC, III, 940); словац. *učit deti matematiku* (SSJ, IV, 638),

зафиксированы в старопольских источниках (Теп *vass pavczy vschytka pravda* — SSP, 26, 120; 58, 301; SP XVI, 16, 353) и в словинских говорах⁴⁵, широко представлены в сербскохорватских памятниках и народных песнях (в «Словаре хорватского или сербского языка» — RHSJ, 33, 713 — 714; 47, 236; 79, 175) при *naučiti* приведено 12 примеров с предметным ВП, 2 — с РП, — с ДП, 1 — с ТП, 2 — с сочетанием *od čega*, 8 — на *što*, 10 — и *čemu*, 1 — и *što*; при *roučiti* — 2 конструкции с двойным объектным винительным, при *učiti* — 35, тогда как с ДП — 39, ср.: *Nauči me volu tvoju*). Заслуживает упоминания то обстоятельство, что исследователи и лексикографы объясняют подобное употребление влиянием других языков — греческого, латинского, немецкого. Основанием для таких утверждений служит использование анализируемых форм — как, впрочем, и большинства примеров с глаголами обучения — преимущественно в церковных и переводных текстах, что было вполне естественно в условиях средневековья, когда церковь обладала «монополией на интеллектуальное образование»⁴⁶. Следует подчеркнуть, однако, что наиболее ранний славянский пример двойного объектного винительного при глаголе обучения — конструкция из «Супрасльской рукописи» — демонстрирует явное отличие от греческого оригинала, где в роли личного объекта фигурирует дательный падеж: *ἸΝΟ ΜΝΟΓΟ ΠΟΟΥΧΑΛΛΗΧ ΣΒΑΤΑΓ-Α* (Супр., 256) — *ἀλλὰ πλείονα ἀνφιλάρηρον φοφέ ἀγιοίς* (Вайан) «много другое советовали (двум) святым». Хотя во всех остальных (довольно немногочисленных) случаях, для которых мы располагаем точными греческими или латинскими параллелями, славянские биаккузативные конструкции полностью соответствуют формам оригиналов, указанное несоответствие старославянского (!) и греческого текстов представляется весьма важным, так как подтверждает выводы И. Курца: «...там, где *п о л н о е* соответствие могло вызвать образование чуждых духу славянского языка конструкций, первые переводчики, не боясь отклонений в языковых средствах, не унизились до рабского перевода... они старались по свободному усмотрению выбрать из средств выражения, которыми они располагали, именно то, какое в данном случае им казалось самым подходящим»⁴⁷. Поскольку соединение глагола *ἀντιλαραίνω* с ДП лица противоречило обычной сочетаемости славянских глаголов обучения с ВП лица, греческая конструкция была заменена формой, по-видимому, равно возможной как в греческом, так и в славянском — двойным объектным винительным. «Только фреквенция таких сходных конструкций, — отмечал И. Курц, — бывает... под влиянием греч. подлинника»⁴⁸ — но как раз о фреквенции двойных объектных винительных в древнерусском языке не может быть и речи. Безусловно, в самой семантической структуре славянских глаголов обучения была заложена их способность к двойному управлению аккузативом, и обуславливалось это их каузативным происхождением. Известно, что глагол *učiti* являлся каузативом от *vyknoi*⁴⁹. По мнению Ф. Миклошича, подкрепленному

ссылкой на санскрит, к «прзначению» (Urbedeutung) данного исходного глагола — «привыкать» — восходит сочетаемость с ДП. Однако, во-первых, др. - инд. глагол *ис* управлял генетивом или локативом⁵⁰, во-вторых, глагол *выкнути* и его префиксальные дериваты уже в древних славянских источниках сочетаются с ВП (подобаетъ просвъщеннымъ *вѣроувыкнути* — КЕ, 275; *навыкнути* от Аполлона *родство* бгъ и всего мира *сѣтворение* — Хрон. И, Малалы — СлРЯ XI — XVII вв., 10, 44). Совершенно непонятно, почему из преобладания датива в ряде славянских языков в исторический период был сделан вывод о его «этимологической обоснованности»⁵¹, исключающий возможность варьирования объектных форм в праславянском. Между тем уже ранние памятники славянских языков отражают именно конкуренцию различных управляемых конструкций в функции предметного объекта при глаголах обучения и наряду с дательным, родительным (закрепившимся в польском языке) и другими падежами и предложно-падежными формами демонстрируют сочетания типа *учить что*, ср.: др.-рус. *кождо ихъ оучаць стихи свои* (ПНЧ 1296, 42 — КСДР); сербскохорв. *Kto knigu izučī* (RHSJ, 14, 302); ст.-чеш. *ciestu boží v pravdě učis* (Sl. Hus., 178); ст.-пол. *druga boza v pravdzye nawczasz* (SSP, 26, 117). Таким образом, двойной объектный винительный в исследуемых конструкциях представляет собой соединение каузативного глагола с ВП каузируемого лица и с аккузативным объектом исходного глагола, аналогичное соответствующим формам других индоевропейских языков.

В истории русского языка биаккузативные конструкции засвидетельствованы 23 примерами при глаголах *учити, научити, поучити, выучити, обучити*, причем не только в переводных, но и в оригинальных текстах XI — XIX вв., ср.: *вси же съврстынии отроци его роугающеся емоу оукаряхоути и о такоуѣмъ дѣлѣ и тоже врагоу наоучающую я* (Ж. Феодос. Нест. — УСб, 77); *вся богославныя глы правовѣрныя вѣры пооучая его — лѣрван доуматиу руну тѣш оруодоѣов лигешш ерѣди даѣтван* (в греческом без личного объекта) (ЖВИ XII — XV 71в — КСДР); Авраам в Египетъ вшел, *египтяна учи землемѣрия, да и росчет земны* (Генн. Посл. Иоас., 548)⁵²; что ей Ярославка говорила, и као *ея оучила* из усть темная *ихъ имена* (Ж. Пр. Уст. I, 163 — КДРС). В источниках конца XVIII — XIX в. ВП предметного объекта нередко выступает параллельно с РП и ДП, что, очевидно, указывает на взаимозаменяемость этих форм: *выучил ево ермосовъ и ермолоу* весь и *празники и портесному пѣнию концертов з дватцать* (МДБП, 289); *учениковъ же... ноту обучить — учениковъ двух челоуѣкъ... обучилъ онъ... нотѣ* (МИАН II, 60); отец Филат *выучил меня грамоте, часослов и псалтырь* и кафизмы наизусть (Фонь. Нед. I, 258); в последнем примере ДП возможно рассматривать и как неизменяемую, застывшую форму, встречающуюся, например, в сочетаниях *знать грамоте, уметь грамоте* (где датив совершенно незаконномерен). Допустимо предположить также, что в употреблении

второго винительного определенную роль мог играть порядок слов: при удалении от управляющего глагола выбор объектной формы диктуется в большей степени семантическими, нежели синтаксическими факторами⁵³, и поэтому аккузатив как основной падеж, выражающий объектное значение, мог появляться уже после генитива (*ермосовъ*) и датива (*грамоте*), для которых значение предметного объекта при глаголах передачи информации отнюдь не характерно. Наиболее поздний пример из литературы отмечен А. А. Шахматовым у Писемского (в речи персонажа): *Она меня все стихи учила — с*⁵⁴; кроме того, в воронежском говоре В. И. Собиинникова зафиксировала форму *Он нас винтовку обучал*⁵⁵, а в псковском диалекте второй винительный (предметного объекта) засвидетельствован при глаголе *выучить* в значении «обучить», подразумевающим и управление личным аккузативом, ср.: *Дѣк я тибя выучу — Прасил выучить пулямет* (ПОС, 6, 89). Тот факт, что все указанные глаголы (не исключая *обучать*) в истории русского языка совмещали как каузативное, так и некаузативное значение (ср.: *изъ оных дѣтей обучено имъ нѣсколькo до логики и физики, другия же обучали грамматику* (МИАН V, 17) — «научено», «изучали»), побуждает нас отказаться от объяснения двойных объектных винительных типа *Он нас винтовку обучал* как контаминации управляемых форм при разных глаголах (*обучать кого и изучать что*)⁵⁶; на наш взгляд, двойное управление и в древнерусских, и в позднейших примерах является следствием семантического синкретизма управляющих глаголов.

Использование двойных объектных винительных при глаголах обучения не только в переводных, но и в оригинальных русских текстах, в том числе отражающих народно-разговорную речь, а также в диалектах, широкое употребление их в памятниках, фольклоре и говорах южно- и западнославянских языков, наличие соответствующих конструкций в диалектах балтийских языков распространенность их в других индоевропейских языках — все эти факторы, наряду с несомненной, сохраняющейся до сих пор полисемичностью глаголов обучения в славянских языках, и прежде всего русском, обуславливающей сочетаемость этих глаголов как с ВП каузируемого лица, так и ВП предметного объекта, дают основание заключить, что рассмотренный тип управления является общеславянской синтаксической чертой, восходящей к праиндоевропейскому состоянию. Такая интерпретация, учитывающая структурно-семантические особенности самих славянских языков и сравнительно-исторические данные, представляется более правомерной, нежели попытки свести весь обширный славянский материал к иноязычному воздействию. Очевидно, во многих примерах, главным образом из переводных церковных текстов, мы действительно имеем дело с поддерживающим влиянием трех идеологически авторитетных языков (в древнерусских и древнесербских памятниках — греческого, в старочешских и старопольских — латинского, в русских научных и

канцелярских текстах XVIII в. и в сербо-лужицких источниках — немецкого), однако влияние это, по нашему мнению, выразилось лишь в активизации исконно славянского синтаксического явления.

Как и в случае с глаголами преодоления пространства, рефлексивизация каузативных глаголов обучения влечет за собой замену личного винительного возвратным компонентом, тогда как предметный винительный остается без изменения — таким образом возникают транзитивные возвратные глаголы, представленные в старославянском (ЧРЪНОРИЗЬЧЬСКЖІ — Ж ИСТИНЖ... НАОУЧАТИ СА (Супр., 284), сербскохорватском (RHSJ, 33, 715), словенском (SSKJ, II, 1014), польском (SP XVI, 16, 358 — 359), словинском (SW, 1355 — 1356), чешском (SSJČ, III, 940), словацком (SSJ, IV, 638), а также в русских источниках XI — XVIII вв. и в фольклоре (*стоюю грамотоу оучити ся* — ПНЧ XIV, 86 — КСДР; *Учили ся ли ты некоторую игру* — Lud., 61 — КДРС; *веревки* и всякое корабельное знание могут *изъучитися* вскорѣ — Докл. в Сенате, II, 326 — КДРС; А в одной мы школы *грамоту училисе* — Арх. был. I, 348 и т. д.). Аналогичные формы зафиксированы в балтийских языках⁵⁷. Поскольку ни в одном из индоевропейских языков, провозглашаемых обычно источниками славянских биаккузативных конструкций, транзитивные рефлексивы такого типа не встречаются, закономерным представляется вывод о собственно славянском (точнее, балто-славянском) происхождении данных форм — как и исходных сочетаний с двойными объектными винительными. Показательно, что в истории русского языка транзитивные возвратные глаголы исчезают параллельно с отмиранием биаккузативных конструкций, в то время как в чешском и словацком оба типа сочетаний сохраняются до сих пор.

¹ См.: Крысько В. Б. Транзитивность возвратных глаголов в русском языке XI — XVIII вв. // Вестн. ЛГУ. — 1984. — №2. — С. 81, 84; ср.: Haudry J. L'emploi des cas en védique. — Lyon, 1977. — P. 157.

² Далее в статье используются сокращенные обозначения падежей: ИП — именительный, РП — родительный, ДП — дательный, ВП — винительный, ТП — творительный.

³ Brugmann K. Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch // Brugmann K., Delbrück B. Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Sprachen. — 2. Bd., 2. T. — Strassburg, 1911. — S. 633.

⁴ Десницкая А. В. Сравнительное языкознание и история языков. — Л., 1984. — С. 110.

⁵ Там же. — С. 104.

⁶ Шерцль В. И. Синтаксис древнеиндийского языка. I. — Харьков, 1883. — С. 67; см. также: Spreyer J. S. Vedische und Sanskrit - Syntax. - Strassburg, 1896. — S. 23.

⁷ См.: Черный Э. Греческий синтаксис гимназического курса. — 3-е изд. — М., 1885. — С. 32 — 34; Десницкая А. В. Указ. соч. — С. 105 — 110.

⁸ См.: Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. 2. — М., 1975. — С. 128; Erhart A. Struktura Indoiranskych Jazyku. — Brno, 1980. — S. 68.

⁹ См.: Hofmann J. B. Lateinische Syntax und Stilistik / Neubearb. von A. Szantyr. - München, 1965. — S. 42 — 43.

¹⁰ См.: Hirt H. Handbuch des Urgermanischen. Т. 131. — Heidelberg, 1934. — S. 51

¹¹ См.: Fraenkel T. Syntax der Italauschen Kasus. - Kaunas, 1928. — S. 76.

¹² См.: Delbrück B. Vergleichende Syntax der Indogermanischen Sprachen // Brugmann K., Delbrück B. Op. cit. - 3. Bd., I. T. — Strassburg, 1893. — S. 378; Naudry J. Op. cit. — P. 160, 161.

¹³ Hirt H. Indogermanische Grammatik. Т. 6. — Heidelberg, 1934. — S. 95.

¹⁴ Rumpel T. Die Kasuslehre in besonderer Beziehung auf die griechische Sprache. — Halle, 1845. — S. 150 — 151.

¹⁵ Haudry J. Op. cit. — P. 159.

¹⁶ Hirt H. Indogermanische Grammatik. — S. 93.

¹⁷ Fraenkel E. Op. cit. — S. 158.

¹⁸ Ср.: Савченко А. И., Потемкин Н. А. Происхождение аккузатива в праиндоевропейском языке // Baltistica. — 1987. — XXII (2). — С. 139.

¹⁹ Попов А. В. Синтаксические исследования. I. — Воронеж, 1881. — С. 101; ср. также: Gurtius C. Zur Chronologia der Indogermanischen Sprachforschung // Abh. der philol. - hist. Klasse der Königl. Sächs. Ges. der Wissenschaften. — 1867. — Bd. 5. - No 3 — S. 252.

²⁰ Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. — Тбилиси, 1984. — С. 285.

²¹ Подробнее см.: Крысько В. Б. История индоевропейского аккузатива в "Синтаксических исследованиях" А. В. Попова // Вопр. языкознания (в печати); Его же. Из истории русской лингвистической критики // Изв. АН СССР. лит. и яз. (в печати).

²² Curtius G. Op. cit. — S. 252.

²³ Десницкая А. В. Указ. соч. — С. 77, 117.

²⁴ См.: Попов А. В. Указ. соч. — С. 242.

²⁵ См.: Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Указ. соч. — С. 285.

²⁶ См.: Попов А. В. Указ. соч. — С. 243 — 250.

²⁷ См.: Степанов Ю. С. Балто-славянское и индоевропейское предложение (проблемы реконструкции) // Baltistica. — 1988. — XXIV (2). — С. 128.

²⁸ Попов А. В. Указ. соч. — С. 284.

²⁹ Там же. — С. 249, 285; ср.: Степанов Ю. С. Указ. соч. — С. 129.

³⁰ Miklosich F. Vergleichende Grammatic der slavischen Sprachen. IV. Bd.: Syntax. - Heidelberg, 1926. — S. 389 — 390; Vondrák W. Vergleichende slavische Grammatik. II. Bd: Formenlehre und Syntax. — Oettingen, 1908. — S. 313; Vailiant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. S.: La syntaxe. — Paris, 1977. — P. 35 — 36. При последующих ссылках на этих авторов цитируются указанные издания и страницы.

³¹ Попов А. В. Указ. соч. — С. 181, 246.

³² Там же. — С. 181.

³³ Там же. — С. 213; аналогично — Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность (балто-славянская проблема. II) // Изв. АН СССР. — Сер. лит. и яз. — 1977. — Т. 36. — №2. — С. 144.

³⁴ Gaedicke C. Der Accusativ im Veda. — Breslau, 1880. — S. 52 — 58.

³⁵ Доорецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. — М., 1958. — С. 1284.

³⁶ Доорецкий И. Х. Латинско-русский словарь. — М., 1976. — С. 1026.

³⁷ Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. — М., 1988. — С. 273.

³⁸ См.: Крысько В. Б. Проблемы развития синтаксической системы балто-славянских языков (традиционные возвратные глаголы) // Изв. АН ЛатвССР. — 1986. — №2. — С. 35 — 43.

³⁹ Буслев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. — М., 1959. — С. 498.

⁴⁰ См.: Brugmann K. Op. cit. — S. 634 — 635.

⁴¹ Ibid. — S. 635.

⁴² Fraenkel E. Op. cit. — S. 76.

⁴³ Генюшiene Э. Рефлексивы в литовском языке // Baltistica. — 1981. — XXII (2). — С. 154.

⁴⁴ Libš J. Syntax der sorbischen Sprache in der Oberlausitz — Bautzen, 1981. — S. 120.

⁴⁵ Lorentz F. Slowinisches Wörterbuch. 2. T. — St. Petersburg, 1912. — S. 1355 — 1356.

46 *Энгельс Ф.* Крестьянская война в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 7. — С. 360.

47 *Курц И.* Проблематика исследования синтаксиса старославянского языка // Исследования по синтаксису старославянского языка: Сб. статей. — Прага, 1963. — С. 9.

48 Там же.

49 См.: *Хабургаев Г. А.* Старославянский язык. — М., 1974. — С. 326.

50 *Кочергина В. А.* Санскритско-русский словарь. — М., 1987. — С. 112.

51 *Delbruck В.* Op. cit. — S. 385.

52 Ср.: "... послание Геннадия Иовафу было написано разговорным языком с просторечными оборотами" (Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. — М., 1982. — С. 678).

53 См.: *Крысько В. Б.* Транзитивные косвенно-возвратные глаголы с взаимным значением в истории русского языка // Филол. науки. — 1988. — №6. — С. 44.

54 *Цахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Вып. 1. — Л., 1925. — С. 323.

55 *Собинникова В. И.* Простое предложение в русских народных говорах. — Воронеж, 1961. — С. 152.

56 Там же.

57 *Генюшене Э. Ш.* Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов. — Вильнюс, 1983. — С. 65.

58 Ср.: *Parolkova O.* K problematice zvratných sloves a tzv. zvratného pasiva v současné spisovné ruštině v češtině // Slavica. — 1967. — R. 36. — Ses. 1. — S. 40.

КОСТАНДИН Л. ДИНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПОТЕБНЯ — ТЕРЕНИСТ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ФОЛКЛОРА

Александър Потенбня е виден украински учен, който принадлежи на цялото славянство и на света. Във фолклористиката той остава значителен принос и като събирач на конкретни фолклорни материали, и като теоретик, който обръща внимание на същността, древните представи, редица изразни средства, метрум и съдържание на фолклора. Привърженик на сравнително-историческото, генетическо и типологическо изследване, той се стреми да записва песните в единство от текст, мелодия и такт, което го представя и като своеобразен предвестник на съвременното комплексно културоложко изследване на фолклора.

Различните изследователи са единодушни, че са многопосочни изворите и тласъците за формиране на фолклористичните интереси у Потенбня — родния край, семейната среда, близки и приятели в Харковския университет и вън от него. Всичко това показва постепенното оформяне на учения, от една страна, а, от друга, — че теренната работа способствува не само да се наберат фолклорни материали, но и да се изгради основата на бъдещия теоретик-изследовател на езика, литературата и народното творчество. От конкретните наблюдения и записи на фолклорната култура той стига до обясняване "некоторых символов в славянской народной поэзии", а така също на «мифических значений некоторых обрядов», "поэтических мотивов" до "теории

© К. Л. Динчев, 1992

словесности" или "психология творчества". Ценни теоретически приноси има и в спонтанните му и кратки отзиви, различни пояснения, обзори и др.

А. А. Потенбня отрано разработва свои тези върху историята на народа и неговия език въз основа на фолклора и преди всичко върху най-устойчивия негов дял — песенния. Още в първите му научни трудове се забелязва отношението му към народознанието — и в практически, и в теоретически план. При написване на първата сериозна разработка, когато завършва Харковския университет през 1856 г. (темата е «Първите години от войната на Богдана Хмельницки», която остава ненапечатана), той заявява, че се е опирал не само на историческите сведения, но и на тяхната своеобразна "интерпретация" в народните песни и предания. "Окончил — пише той в автобиографичното си писмо — в 1856 г. кандидатом и утвърден в этой степени по представлении диссертации: "Первые годы войны Хмельницкого...", по Величку и народным песням (Автобюгр., с. 420).

А. Потенбня използва фолклора като "неавтентичен" документ, защото това би било несериозно. Песните и преданията той взема за илюстрация на историческата обстановка, като "неписана история" или като народно отношение към изобразените събития и личности. Очевидно, още в младежките си години той е натрупал впечатления, прави опит да анализира записите си. Той стига до извода да се погледне към фолклора на само от звучността и красотата на народните песни, приказки, пословици, легенди, предания и пр., но и откъм отразеното в тях съдържание. И още нещо за технологиата. Песните фиксира като текст и мелодия, което за онова време е изключително трудно, а в известна степен и непопулярна работа не само в Украйна, но и в другите славянски страни. Знае се, че главната задача при записването на фолклорни материали по това време е текстологическа. Текстът е нужен при изследване на езика и поезията, а понякога (предимно от романтиците) и като исторически податки. Рядкост е да се гледа на фолклора в цялостен културоложки контекст. Ето защо записаните с точност и прецизност материали от Потенбня, някои от тях отпечатани в периодичния печат¹, имат голямо значение днес, розкривайки широкия изследователски спектър на бъдещия учен.

Когато Ал. Потенбня се утвърждава като водещ учен, професор в Харковския университет, той има зад гърба си конкретни наблюдения върху същността и характера на народното творчество. За него фолклорът е неизчерпаем извор и съкровищница на езика и народната душевност, на вярванията и представите на човека за света и природата, за общественния живот и културно-историческото минало. Всичко това дава основание на Н. Сумцов да забележи: "Тонкий и тщательный анализ, выработанный на специально-филологических трудах, с успехом был приложен Потенбнею к этнографии и к исследованию мало-

русских народных песен, преимущественно колядок". В тях Сумцов намира "оригинальное миросозерцание, в основе которого лежало в высшей степени добросовестное и задушевное отношение к личности человека и к коллективной личности народа" ².

Областта на "устната словесност" (фолклора) Потebня е теренист и теоретик. Дейността му като теренист се изразява в прякото наблюдение на живите процеси в народното творчество, а в като теоретик в осветляване на някои важни страни от фолклорния процес. Още в ранните му изследвания се откриват, от една страна, широките етнографско-фолклористични и славяноведски интереси, а, от друга, — прецизност и сравнително-исторически подход при изследване на народните обреди, фолклора, игрите и др. Описаната от него популярна по онова в Украйна пролетна моминска игра "В ворона" се среща и на българския терен под различно наименование, но със сходна символика. И още един спомен за детството: "В детстве я слышал украинскую сказку, в которой хлеб противопоставляется змею... Змея, увидевши хлеб на столе, позавидомал ему и стала спрашивать, как он дошел до такого почета. Хлеб отвечал, что не даром он теперь в чести, что до этого он претерпел многие муки: его молотили, мололи, месили, в печи пекли и затем уже положили на стол. Змея хочет того же, но не выдерживает и первого испытания. Сказка эта носит признаки глубокой древности" (О знач. обрядов, с. 41). Тук ставяме настрана въпросът дали е точно определението като "приказка" или е "етиологична легенда", а може би и "легендарна приказка". По-важно е, че у Ал. Потebня следствена последователност. По пътя на личното впечатление, и конкретно наблюдение се стига до важни теоретически обобщения. Това се забелязва още, когато пише магистърската си работа върху "символите". Личи бъдещият специалист с широк историко-филологически профил и славист-компаративист. От друга страна, това са и признаците на "специализиране" към лингвистичното изследване, съпоставяйки славянския фолклор.

Близо до народа, Ал. А. Потebня осъществява хуманните си стремежи през 60-те години на XIX в. с още едно голямо и народополезно делосъздаване на "Буквар", в който фолклорът намира широко място. Наличието на 200 пословици, 30 гатанки, народни приказки и пр. показват, че Потebня познава и оценява високо ролята на различните фолклорни жанрове. И още един факт за връзката му с народа и неговото творчество. Когато се готви за командировка в чужбина, тѐй предприема "екскурзия" — "пѐшки обѐйти хоть великую частину Украѐны, та придивитись ѐй прислухатись до народного життя ѐ слова". За този поход из Украйна, целта на който е да се вгледа в народния живот, да послуша народната реч и творчество, той иска да се представи достойно, като поръчва да му закупят от Ахтирка "сорочку хорошу мережену из маленьким комѐром" (Листування, с. 100).

Така последователно и дълбоко навлиза във фолклористичната проблематика. Вероятно приносът на Потebня в областта на фолклористиката би бил още по-голям, ако съдбата не го отклонява от повестранното му занимание с народната художествена култура, което става на пръв поглед случайно. Известно е, че заради отрицателната оценка-отзив на П. А. Лавровски по отношение на труда "О мифическом значении некоторых обрядов и поверий" той се отказва от представената като дисертация разработка. Това именно става повратен момент и в изследователската (теренна и теоретическа) на Потebня в областта на фолклорната култура. Така талантливият изследовател се отдръпва от проблемите на народоведението, като за сметка на това спечелва общата филология и в частност лингвистиката. Разбира се той не скъсва изцяло със заниманията си по фолклора, но нататък вече пише предимно "заметки", рецензии, отделни статии. Без напълно да се отказва от "първата си любов" — фолклора, — той се насочва изключително към по-цялостни и дълбоки езиковедски занимания, като естествено винаги привлича творби от народното творчество за илюстрация в своите съчинения. Нещо повече. В едно от писмата си от Прага той съобщава, че е успял да прегледа и някои сборници с творби от славянската народна поезия, които по-рано не е имал възможност да види.

Отбелязвайки мястото на А. А. Потebня във фолклористиката, видно е, че той е в нейните челни редици през втората половина на XIX в., познава различните трудове, школи и направления не само в родината си, но и другите европейски, предимно славянски страни. По отношение на теренната фолклористика той стои близо до съвременното разбиране за записване и изследване на фолклора. Чужд е на nihilизма за "падении народной поэзии" (А. Афанасиев), както и на романтичeskата приповдигнатост в отношението към народното изкуство. Ето защо основателно някои български фолклористи допускат, че «В творческите възгледи на Потebня се откриват моменти стихийен материализъм» (П. Динсков). А за въздействието върху българския учен-фолклорист Д. Матов П. Динсков отбелязва: «Особенно полезен се е оказал за Матов стремежът на неговия учител (Потebня — бсл. К. Д.) да търси изворите на фолклора в самобитната култура на народа» ³.

В своята рецензия на "Народни песни от Галицка и Угорска Русь, събрани от Я. Ф. Головецки", А. Потebня прави твърде съществено, валидно и за съвременния изследовател, обобщение за връзката между текста и мелодията. Той пише: "Нельзя винить наших собирателей за то, что у них относительно легкое записыванье слов не идет рядом с записываньем напевов, которое во многих случаях одно только и может предохранить от неточностей и ошибок в передаче размера. Мы видим, что ...песня, особенно лирическая, без напева теряет половину жизни и цены, что слова, по-видимому ничтожные, получают иногда глубокий, иногда совершенно неожиданный смысл от напева" (Рец. [на кн.] Народные песни, с. 106).

За Потевня фолклортъ реално съществува в своите множество варианти, поради което изследването му може да се извърши както при съпоставяне на отделени творби, така и при сравняване на творби от различни етноси или национални общности. Ето защо още в ранните си трудове той застъпва съпоставки от фолклора на източните славяни с творби на южнославянските народи — предимно сърби и българи. Освен това ползува примери от западните славяни, найвече полски, които знае твърде добре от дългото пребиваване през юношеските си години в полските земи... Занимава го също така въпросът за класификацията и систематизацията на песните, като на места изразява неудовлетвореност по този въпрос от сборниците на Метлински, Головецки, Чубински и др. За него класификацията може да се построи в единство на съдържанието и размера (формата). Проследявайки размера на народните песни, той установява, че в славянските песни най-често срещаните размери са от типа 5 + 3, а понякога и 5 + 4.

Когато говори за "Малоруската народна песен по записи от XVI век" или за "Народните песни от Галицка и Угорска Рус, събрани от Я. Ф. Головацки", той засяга въпроси относно носителя и твореца на фолклора, за измененията, които търпи в историческия си развой фолклорната творба. Прилагайки историко-генетическа и типологическа основа, той разкрива стари пластове във фолклора на славяните въз основа на съдържанието и размерите. Така в т. 2 на "Обяснения малорусских и сродных народных песен" Потевня пише: "Точно также при сходстве содержания и сходстве размера песни великорусской, малорусской, сербской и болгарской вынужден думать прежде всего не про более позднее заимствование, а про первичное родство или про заимствование, столь давнее, что отличить его от первоначального родства уже невозможно" (с. 16).

Значително място в теоретическото наследство на Ал. Потевня върху народното творчество заемат проблемите на поетическите мотиви, теми и изразни средства. В това отношение предмет на наблюдение от видния учен са епическите песни на славянските народи — украинските думи, руските билини, сръбските и българските юнашки песни. По някои езикови особености Потевня се стреми да определи същността и спецификата на "поетическите символи", като на сравнително-исторически план привлича материал от почти всички славянски езици. Във връзка с наблюдаваните от него символи в песните, той търси етническата семантика на думи като: вода, огън, дърво, вятър, нощ, светлина, мраз, път и др. Особено го занимава думата "огън", при чието тълкуване открива определена митологема. Вниманието му привлича образът на сокола, който е широко разпространен в славянския фолклор. В него ученият търси някои реалистични жизнени аналогии във връзка със земеделския и животновъдния бит, с художественото мислене на славяните. Срещат се още образите — символи, като белота, радост, светло (като символ на любим), женитба и др. Той пише: "Как в языке, так и в народной

поэзии понятия желаниа, любви, печали сродны, между собою, потому что выражают в одних и тех же образах внутреннего и внешнего огня... так питье и еда, усмиряющая жажду и голод, служат символами упомянутых с огнем чувств" (О ... символах, с. 9). Опирайки се на сборниците на Метлински, Головацки, Чубински, Караджич, братя Миладинови, Ст. Веркович, Л. Каравелов и др. Потевня тълкува символи "пить-любить", женитбата, символизирана като битка и смърт и др.

Особен интерес Ал. Потевня проявява към изразните средства: епитети, сравнения, паралелизми, запев и др. От епитетите наговото внимание привличат постоянните епитети като важна особеност на славянския фолклор (и не само на него). В "Из записок по теории словесности" (излязла три години след смъртта му — 1894 г.) А. Потевня допуска вероятност понякога постоянният епитет да се сресне с обикновеното определение. Тълкувайки твърденето му, че "постоянство стилиа зависит не от связи эпитета с этимологией слова, а от общего подчинения певца преданию", някои изследователи посочват това като противоречие⁴. Разглеждайки сравнението като вид тропа, Ал. Потевня се спира на паралелизма, който може частично да се появи в запева или като присъствие в цялата творба. Стига се до извода за тристранното отношение на "символа към определяемото: сравняване, противопоставяне и подчинено отношение". В "Обяснения" четем, че "сравнение выражается в народной поэзии или так, что символ вполне соответствует своему предмету, или так, что тем и другим полагаются некоторые различия" (Обяснения... песен, с. 237).

Широко място е отделено на отрицателното сравнение и свързания с него паралелизъм, чиято роля може да бъде различна в зависимост от запева (въведението). А според М. Я. Голберг "Потевня ставит вопрос о зависимости зачина от жанровой природы песни"... или от някои "формы песенных зачинов: 1. Песня начинается без приступа, прямо с события, действия или речи действующего лица... (пример «Женитбата на Вълкашин») 2. ... — указание на возбужденное состояние самого певца, на то, что он "поражен удивлением" («Боже мили, чудо великога»); 3. Иногда песня начинается с обращения к действующему лицу. Такой зачин особенно распространен в песнях болгарских, но встречается и у других славянских народов («Стояне, море, Стояне»); 4. Потевня особенно говорит о тех зачинах, в которых непосредственное восприятие является исходною точкою мысли...»⁵

Като спира вниманието си на паралелизма и славянската антитеза, Ал. Потевня търси и тук историко-генетическите корени и връзки между славянските народи. Особено място е отделено на психологическия паралелизъм, на славянския народен стих и възможностите, които предоставя комплексното разглеждане на песента като единство от текста, мелодията и ритъма. Така още веднъж се обус-

лявя приносния характер на фолклористичните теренни работи и теоретически възгледи на Потebня.

Както с конкретните си работи като събирач и особено като теоретик на фолклора, Ал. Потebня е твърде популярен сред българските фолклористи и филолози както в миналото, така и днес. Трудовете му се използват от редица изследователи — било отделно, било във връзка с дейността на Марин Дринов. Не е прав М. Голберг, когато разглежда М. Дринов като ученик на Потebня. Той е негов колега и приятел. От българските филолози и народоведи Димитър Матов е прекият ученик на Ал. Потebня. Той е студент при него и при М. Дринов в Харковския университет. Когато изследва творческия път на рано починалия български учен (Д. Матов), М. Арнаудов пише: "...той е минал школата на един Дринов и особено на самия Матов върху фолклора и езика, като напр. "Бележки върху българската народна словесност" (1894), "Невярна Груйовица. Баладен мотив из нашата народна поезия" (1895), "Верзивуловото коло и навите" и др. Особено ползотворен се оказва усвоеният от Потebня сравнителен метод на изследване въз основа на фолклорни и езикови данни.

Името и делото на Ал. Потebня е известно в България не само чрез преките му ученици и приятели. В голямата си и с програмен характер студия "Значението и задачата на нашата етнография" (СбНУ, т. 1, 1889) известният български учен проф. Ив. Д. Шишманов, когато прави преглед на различните възгледи за фолклора, очертава и мястото на Ал. Потebня. Ценни и възторжени мисли за украинския учен изказва ученика и приемника на Шишманов проф. Михаил Арнаудов. От трудовете на Потebня още през 90-те години на века (1893—97 г.) черпи идеи и примери в работите си българския изследовател Н. Бобчев, когато изследва "изображението в българската народна епика". Особено е влиянието в работите на Ат. Илиев върху "растителното царство в народната поезия". Той привежда много примери от трудовете на Потebня, като тълкува образи-символи, поместени в "Обяснения малоруских и сродных песен". Тях съпоставя с нови образци от българското и въобще от южнославянското народно творчество⁷. От значение е да отбележим, че известния украински поет и изследовател Ив. Франко, проявяващ последователен интерес към България (за негова чест отказал да заеме професорското място на уволнени от цар Фердинанд преподаватели в Софийския университет) пише за Потebня като учен на целия славянски свят в работа "Притча за единорогия и

нейният български вариант" като го помещава в капиталния български "Сборник за народени умотворения, наука и книжнина" (1896, т. 13).

Не е за подценяване и отношението на самия Потebня към обнародваните български народни песни. Особено това е видно в големия му труд "Обяснения малоруских и сродных народных песен". Това е найголемият компаративистичен труд на Ал. Потebня, където той е направил широки и убедителни съпоставки. Ученият е познавал твърде добре излезлите към средата на XIX век (предимно 1860 и 1861 г.) български сборници с публикувани творби. Познавал е напр. "Памятники народного быта болгар" от Л. Каравелов, "Народне песме македонски бугара" от Ст. Веркович, "Български народни песни" от Огюст Дозон, подбрани песни от П. Безсонов, обнародваните западнобългарски песни от В. Качановски и др. Особено го е впечатлил сборникът на братя Миладинови "Български народни песни" (1861 г.), чийто прецизен и обилен материал е използвал широко. В т. II на "Обяснения..." той привежда редица примери: в ч. I («Размер»), II ч. («О времени коледования и щедрованья»). В трета част («Цель колядок и щедровок») обяснява на с. 52: "Сравнение в виде противопоставления, сходное с малорусским: "на хаті зілля, в хаті весілля" до размера включително, нахожу в болгарской песне, которая приведена у Миладиновых, 443, как безыменная, но, по-видимому, есть заключение величальной песни с одним из годовых признаков:

Еребичице ребум шарена!
По поле шетащ, високо летащ,
Далеку гледаш, Бога ми молиш:
На куки слава, во куки слава,
Да му е жива домакину глава!

Иней («слава») сближен со «слава», как светлый, блестящий (К. ист. звуков, ч. IV, с. 57). В IV част, след като посочва, че коледарите събуждат господаря и му пожелават "радост" у дома («на дворе» или «на оборі»), цитира българската коледарска песен: "Стани нине, господине! Спиш ли, спиш ли, разбуждай се... Добри са ти гости дошли... Подобар глас донеле... Овци ти (овци ти се) ...изягнали..." и т. н. Под линия стои обяснението: "Хорошо гости пришли, а еще лучше вести принесли". Тези примери А. Потebня отново съпоставя с други български народни песни от сборника на Качановски («Западно-български песни»), цитирайки:

Стани нине господине,
тебе пеем (поем), Бога славим...

Потebня взема примери и от Каравеловите "Памятники народного быта болгар", както и от други сборници във връзка с обосноваване началото на коледните песни. Той тълкува обръщението "стани нине" и според него "ссть не что иное, как "въ(з) стани нине". Это очевидно из того, что вместо этого встречаем и "стани горе (как в мало-

рус. и хорв), поглед нине” (ач. 77) и “стани сега (-нине), господине (Карав. 213)”. Целта на Потebня е да докаже “как выветривается вещественное значение слова” (Объяснения... песен, ч. 2, с. 74).

Могат да се посочат и други примери, които илюстрират научните интереси и познанията на Ал. Потebня по българския фолклор и по-общо по българистичната тема, но едва ли това е нужно в тези подробности. Изводът е, че той борави компетентно и подробно с материала, което показва и осведомеността му по българското народно творчество. На какво се дължи това. Вероятно основна роля играе преди всичко собствената му научна ерудиция и стремежът да обхване творчеството на всички славяни. Струва ми се, че трябва да споменем и друг немаловажен фактор — искрената му дружба с дългогодишния (над 30 години) български професор в Харков — Марин Дринов. Александър Афанасиевич “открива” талантливият български изследовател, току-що завършил Московския университет и нает за частен учител в княжеското семейство Голицини. Той го препоръчва на научната колегия в Харковския университет. М. Дринов и А. Потebня, които са почти връстници (Потebня е роден в 1835, Дринов — в 1837 г.), са два колоса в университета и в науката. Ползотворното им сътрудничество в научната и в преподавателската дейност не остава незабелязано от преподаватели и студенти, които ги обичат и следват. А. Потebня и М. Дринов общуват, разменят си информация, книги и пр. Вероятно чрез библиотеката на Дринов Потebня навлиза по-дълбоко в българистичната проблематика⁸. Потebня неведнъж дава висока оценка на трудовете на Дринов, убедително узтъквайки достоинства им, в т. ч. ползуваните широко “източници от гръцки и латински език”, както и литература на немски, френски, италиански и почти всички славянски езици⁹. Още два факта за взаимното уважение и научните стремежи на двамата видни славяноведа. М. Дринов написва чудесно аргументиран отзив върху докторската дисертация на Ал. Потebня “Из записки по русской грамматике”, т. I и II.

М. Дринов запознава Потebня не само с езика и културата на българския народ, с неговото историческо минало, но и със злочестата му съдба по турско робство и особено при жестокото потушаване на Априлското въстание през 1876 г. Ал. Потebня се включва в организираните от Дринов сказки за България и българския народ и за подпомагане на пострадалото население. След Освобождението, когато Дринов е за около две години в България като “устроител” на новата българска държавна власт, Руското Географическо и Археологическо дружество в Санкт-Петербург разработва програма за научна експедиция в България, а като “познавач на език, древностите и бита” организаторите се обръщат към Потebня, като му препращат “прилагасмую при сем записку, е ровно и предварительные соображения А. Н. Пыпита”¹⁰.

Пълна откритост, дружба и взаимно разбиране в научните търсения това характеризира отношенията между Потebня и Дринов, независимо

че всеки свой почерк и собствени акценти в научната работа. Това, което ги обединява е последователността в работата. И двамата тръгват от конкретната събирателска (теренна) работа в младежките си години и то по фолклора, като постепенно се извисяват в науката през “академическия” период от техния живот. Макар Дринов има предпочитание към историографията, а Потebня към лингвистиката, те записват и обнародват народни песни (М. Дринов предоставя на В. Чаков такива песни, който пък ги препраща на Миладинови. А от Миладинови сборник ползува примери Потebня, следователно и от Дринови записи). Даже твърде е възможно в съставената от Дринов и публикувана през 1869 г. програма за събиране на фолклорни и езикови материали, известна като “Писмо от Българските читалища”¹¹, да е ползувал преки консултации от приятеля му Потebня, който през 60-те и 70-те години вече е изтъкнат учен. В областта на фолклорната теория достатъчно е да погледнем публикациите на Дринов, за да установим сходство във възгледите и подходите по “митологията” на славяните или по “частни” въпроси. Такива са: “Сказание о Святогоре и Земной тяге в южнославянской народной словесности” (1895), “Медно (бакърно) гумно, меден ток в словеските и гръчките умотворения” (1900), статията “Несколько слов об языке, народных песен и обычаях дебрских славян” (1887) и др., написани на сравнителна основа, както у Потebня¹².

Като лингвист интересите му са насочени предимно към проблемите на общото езикознание в неговата философско-психологическа интерпретация (съотношението: мислене — език, език — народност и народне съдба). Той разработва отделни съставки на граматиката (фонетика, морфология, синтаксис, семантика с лексикология), занимава го генезиса на езика и др. въпроси. Впослствие разработва обща теория за словесността (и до сега остават твърде ценни насоките му за литературната теория), пише по етниграфски и фолклористични въпроси. Така от общите постановки за благотворното взаимодействие на мисленето и език, той стига до глобални обобщения по отношение на “поетическия” език и мислене до художествената образност, в т. ч. до фолклорната изобразителност. Ал. Потebня оформя своя естетическа теория, която има рационалистичен характер. Той свързва художественото с научното познание, защото и в единия, и в другия случай на лице е работа на мисленето на отделения човек — индивидуално или в рамките на определена социална група.

Научното наследство на А. Потebня по езика, митологията, фолклора, естетиката, поетиката и пр. има вссообщо значение и то не принадлежи само на украинския народ, а и цялото славянство и света.

С широките си интереси и висока ерудиция А. Потebня наподобява ренесансов деец, макар и като вариант в друго време. В своите научни разработки, освен источнославянската, застъпва и общославянската те-

матика на європейски компаративистичен план. И все пак Потебня е син на своя українски народ, но с научните резултати той е един от строителите на дълбокото филологическо изследване, което далеч надхвърля времето и националното пространство.

Във фолклористиката А. Потебня оставя значителен принос и като събирач на конкретни фолклорни материали, и като теоретик, който обръща внимание на същността и съдържанието на фолклора (в частност на песента), на древните представи, на редица изразни средства. Привърженик на сравнително-историческото, генетическо и типологическо проучване, той е своеобразен предвестник на съвременния културологичен метод при изследване на фолклора.

Научното наследство на А. Потебня има голямо значение. Разностранни са неговите интереси и в областта на филологията, и в областта на изкуството (предимно на словото). Опирайки се на езика, фолклора, на наследената и съвременната култура, осмисляйки последователно етническото развитие, между-етническите връзки и взаимодействия, той се домогва до общите закономерности при езиковото общуване, мисленето и културния процес. Ал. Потебня разкрива редица важни страни и особености в бита и душевността на народите. Със своя демократизъм и хуманизъм той ратува за духовния подем на човека и обществото.

Александр Потебня — видный украинский ученый, который принадлежит славянству и миру. В фольклористике он оставил значительный вклад и как собиратель фольклорных материалов, и как теоретик, обратил внимание на сущность древних представлений, разных выразительных средств, содержание фольклора. Сторонник сравнительно-исторического и генетико-типологического исследований, он стремился записывать песни в единстве текста, мелодии и такта, которые представляют автора как предшественника современного комплексного исследования фольклора.

¹ Обнародовани са в: Труды этн.-статистической экспедиции западнорусского края // Чубинский П. Н. Сочинения. — СПб., 1974. — Т. 5.

² Сумцов Н. Ф. А. А. Потебня // Энциклопедический словарь. — П., 1889. — Т. 24. — С. 728.

³ Диневков П. Български фолклор. — София, 1980. — Ч. 1. — С. 132.

⁴ Бобкова В. С. О. О. Потебня про художню символку народної поезії // Нар. творчість та етнографія. — 1960. — № 4.; Гольберг М. Л. Проблемы народно-песенной стилистики в работах А. А. Потебни // Рус. фольклор. — 1968. — Т. 8. — С. 336—356.

⁵ Гольберг М. Л. Проблемы... — С. 349—351, 355.

⁶ Арнаудов М. Очерки по български фолклор. — София, 1968. — Т. 1. — С. 348. От ново, говорейки за М. Драгоманов, Арнаудов споменава за Потебня “гениалния украински лингвист и изследвач на украинските и сродните славянски, та български обредни песни” (с. 381).

⁷ Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. — 1892. — Т. 7; 1893. — Т. 9; 1894. — Т. 10.

⁸ Шумада Н. С. Українсько-българські фольклористичні зв'язки (період болгарського відродження). — К., 1963. — С. 119.

⁹ Сумцов Н. Ф. Вступление проф. М. С. Дринова в Харьковский университет // Почетъ. Сборники статей по славяноведению, посвященных проф. М. С. Дринову. — 1908. — Т. 15. — С. 271 — 272.

¹⁰ Цит за: Франчук В. Ю. О. О. Потебня і Болгарія // Мовознавство. — 1985. — № 4. — С. 28.

¹¹ Дринов М. Съчинения. — София, 1911. — Т. 2. — С. 259 — 263.

¹² Подробно: Романска У. М. Дринов като етнограф и фолклорист // Изследвания в чест на Марин Дринов. — София, 1960. — С. 145 — 168.

М. А. МАЦЕЙКІВ

ПИТАННЯ ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ О. О. ПОТЕБНІ

У статті висвітлюються питання етнічної психології, підняті в працях О. О. Потебні. Розкрита актуальність його ідей, присвячених вишикненню етнопсихології як самостійної галузі, що вивчає вищі духовні утворення — мовлення, мислення, свідомість, самосвідомість тощо. Висвітлюються питання етнічної психології, які розуміються ним як проблеми, що вводять мову в психічне життя і дають змогу пояснити її певними психологічними закономірностями.

Інтерес О. О. Потебні до народної психології значно активізувався у зв'язку з виділенням її у самостійний напрям науки, де вивчалися вищі духовні утворення (мовлення, мислення, самосвідомість і т. ін.). Ідея народності хвилювала громадську і наукову думку, передових діячів літератури і мистецтва середини минулого століття, що було спричинене передусім загальним ходом розвитку людства. Своє відображення ця ідея дістала в усіх сферах духовного життя і культури. Народна психологія тісно межувала з фольклористикою, етнографією, мовознавством, котрі, в свою чергу, переживали тоді період самовизначення. Неподільність цих ланок знання і їхня взаємопроникність були характерними для часу, в якому жив і працював О. О. Потебня, і цим зумовлюється ряд рис у нових напрямках його наукових пошуків. Так, із самовизначенням психології, в міру того, як вона утверджувалася серед інших наук, відбувалася і орієнтація на неї як на “пояснювальну” науку щодо мовознавства й етнографії¹.

Займаючись історією, фольклором, літературою і мовою, О. О. Потебня старанно вивчає духовне життя народу (мова, казки, пісні, звичаї розглядаються ним як прояви народної психології), прагне знайти таким чином додатковий матеріал для розбудови мовознавства. Цим визначається його інтерес не лише до народної психології, а й до психології взагалі. Ще задовго до появи в 1886 р. статті В. Вундта про цілі й шляхи етнічної психології — в 40 — 60 роках члени Російського Географічного товариства² М. І. Надсждін,

© М. А. Мацейків, 1992

К. Д. Кавелін (сюди можна віднести й О. О. Потебню) сформулювали основні принципи етнічної психології.

Вони вважали, що потрібно прагнути до визначення характеру народу шляхом вивчення його психічних властивостей в їх взаємозв'язку. Народ є така ж органічна істота, як і окрема людина, тому необхідно досліджувати його звичаї, забобони, спосіб мислення, але розглядати їх у взаємозв'язку, стосовно єдиного народного організму, таким чином виявляється особливості, що відрізняють один народ від інших. В О. О. Потебні було своє бачення розвитку етнопсихологічної науки: чільне місце він відводив при цьому принципам романтизму та ідеалізму. Деякі висунуті ним положення випередили свій час, зокрема вивчення психіки людини за продуктами духовної діяльності — пам'ятках мови, фольклору, вірувань, культури взагалі. О. О. Потебня під впливом праць М. Лацаруса і Х. Штейнтала, що були покладені в основу "психології народів", висловив ці думки ще до В. Вундта.

Слід зазначити, що О. О. Потебня дає ряд методологічних вказівок. Насамперед щодо правильного співвідношення особистісного і того, що притаманне етнічним спільностям як таким, відрізняючи при цьому те, що властиве даній етнічній спільності — народу і що запозичене в інших. Народність потрібно спостерігати і вивчати в реальному живому побуті народу, але народ існує в безкінечній кількості окремих одиниць особистостей, до того ж слід врахувати взаємні впливи народностей, в яких відбувається на думку О. О. Потебні, обопільний обмін понять, слів, звичок, одне слово — всіх національних особливостей, котрі, завдяки властивій людській натурі об'ємності, так поєднуються, що видаються вже звичками і рисами їх самотнього образу.

Головною рисою концепції народної психології, яку розвивав і розробляв О. О. Потебня, стала висунута в минулому столітті думка, що початком і основою народної психології є мова, котра зумовлює існування етнічних спільностей. Питання етнопсихології розуміються ним як проблеми, що вводять мову в психічне життя і дають змогу пояснювати її певними психологічними закономірностями. Усвідомлення народної єдності як спільності встановлюється єдністю мови. Спілкування народу зумовлюється єдністю елементарних прийомів мислення, вираження в системі мови, отже, мовна приналежність створює об'єктивні умови формування психічної діяльності народу. О. О. Потебня доводив, аналізуючи взаємозв'язок мови і мислення, що свідомо діяльність є перша в часі подія, оскільки через мову здійснюється перехід від "підсвідомості до свідомості" (Естетика, с. 69).

Мова дає систему зображення (вираження, відбиття) думок і повідомлення (передавання, переказування) їх. О. О. Потебня, як і Ф. І. Буслаєв та В. Гумбольдт, переносив відношення, факти і залежності індивідуальної психології на народну. Етнопсихологія як нова га-

лузь психологічної науки, змістом якої є дослідження ставлення індивідуального розвитку до народного, повинна показати можливість розрізнити національні особливості і побудови мов як результат спільних законів буття. Закони духовної діяльності єдині для всіх часів і народів, вважав О. О. Потебня. Деякі ж відмінності спричинені діючою на мову думкою, тому перша вічно твориться, справляючи зворотний вплив на другу, переводячи її на вищі ступені розвитку. О. О. Потебня відмовляється від погляду на мову тільки як засіб означення вже готової думки і від того, що прихильність до своєї мови є лише справою звички. Він доводить, що мова тому тільки служить означенням думок, що вони суть способу перетворення первісних, доязичницьких елементів думки і в цьому розумінні можуть бути названі її засобами. Загальнолюдські властивості мов полягають у тому, що несуть системи символів, служниць думки. Інші ж властивості мов визначаються приналежністю до тієї чи іншої етнічної спільності.

Шлях вирішення завдань етнопсихології — порівняння явищ духовної культури, що залежить від кількості матеріалу, його деталізації. Остання включає описування та аналіз розумових і моральних нахилів, сімейних стосунків і виховання дітей, а також мовних пам'яток усної народної творчості. О. О. Потебня, як і Н. І. Надеждін, відзначав, що народна творчість характеризує народний темперамент, домінуючі пристрасті і пороки, поняття про добротність і правду.

Таким чином, у середині минулого століття було покладено початок новій галузі психології — народної психології (психологічна антропологія), одним з основоположників якої був Потебня. Лише в останній чверті XIX ст. у Німеччині за редакцією М. Лацаруса і Г. Штейнтала почав виходити перший в Західній Європі "Журнал народної психології та мовознавства".

Питання про нації і раси було актуальним для європейської науки в другій половині минулого століття у зв'язку з політичними подіями — національними рухами, колоніальною експансією. Погляди О. О. Потебні були близькими до поглядів М. М. Миклухо-Маклая, М. Г. Чернишевського, І. М. Сеченова, які заперечували поділ на вищі і нижчі раси. Так зливається водноє матеріалістичний напрям психології, що йде за ідеями І. М. Сеченова, з прогресивним напрямом етнографії та мовознавства, всередині яких розвивались ідеї етнічної психології. В цьому відношенні конкретні матеріали О. О. Потебні з етнопсихології, що включені в статті, лекції і доповіді, служать науці про людину. Праці вченого, крім теоретичних проблем власне етнічної психології, насичені спостереженнями, єдиними в своєму роді, оскільки зроблені дослідником, що стояв на прогресивних і передових позиціях, спираючись на досягнення вітчизняної та світової науки.

В умовах пришвидшеного розвитку в другій половині минулого століття мовознавства та етнографії нове німецьке видання "Журнал

народної психології та мовознавства”³ привернуло увагу О. О. Потебні. Український вчений, як і автори журналу, вважав, що кожний народ має свій особливий склад думки, свідомості. Тому необхідна і наука про народний дух, яка була б складовою частиною до психології і відкривала ті закони людського духу, котрі виявляються там, де люди діють спільно, як єдність. Предметом дослідження німецькі вчені теж оголосили “дух спільності” (сукупності), а народна психологія трактувалася ними як психологія суспільної людини. Суспільство, відповідно до їхніх поглядів, виникло при поділі людського роду на народи. Отже, народна психологія повинна насамперед пояснити людину, виходячи з соціально-психологічних характеристик. Таким чином, дослідження народного духу відкривало шлях до вивчення рушійних сил суспільства, а через психологію повинні були пізнаватися закони суспільного розвитку. Нова дисципліна мала вивчати закони людського духу, що застосовувалися там, де спільно живуть і діють люди як певна єдність.

Складовими елементами народного духу, за визначенням О. О. Потебні, є мова, міфологія, релігія, народна творчість. Мові, як і В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, учений відводив особливу роль: вона є нашим спільним духовним органом, через неї відбувається духовне єднання етносу, оскільки у взаємному розумінні того, хто говорить, і того, хто слухає, виростає свідомість і пробуджується почуття їх спорідненості. Такий вплив можливий через особливості мови, адже в ній відбивається світогляд народу і водночас вона сама є відображенням споглядальної діяльності.

За всіх відмінностей складових елементів народної психології від індивідуальної, перша мислиться О. О. Потебнею як народження другої, тобто і та, і та вивчають процеси, притаманні індивіду, хоча властивості національної культури як цілісності і властивості індивідів, що складають етнос, не тотожні. Обґрунтування цього методологічного принципу полягало в тому, що дух живе тільки в індивідах і не має існування поза ними. Звідси випливав висновок про те, що і народна психологія повинна вивчати ті самі основні процеси, що й індивідуальна. Згідно з прийнятою схемою методів і принципів поділу психічних процесів (почуття, воля, мислення) відбувався і розподіл суспільних форм свідомості. Релігія відносилася до почуття, міфологія — до мислення, народна творчість — до уявлення і т. д. Народний сукупний дух розкладався на елементи, і відбувалося їх групування.

Таким чином, невідповідність між прийнятими методами індивідуальної психології і поставленими соціально-психологічними завданнями призвела до деяких проблем. Одна з них - питання про застосування інтроспективного методу. Новим був підхід О. О. Потебні до дослідження народної психології шляхом вивчення відкладених у мові форм світогляду народу. Але тоді психологія народів мала б перетворитися, як у М. Лацаруса та Р. Лотце, у своєрідну теорію історичних явищ: культури, мови тощо. Та цим не охоплю-

валися поставлені завдання, бо пропонувалося вивчати не процеси, а тільки результати психічної взаємодії — мову, міфологію, поезію, релігію, фольклор і т. ін. Хоча О. О. Потебня уже виявляв інтерес і до явищ соціальної організації народів.

У системі В. Вундта, що була викладена ним у статті “Про цілі і шляхи етнічної психології” та в фундаментальній праці “Психології народів”, психологічна наука поділялася на фізіологічну і історичну психологію. Остання мала вивчати історію людської культури з метою пізнання вищих проявів психічної діяльності людини. Тут же було визначено місце і психології народів. Зміни, які В. Вундт вніс в етнічну психологію, полягали насамперед у тому, що вона включалась до загальної системи психології, котру учений розробляв і яка посіла провідне місце у світовій психологічній антропології⁴.

Ті зміни, про які говорив О. О. Потебня і які він оцінював як принципіві, стосувалися заміни гербартіанської психологічної теорії і вундівського вчення про аперцепції, асоціації та вольової дії. Тобто на місце гербартіанської спільності уявлень приходила вундівська спільність волі. Одна психологічна теорія замінювалася на іншу, побудовану в тих же межах інтроспекціонізму. Стосовно етнічної психології зберігалась та сама посилка — принципи пояснення народного духу як великої кількості душ залишилися ті самі, що і в одиничній індивідуальній свідомості. Подібно до того, як в індивідуальній психології вважалось необхідним розкласти свідомість на елементи і з'ясувати їхні зв'язки та способи групування, як елементи уявлень і волі відносились до складних уявлень і вольових дій, у народному дусі співвідносились душі, що є сукупною особистістю, самостійною єдністю. На народну психологію переносилися закони індивідуальної психології, котрі трактувалися згідно з ученням В. Вундта, який спирався на установки асоціативної психології. Разом з поняттям аперцепції в неї привносилося і уявлення про активність душевної діяльності.

Прийняте положення не означало, звичайно, що за етнічною психологією не визнавалося власної галузі дослідження. Такою галуззю О. О. Потебня, як і В. Вундт, вважав процеси, пов'язані з духовними спільностями людей. Тобто ставлення людини до духовного середовища і є її ставленням до духовної спільності. При цьому індивідуальна свідомість виходить за межі власної детермінанти. Субстратом духовної спільності, за О. О. Потебнею, є мова, міфи уявлення традиції. Він доходить думки про взаємозумовленість одиничного і цілого — народна душа є витвір “одиничних” душ, з яких вона складається. Визнаючи, що психічні явища, породжені спільним життям, має вивчати народна психологія, О. О. Потебня бачив їхні джерела в індивідуальній свідомості, оскільки тільки в ній вони можуть існувати. Духовна сукупність життя народу не існує поза психічними явищами, хоча продукти її: мова, міфи, релігійні традиції — об'єктивні. Таким чином, вважав О. О. Потебня, можуть існувати спільні закони ду-

ховних явищ, котрі не присутні уже в законах індивідуальної свідомості. Оскільки емпіричні факти, зібрані членами Російського Географічного товариства, та роботи В. Вундта свідчили про новий пласт психічних явищ, що виходять за межі однієї психіки. Проблема індивідуальної та суспільної свідомості поставала перед дослідниками, але вона не могла бути розв'язана на тому рівні науки, яка лише робила перші кроки.

У своїх дослідженнях О. О. Потебня керувався положеннями народної психології М. Лацаруса, Г. Штейнтала, а також М. І. Кавеліна, що полягали в методі вивчення її шляхом аналізу результатів чи продуктів духовної діяльності людини, що зводила розуміння духовних утворень культури до психологічних і генетичних законів. Ця ідея, запропонована названими вище авторами, була частково прийнята О. О. Потебнею, який прагнув знайти психологічне пояснення суспільним явищам.

Отже, в європейській та вітчизняній науці обставини склалися так, що дослідження народної психології (психологічної антропології) стало справою етнографів і мовознавців (В. Гумбольдт, М. Лацарус, Г. Штейнталь, Ф. І. Бусласв, І. І. Срезневський, О. О. Потебня та ін.). Підтримана і розвинута думка про те, що основою народної психології є мова, якою пояснюється існування етнічних спільностей. Ця думка найтісніше була пов'язана з психологічним напрямком у мовознавстві та літературознавстві (В. Гумбольдт, Д. Н. Овсяннико-Куликовський). Головною рисою народної психології стає її зв'язок з мовою. Такий підхід найбільш яскраво виявився у працях О. О. Потебні.

Особливу увагу О. О. Потебні привертас ідея В. Гумбольдта⁵ про те, що мова є діяльність і тут у вченого на перший план виступас ідея розвитку мови, яку він розглядає як поступальний процес, як перехід від нижчих форм до вищих, а також як появу нових форм: "Заміна простої форми не є лише латка на старому платті, а створення нової форми людської думки" (Зап. по р. гр., т. I — 2, с. 66). Діалектичний характер процесу розвитку народу О. О. Потебня вбачав у його історичності. Духовне життя певної спільності людей, подібно до всього існуючого, має історію, тому "всьяке пізнання, по суті, є історичне" (Естетика, с. 306).

Використовуючи психологічні поняття, він не поділяє повністю ні гербартивської, ні штейнталівської схем. Так, приймаючи діалектику роздумів В. Гумбольдта про співвідношення суб'єктивного і суспільного в мові, відчуває незадоволеність від того, що, розглядаючи "відношення мови до духу народного", В. Гумбольдт інколи "не міг відірватися від метафізичної точки зору" (Естетика, с. 70 — 71), що саме поняття "суспільності" (спільності) трактувалося ним ідеалістично абстраговано — як "дух народу", "дух нації" і нагадувало гегелівський "світовий дух". Утвердження В. Гумбольдта про тождність мови і "духу народу" є, на думку Потебні, наслідком непорозуміння. Учений погоджується з тим, що дух без мови не-

можливий, але саме поняття "дух" тлумачить по-іншому: "Мову й дух, як послідовні прояви духовного життя, ми можемо разом виводити з "глибини індивідуальності", тобто з душі як початку, що утворює ці явища і обумовлює їх своєю потаємною сутністю" (Естетика, с. 69). Отже, виходячи з положення, що мова є самосвідомістю, світоглядом і логікою, "духом народу", представники теорії психології народів вивчали її як виразника "духу народу" — народ. Тому, стверджували вони, повинна бути наука про народний дух як складова психології, що пізнає його, як пізнає індивідуальна психологія особистість. "Дух народу" проявляється насамперед у мові, потім у звичаях і традиціях, установах і вчинках.

Висунуте О. О. Потебнею положення про єдність свідомості й мови має важливе значення для розуміння ролі останньої в національному самоусвідомленні людини як часточки певної спільності. Представляючи собою абстрагування від дійсності і створюючи умови для узагальнення, мова дає людині змогу проникнути в цю дійсність, орієнтуватися в ній, пізнавати її. В силу цього дозволяє людині глибше орієнтуватися в самій собі, усвідомлювати свої фізичні стани, думки, почуття, прагнення і т. ін. Звідси за асоціацією зі словами своїх та чужих дій, окремих психічних станів і полягає найперший, початковий етап пізнання людиною самої себе, перша стадія в розвитку національного самоусвідомлення. Наступна важлива стадія, на думку вченого — формування самоусвідомлення особистості, пов'язане з розвинутою мовою, що виражається в здатності спілкуватися з іншими людьми.

Об'єктом психологічного дослідження О. О. Потебня вважав насамперед вивчення конкретних та історичних форм мислення, оформлених у різних мовах по-різному, протиставляючи їх позаісторичній і абстрактній логіці, що не знає національних відмінностей. Він розробляв історію мови в плані еволюції мовної самосвідомості східнослов'янських народів, прагнучи вивести цю еволюцію із самої мови, не зводячи її до процесів індивідуальної свідомості (що можна сказати про його учня і послідовника Д. М. Овсяннико-Куликовського). О. О. Потебня довів, аналізуючи взаємозв'язок мови й мислення, що свідомо діяльність утворюється за допомогою мови і вона у цій діяльності є першим утворенням у часі, оскільки через мову відбувається перехід від підсвідомості до свідомості.

Розвиток національної свідомості є послідовно-закономірний процес. Його етапи можуть бути прослідковані як на прикладі окремого індивіда, так і у великих масштабах на історії народу. О. О. Потебня вважав, що свідомість зароджується на певному етапі розвитку психіки і першою її клітиною є слово. Певному рівню психічного властива чуттєва рефлексія — "нижчі форми думки", котрі згодом перетворюються на мову. І в цьому питанні його думки співзвучні думці відомих психологів П. Р. Чамати, Є. В. Шорохової, котрі вважали, що утворення уявлення про себе є актом свідомості, не-

можливим без мови, оскільки як самосвідомість, так і свідомість виникають і розвиваються у формах мовлення⁶.

Таким чином, можна сказати, що, відповідно до критеріїв, прийнятих О. О. Потебнею, мова в його концепції стає "одиницею" психіки: генетично передує вищим психічним утворенням, структурно через знаки детермінує їх, є їхньою універсальною складовою в тому розумінні, що психічні процеси завжди явно чи приховано включені в мову, мовлення (мовне спілкування). Тому вищим і універсальним інструментом, що моделює психічні функції, є слово. Ми маємо тут відкрити, що чекає на дальший розвиток, концепцію, котру свого часу розвивав Л. С. Виготський як одну з небагатьох у світовій психології, спілкування у нього стає "одиницею" психіки. Він звернувся під впливом О. О. Потебні до аналізу таких важливих і складних проблем, як структурні механізми, що пояснюють соціальність психіки, тобто до загальнотеоретичної розробки природи психічних функцій знака.

У своїх працях О. О. Потебня приділяє особливу увагу питанням генезису свідомості й самосвідомості. Є підстави думати, що, поряд з дослідженнями з історії мови й культури, на формування генетичних основ його світогляду, на розуміння ним суті природи психіки значною мірою вплинули власні спостереження, аналіз психічної діяльності дітей. Дані психології дитини він використав як аргументи при обговоренні філософсько-психологічних питань мови, зокрема в полеміці про виникнення граматичних категорій, при доведенні того, що слово розкриває суть явищ дійсності.

О. О. Потебня розумів, що без старанного вивчення розвитку дитячої психіки, її вікових особливостей не тільки побудувати теорії виховання і навчання, а й розв'язати проблеми загальної та соціальної психології, на яких базується етнопсихологія. Відомо, що категорія генезису відіграла методологічну роль у науці минулого століття, і це призвело до ствердження генетичного методу як одного з основних. Зокрема, в Потебні він покладений в основу історичного аналізу свідомості. Такий підхід у дослідженні етнічної самосвідомості також важливий і як визначення методологічних позицій при аналізі розвитку самосвідомості в онтогенезі.

Етнічна самосвідомість, як і свідомість та самосвідомість, не вроджені у людини, хоча деякі передумови до їх виникнення і розвитку існують уже в немовляти. До них належить та єдність організму, котра є матеріальною основою єдності і тих вроджених відчуттів і почуттів, у яких знаходить своє відображення органічне життя людини в середовищі її етносу. Щодо значення цих передумов у формуванні початкового уявлення про етнічну свідомість і самосвідомість О. О. Потебня висловлював досить сміливі думки. Він враховував усю сукупність органічних факторів, хоча для нього безсумнівним залишалося те, що в загальній сумі тих із них, які сприяють формуванню свідомості і самосвідомості, одні мають більше значення, інші — менше.

О. О. Потебня стверджував, що розвиток етнічної самосвідомості є послідовно-закономірним процесом. Етапи його можуть бути простежені як у окремої людини, так і у великих масштабах на прикладі історії народу. Тому, виходячи з принципу історизму, психологічна антропологія, на його думку, повинна бути генетичною наукою. При цьому він проводить аналогію між розвитком свідомості та самосвідомості в онтогенезі й філогенезі. Розвиток психіки індивіда, вважав Потебня, починається з неясних, злитих, безвідносних переживань, у яких спочатку немає поділу на "Я" і "Не-я". Немає ще протиставлення між "внутрішнім дійовим початком" і "зовнішнім відчуттям". Отже, самосвідомість виникає в людини внаслідок роздвоєння цих психічних станів, причому одночасно із свідомістю, хоча є й інші точки зору, наприклад, В. М. Бехтерева, Л. С. Виготського, Ч. Кулі, Дж. Міда та ін.⁷

У психологічних методах вивчення етнічної культури самосвідомості О. О. Потебня побачив шлях до розкриття не лише взаємозв'язку мови й мислення, а й міфологічного, художнього і наукового пізнання світу. Порівняльний аналіз у поясненні фактів мовної свідомості допоміг йому показати, як мовне мислення різним чином виявляється в різних народів⁸. У його вченні історія людської мови постає як історія людської думки, людської культури. У зв'язку з цим і виникла необхідність розглядати проблему мови в її відношенні до свідомості. Якраз у цьому О. О. Потебня бачив відмінність між специфікою людського знання і самоусвідомленням, оскільки вони неможливі без мови. Він і прагнув зрозуміти найпотаємніші порухи людських душ, глибинні закони народних доль, котрі відображають сутність національної психології та будову мов як наслідок спільних законів буття того чи іншого народу.

Як впливає з наведених вище міркувань, О. О. Потебня розглядав мову в тісному зв'язку з історією народу і еволюцією людської думки. Так, учений розрізняв дві сходинки в історичному розвитку мислення — міфологічну і інтегративну, коли розвиваються одночасно форми наукового й поетичного мислення. Стосовно останньої він спирався на ретельний і глибокий аналіз історичного розвитку граматичних форм мови, розкрив історичний розвиток форм думки, що дало змогу йому зробити висновки про історичні закономірності змін у характері мислення певного народу й людства загалом. У його вченні історія людської мови є історією людської свідомості, а порівняльний аналіз у поясненні фактів розвитку мовної свідомості допоміг йому показати, як вона неоднаково виявляється в різних народів.

Досліджуючи історію розвитку мови й думки, О. О. Потебня прагнув виявити ієрархію творчої діяльності народу, що лежить в основі розкриття історичних закономірностей певної науки. В центрі його уваги постає народна поезія, міфи, народні казки, пісні і т. ін. Вищою

формою творчості, що здійснюється вже не окремим індивідом, а народом, вказував О. О. Потебня, є створення та розвиток мови. Мова є специфічним видом творчості, який передує всім іншим, готує їх і стає їхньою основою. Зрозуміти процес художньої творчості народу, на думку Потебні, можна за аналогією слова: "Слово тільки тому є органом думки і неодмінною умовою всього пізнішого розвитку, розуміння світу і себе, що спочатку є символом, ідеалом, і має всі властивості художнього твору" (Естетика, с. 166). Така позиція вченого приводить до розуміння слова як феномена творчості. Воно здійснює найперший і елементарний акт творчого осмислення дійсності, відкриває шлях до духовного збагачення індивіда й народу. Таким чином, поетична природа, образність роблять слово не лише найпростішим елементом художньої творчості, а й засобом пізнання і створення думки. Такий підхід до розуміння єдності думки й образу, запозичений послідовниками і учнями О. О. Потебні (Д. М. Овсяніко-Куликовський, Б. Лезін, В. Харцієв та ін.), плідотворний і важливий для сучасної етнопсихології та психології художньої творчості⁹.

Головною рисою концепції народної психології, яку розробляв і розвивав О. О. Потебня, став зв'язок останньої з мовою. Бо питання етнопсихології постають перед ним як проблеми, що вводять мову в психічне життя і дають змогу пояснити її певними психологічними закономірностями. У працях О. О. Потебні найбільш яскраво виявилась висунута в ХІХ ст. думка про те, що початком і основою народної психології є мова, котра зумовлює існування етнічних спільностей.

Єдність спілкування визначається єдністю мови. "Правильна, єдина прикмета, за якою ми пізнаємо народ, і разом з тим єдина, незамінна нічим і неодмінна умова існування народу є єдність мови... Вона є інструментом свідомості й елементарної обробки думки, і, як інструмент, зумовлює прийоми розумової праці... Тому народність, тобто те, що робить відомий народ народом, полягає не в тому, щоб висловлюватися мовою, а в тому, як висловлюватися" (Мисль и язык, с. 222).

Спільність народу зумовлюється єдністю елементарних прийомів мислення, виражених у системі мови, отже, мовна приналежність створює об'єктивні умови для формування психічної діяльності народу. О. О. Потебня доводив це аналізом взаємозв'язку мови й думки. Свідома діяльність формується за допомогою мови і мова в цій діяльності є перша в часі подія, оскільки через неї здійснюється перехід від несвідомості до свідомості. "Взявши до уваги, — писав учений, — що мова є перехід від несвідомості до свідомості, можна порівняти ставлення даної системи слів і граматичних форм духу народного, з відношенням до нього відомої філософської системи, як та, так і інша, завершується один період розвитку і підпорядковуючи його свідомість, служить початком і свідомістю іншому, вищому" (Естетика, с. 69 — 70).

Розвиток мови й мовлення в індивіда належить до індивідуальної психології. О. О. Потебня, як і Ф. І. Буслаєв, В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, переносив її відношення, факти і залежності на народну психологію. Етнопсихологія як новий розділ психологічної науки, змістом якого є дослідження відношення особистого розвитку до народного, повинна показати можливість відмінності національних особливостей і побудову мов як наслідок загальних законів народного життя. Закони душевної (психічної) діяльності єдині для всіх віків і народів, вважав О. О. Потебня. Відмінності полягають у результаті впливу на мову думки. Тому мова вічно твориться, чинить зворотний вплив на думку, піднімаючи її на вищий щабель еволюції.

О. О. Потебня, відмовляючись від поглядів на мову тільки як на засіб означення вже готової думки, вважав, що думці байдуже, якою мовою її висловлять, і прихильність до своєї мови є лише звичка. Доводив, що мови тільки тому служать означенню думки, що вони суть засобу перетворення первісних, домовних елементів її і в цьому розумінні вони можуть бути названі засобами думки того чи іншого народу чи індивіда. Так, загальнолюдські властивості мов полягають у тому, що вони членороздільні, і в тому, що є суть системи символів, які слугують думці. Інші ж властивості мов — племенні, тобто визначаються приналежністю до тієї чи іншої етнічної спільності.

Народно-психологічні питання О. О. Потебня пов'язував з історією окремих мов. "Основи, що розвиваються життям окремих мов і народів, різні й незамінні одна одною, але вказують на інші й потребують з їх боку доповнення" (Естетика, с. 62). Він розглядав мови як глибоко різні системи прийомів мислення, що притаманні етнічним спільностям. Мова сприяє формуванню психологічної спільності народу. Тому, на думку О. О. Потебні, "кожна дрібниця в будові мови повинна давати без нашого відома свої особливі комбінації елементів думки. Вплив усякої дрібниці мови на думку в своєму роді єдиний й нічим незамінний" (Естетика, с. 259 — 260).

Мова дає систему зображення і трансляції думок. При спілкуванні своєрідність народу в психологічному смислі збільшується навіть у тому разі, коли внутрішнє й зовнішнє спілкування зростає однаковою мірою. "Ми можемо сказати, — пише О. О. Потебня, — що той, хто розмовляє однією мовою, за допомогою даного слова розглядає різноманітні в кожній із них змісти цього слова під одним кутом, з однієї тієї ж точки. При перекладі на іншу мову процес ускладнюється, бо тут не тільки зміст, а й уявлення інші" (Естетика, с. 263). Якщо ж внутрішнє спілкування зростає більшою мірою, то і своєрідність зростає у прогресії, оскільки «народу з кожним роком складніше вийти з колії, що проривається для нього своєю мовою, якраз настільки, наскільки поглиблюється ця колія» (Естетика, с. 270).

О. О. Потебня утверджує психологічну, а не соціальну основу етнічної спільності і розрізняє народність і національність. Поняття

народність визначається у нього мовою. Ідея ж національності — це наслідок відомих умов життя. “Народність з точки зору мови є поняття відмінне від так званої “ідеї національності”. Проте ці поняття настільки пов’язані одне з одним, що потребують ретельного розмежування” (Естетика, с. 274). Важливий і той висновок, якого доходить учений у питанні взаємодії народів як певних соціальних спільностей і пов’язаних з цим процесом психологічних змін. “Можна думати, що особливість і своєрідність народів існує не наперекір їх взаємному впливові, а так, що збудження з боку, менше того, яке стримується з середини, є однією з головних умов, що сприяють розвитку народу” (Естетика, с. 271).

Традиції народу, на думку О. О. Потебні, містяться головним чином у мові. Тому як тільки дитина оволодіває мовою, вона прилучається до цих традицій. Із засвоєнням рідної мови дитина з віком набуває національних рис оточуючого середовища. В міру розумового розвитку в її мисленні починають виявлятися риси національного психічного устрою. Яскравість і сила цих рис прямо пропорційні розумовому розвитку і ступеню обдарованості. “Випадки повної денационалізації можуть бути тільки в житті певних особистостей, котрі, ще не говорячи, були перенесені в середовище іншого народу. В таких випадках життя предків такої особистості вноситься в її власний розвиток лише у вигляді фізіологічних слідів і задатків душевного життя. Стосовно цілих народностей, що обов’язково складаються з осіб різного віку, такі випадки неможливі” (Естетика, с. 270).

У своєрідність національної психіки, вважав О. О. Потебня, можна проникнути через мову в її повсякденному функціонуванні, через живе мовлення. Та мова, котру прийнято називати “рідною” (мова сім’ї, родини, що засвоюється з дитинства і стала органом думки, якою говорять із самим собою), стає в той же час і органом національної психіки, духовності народу. Мова визначає і національність людини, бо встановлюється зв’язок її з іншими людьми, що говорять тією самою мовою і складають для неї національне середовище. Отже, психологічна природа зв’язку людини з етносередовищем визначається зв’язком, що встановлюється через мову. З найбільшою силою національна своєрідність виявляється в мисленні і творчості талановитих людей — учених, письменників, поетів, художників, музикантів. У психологічному розумінні геній завжди глибоко національний, — за висловом послідовника О. О. Потебні Д. М. Овсянко-Куликовського¹¹. Тому інтелігенція повніше інших верств населення повинна зберігати і розвивати національну суть народу.

Таким чином, як бачимо, один із аспектів діяльності О. О. Потебні полягав у дослідженні мови й народної психології. Про результати можна судити з присудження йому за етнопсихологічні матеріали у 1891 р. вищої нагороди Російського Географічного то-

вариства — золотої медалі. А висунуті ним положення про єдність свідомості й мови, провідну роль останньої в творчому процесі і особливо дослідження в галузі етнічної психології дають підстави стверджувати, що учений зробив вагомий внесок у становлення й розвитку вітчизняної психологічної науки. І хоча він не створив своєї системи етнопсихології, але підійшов до виконання цього завдання. Його система, якщо була б створена, виявилася б відмінною від традиційних тогочасних. О. О. Потебня не поклав би в основу етнопсихології ні асоціації (Г. Спенсер), ні волю (В. Вундт), ні свідомості (А. Галич), ні взагалі який би то не було окремий психічний процес чи психічну властивість. У центрі своєї системи він помістив би поняття мови і розвитку, а також детермінізму й історизму як принципів взаємозв’язку явищ народного буття.

В статтю освещаются вопросы этнической психологии, поднятые⁶ в трудах А. А. Потебни. Раскрыта актуальность его идей, посвященных возникновению этнопсихологии как самостоятельной отрасли изучающей высшие духовные образования — речь, мышление, сознание, самосознание и т. п. Показано, что вопросы этнической психологии понимаются им как проблемы вводящие язык в психическую жизнь и позволяют объяснить его определенными психологическими закономерностями.

¹ Записки Русского Географического общества. — 2-е изд. — СПб., 1849. — Кн. 1 — 2. — С. 64 — 81.

² Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. — М.: Наука, 1989. — С. 109 — 110. / 224 с. /.

³ Лацарус М., Штейнталь Г. Мысли о народной психологии // Филологические записки. — 1864. — Вып. 1 — 2. — С. 44 — 60.

⁴ Вундт В. Проблемы психологии народов / Пер. с нем. Самсонова. — М., 1912. — С. 47.

⁵ Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и влияние этого различия на умственное различие человеческого рода. — СПб., 1859. — 366 с.

⁶ Сталин В. В. Самосознание личности. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. — С. 8 — 9.

⁷ Там же. — С. 10.

⁸ Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Учпедгиз, 1946. — С. 31.

⁹ Ефимец В. Д. Из истории психологической эстетики конца XIX — начала XX века (Эстетика Харьковской психологической школы). — М., 1974. — С. 71.

¹⁰ Буслаев Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки. — СПб., 1887. — С. 111.

¹¹ Овсянко-Куликовский Д. Н. Психология национальности. — Пг., 1922. — С. 6.

Н. Н. АРВАТ

О ЛЕКТОРСКОМ МАСТЕРСТВЕ А. А. ПОТЕБНИ

В статье рассматриваются вопросы лекторского мастерства А. А. Потевни на материале цикла "Из лекций по теории словесности". Основное внимание уделено синтаксическому построению текста лекций: способам организации лекторского изложения, структуре научных рассуждений, использованию средств ораторского искусства, эмоциональной выразительности и др. Раскрываются некоторые особенности творческого метода лектора-исследователя, выражающие специфику лекций Потевни как научных чтений.

По воспоминаниям учеников и современников А. А. Потевни, его лекции отличались доходчивостью, живостью, стремлением к максимально точному изложению мысли. Лекторское мастерство ученого в значительной мере отражено в труде "Из лекций по теории словесности", представляющем собой курс, прочитанный для педагогов и застенографированный одной из слушательниц. Он просматривался Потевней и был издан в Харькове уже после смерти ученого¹.

Для автора этот курс лекций — средство передачи не только знаний, но и научных методов, образец умения видеть главное и подходить к нему всесторонне. О сложных явлениях А. А. Потевня умел говорить просто. Его лекции — это образец творческих, проблемных лекций, построенных по принципу научного рассуждения. Они насыщены большим фактическим литературным материалом, на анализе которого строится научное рассуждение. Каждая лекция является цепью рассуждений, строящихся из серии умозаключений на ту или иную тему. Лекции построены по принципу индуктивных рассуждений, включающих конкретные факты, их подробный и глубокий анализ и синтез, а также выводы.

Теория рассуждения была подробно разработана в риторике, и А. А. Потевня, как глубоко эрудированный филолог, прекрасно владел ею. Его "Лекции по теории словесности" были не только вершиной профессорских лекций в тот период, они могут служить образцом лекторского мастерства и в наше время.

Изучение лекторского мастерства Потевни включает рассмотрение способов организации лекторского изложения, структуры его научных рассуждений, использования ученым средств ораторского искусства, а также средств создания живости, непосредственности, выразительности лекций и др. Все это характеризует структуру его лекций как определенных научных очерков, способствует раскрытию индивидуальных качеств Потевни-лектора.

Лекции А. А. Потевни посвящены таким поэтическим формам, как басня, пословица, поговорка. Ученый исследует вопрос создания

и выражения поэтического образа в басне, пословице, поговорке и в отдельном слове-наименовании каких-либо предметов, понятий, в частности в наименованиях цветов. А. А. Потевня показывает, как поэтический образ может переходить из басни в пословицу, а затем, сжимаясь, в поговорку или ложится в основу слова-наименования. В лекциях выделяются очерки, посвященные каждому объекту исследования. Они подвергаются тщательному рассмотрению, особенно много внимания уделено басне. Лектор приводит большое количество фактического материала, анализирует его и на основе глубокого анализа дает выводы. В лекциях рассмотрено большое количество басен, пословиц, поговорок, отдельных слов-наименований. Обилие материала обосновывает убедительность выводов: они строятся на прочном, добротном фундаменте. Лекции А. А. Потевни представляют огромный интерес анализом фактического материала, они ценны сами по себе в познавательном отношении, показательны в плане метода научного обоснования взглядов и способа их яркого языкового выражения.

Первым объектом его рассмотрения является басня. Лектор очень тонко подводит слушателей к рассмотрению вопроса, "из чего состоит басня". Анализируя в первой лекции четыре басни и опираясь при этом на их жизненную, ситуативно-реальную основу, он показывает, что значение басни не в обобщении практического опыта, отраженного в ней, а в осмыслении нравственной стороны жизни людей. Понимание басни связано у человека с актом самосознания. А. А. Потевня раскрывает перед слушателем две части басни, которые он называет подлежащим и сказуемым басни. Подлежащее басни — та общая форма человеческой мысли, которая требует объяснения, сказуемое — то, во что воплощается эта мысль, сама басня, ее текст. Лектор использует эти грамматические термины в значении субъекта и предиката, т. е. логических, смысловых категорий.

Уже в первой лекции виден индуктивный метод лектора: от изложения фактов — к их анализу — к выводам. Общая структура лекций Потевни не стандартна. Лекция обычно состоит из трех частей: зачина (вступления) — развития содержания — выводов. Однако далеко не всегда эти три части обнаруживаются в лекциях. Стройность и цельность лекции определялась организацией ее собственно содержательной части. Из опубликованных десяти лекций есть лекции с классическим зачином, в котором указывается либо предмет, либо тема лекции, либо вкратце излагается ее задача (цель, направленность), имеются лекции с очень краткой начальной фразой — "мостиком", есть лекция совершенно без зачина, продолжающая ранее рассматриваемую тему.

¹ Потевня А. А. Эстетика и поэтика. — М.: Искусство, 1976. — С. 469 — 470. Далее приводятся только страницы этого издания.

Особое внимание к зачинам уделено в первых трех лекциях. Первая лекция, как начальная, открывающая цикл, содержит три вступления, последовательно идущих одно за другим и вводящих слушателей в сущность излагаемых вопросов. Первое, самое общее вступление является тематическим. Второе можно определить как содержательно-методическое, в нем лектор излагает свой выбор пути описания и рассмотрения предмета. Третья ступень введения слушателей в рассматриваемый материал непосредственно приближает слушателя к объекту анализа — басне — и методу анализа — отказу лектора от известных в науке трафаретов и самостоятельному анализу басни как поэтической формы.

Последовательно углубляющееся трехступенчатое вступление очень искусно и вместе с тем популярно, с применением простых иллюстраций, раскрывает творческий метод лектора-исследователя. Такое вступление уже характеризует лекции не как учебное явление, а как форму творческого, научного чтения, которое не только показывает ход исследования, но и учит филологическому исследованию, его путям и приемам. Зачин второй лекции включает "мостик" от первой ко второй и обозначение предмета лекции. Зачин третьей лекции содержит программу дальнейшего анализа басни.

Чем глубже лектор входит в анализ материала художественных произведений, тем крепче содержательное единство лекций как последовательных звеньев цикла и тем менее лекция нуждается в оформленном, аргументированном зачине. В дальнейших лекциях видим в зачинах либо прямое продолжение темы (4), либо краткую увязку с предыдущим (5), либо просто название предмета рассмотрения (6, 7). В последних лекциях (8, 9, 10) начальные фразы выражают общее положение, развитие которого следует в тексте лекции.

В построении лекторского изложения большая роль отводится контактоустанавливающим средствам "лектор — аудитория". Уже с первых строк лекции ощущается лекторская тенденция: Потебня избирает четкое я, связанное с его личным действием и мнением, ведет за собой аудиторию.

Лекторское я присуще началу лекции (семи из десяти): "Несколько лекций я намерен посвятить вопросу об отношении поэтических произведений к слову" (1).

Лекторское я связано с намеренным действием говорящего, оно сопровождает обращение к примерам, их выбор примеров, избрание метода объяснения и т. д., т. е. лекторское я, как кормчий, ведет лекцию — "Я считаю более удобным начать..." (464), "Из последних я избираю такую форму..." (464), "Я утверждаю, что это не басня" (471), "Я говорю это к тому..." (481) и др.

Лекторское я употребляется при повторении, упоминании о ранее сказанном — "Я уже сказал, что образ..." (486), "Я уже привел определение..." (484), "Я повторяю, разъяснение достигается тем..." (494), "Я еще раз возвращаюсь к частному примеру..." (495) и др. Сюда же относится лекторское я во вводных конструкциях: "Как я уже говорил", "как я упоминал", "как ранее я уже сказал" и под. Конкретно-личное лекторское я употребляется с глаголами, выражающими речемыслительные действия: я думаю, я говорю, я считаю, я старался показать, я приведу пример, я объясню примером..., я повторяю, я указал, я обращаю ваше внимание и др.

Другое лекторское я, обобщенное, относящееся не только к говорящему лицу, но и к любому исследователю в определенной ситуации, употребляется в рассуждениях, при использовании аналогии. Оно преобладает при выражении условий, предположений, допущений. Этот способ изложения личных действий отражает особенность творческого метода Потебни — его склонность к обобщению — "Если я занимаюсь ботаническим исследованием растения "мать-и-мачеха", найду в нем 20 — 30 признаков, из которых некоторые более существенные, чем тот, что..., то для меня нет никакого основания удерживать в памяти причину обозначения этого растения именно по этому признаку. Стало быть, я буду удерживать это представление до тех пор, пока оно само держится в памяти" (535). В данном случае я легко заменимо на кто-то (ср.: ... Если кто-то занимается ботаническим исследованием...). «Когда я (1) говорю: «Эта стенка бела», то в этом предложении мы (2) различаем подлежащее и сказуемое. Ввиду, однако же, того, что в грамматическом предложении подлежащее и сказуемое не всегда соответствует тому, о чем я (3) теперь говорю, нам (4) проще будет сказать так...» (469). В этом фрагменте рассуждения я (1) и мы (2 и 4) сближены. (Ср.: «когда говорят, то различают... ..Проще сказать...»). Конкретно-личное значение имеет я (3).

Таким образом, лекторское я используется Потебней в двух значениях: первичном (конкретно-личном) и вторичном обобщенном, причем обобщенное я допускает в качестве синонимов неопределенно-личные параллели кто-то..., говорят и инфинитивные, содержащие еще более высокую степень обобщения лица и даже полное отвлечение от него.

Читая "Лекции по теории словесности", мы ощущаем, как овладевает Потебня вниманием слушателей, как он ведет их за собой и руководит их мыслительной работой, не давая ослабнуть этому вниманию. Одним из средств удержания внимания аудитории и руководства им является в одних случаях четкое разделение я и вы, в других — слияние их в общем мы — "Я обращаю внимание ваше на эти две половины, на которые распадается, по моему мнению, все то, что мы можем назвать критикой по отношению к художественному произведению" (522). Разделение я и вы способствует руководству вниманием. В нем проявляется властное влияние лектора на аудиторию.

Большую роль в направлении внимания слушателей играет обращение к ним в призывно-повелительной форме — “Но придайте этому ряду событий те подробности...” (477), “Вспомните басню Нафана. Обратите внимание на то свойство, о котором я говорю...” (480) и др.

Как правило, призывно-повелительная форма сопровождается определенным лексическим наполнением, приобретает определенную выразительность, оказывая воздействие на слушателей, осуществляет переход в лекции от вы к мы и от мы к вы. Ср.: “Вы видите, таким образом, что относительно длинный рассказ все сжимается и сжимается благодаря тому, что все остальное, необходимое для объяснения выражения, сделавшегося пословицей, содержится у нас в мысли и может быть легко восстановлено” (517) (вы — мы), “Но в то самое время, когда мы говорим: “кисел виноград”, всего содержания басни “Лисица и Виноград” у нас в мысли нет, мы о ней не думаем... Без напоминания другого лица вы можете припомнить эту басню, но в данную минуту вы о ней не думаете...” (517) (мы — вы).

Широко употребительна в лекциях Потевни контактно-устанавливающее местоимение мы. По нашим наблюдениям, оно имеет в речи лектора несколько значений: 1/ значение я (назовем условно “индивидуальное мы”), 2/ охват всех присутствующих в аудитории, в том числе лектора (“мы = я + вы”) (назовем условно “общеаудиторное мы”), 3/ более высокую степень обобщения, выходящую за рамки аудитории, охватывающую вообще всех людей (назовем условно “обобщенное мы”), 4/ самую высокую степень обобщения, которая связывается с отвлечением от действующих лиц и выражает усложнившиеся, обычные явления (назовем условно “отвлеченное мы”).

Первый случай (индивидуальное мы), когда денотатом мы является я (сам говорящий), наблюдается в устойчивых вводных конструкциях типа “как мы уже отмечали”, “как мы уже показали” и под. Это обычный лекторский прием, использовал его Потевня не часто. В этой позиции преобладает лекторское “я”. Другие случаи употребления индивидуального лекторского “мы” устанавливаются только по содержанию фраз, выражающих сугубо лекторское отношение, действие или др. Например, “Психология есть наука слишком новая, трудная, чтобы сказать что-нибудь определенное. Мы ограничиваемся терминами, словами, заменяющими исследования. Мы говорим: область человеческого сознания очень узка” (517) и др.

Второй случай (контекстное употребление мы с денотативной основой “я + вы”) представлен очень обильно. Из этого общеаудиторного мы трудно вычленишь лекторское “я”, оно растворяется в массе. Особенно четко это видно при параллельном употреблении в контексте мы лекторского я. “До сих пор мы имели дело или действительно с историческими свидетельствами, или с такими, которые претендуют на значение исторических. Я думаю,

о всех трех случаях можно сказать...” (468). “Четвертый пример я приведу из повести Пушкина “Капитанская дочка”. “...На основании этих четырех примеров мы приступим к решению вопроса о том, из чего именно состоит басня” (469).

Необходимо отметить, что при общеаудиторном мы обычно употребляем глаголы умственных операциональных действий, предусмотренных лекторским изложением: считать, полагать, видеть, спрашивать, сказать, иметь дело, решать, особенно часто — найти и под., т. е. именно те глаголы, которые выражают аудиторную деятельность лектора и слушателей. Например, “Во всех четырех примерах мы различали две части...” (469); “... мы можем сказать...” (470); “Другой пример предвзвешивания мы видим в понятии о слове” (496); “Здесь мы насчитываем четыре момента...” (473); “И там и здесь мы имеем дело не с басней” (473) и др.

Совместную деятельность лектора и слушателей хорошо отражает одноставная конструкция определенно-личного значения. “Рассмотрим такой случай...” (473), “Теперь обратим внимание на разницу содержания...” (470), “Если обратим внимание на ее построение, то можем заметить...” (474) и др.

Третий случай употребления мы в значении не только присутствующих, но и людей вообще, т. е. “обобщенное мы”, наблюдается при выражении широко известных, распространенных действий, обусловленных определенным уровнем подготовки людей, действий, которые могут совершать многие люди.

Обобщенное мы часто наблюдается в рассуждениях при допущении, принятии каких-либо условий. “Если мы, разговаривая на понятном языке, указываем другому вещь и говорим...” (487), “Говоря об известном рода поэтических произведениях, мы возвращаемся в области отвлечений. Отвлечения составляют, по-видимому, цель нашей мысли” (512) и др. Можно заметить, что данное “мы” смыкается с обобщением “я”, о котором писалось ранее.

Еще большее отвлечение от деятелей наблюдается в том употреблении мы (“отвлеченное мы”), которое может быть свободно заменено безличной конструкцией или конструкцией без указания лица. — “Мы можем спросить, что сделала Смерть...” (480). Дело не в том, что сидящие в аудитории или вообще все люди могут задать этот вопрос, а в том, что этот вопрос в принципе возможен и поэтому его можно задать. К конструкциям с отвлеченным мы относятся: мы знаем (=известно), мы имеем (имеется, есть), мы можем, не можем (можно, нельзя) и под.

Отвлеченное мы употребляется при глаголе называть, обозначающем принятое вообще в языке название понятия тем или иным словом: “Во всяком случае то, что мы на нашем языке называем подцензурностью...” (509). Через несколько абзацев то же содержание выражено безличным предложением: “... то, что можно на-

звать подцензурностью" (511), "То что мы называем пословицами, не представляет такой однородности, как басня" (512), "То, что мы называем оригинальностью мысли, во многих случаях зависит от существования в человеке особенного рода ассоциаций мысли" (525), "То, что мы называем представлением, с течением времени исчезает" (535).

В лекционном контексте наблюдается совмещение в одной или двух контактных фразах общеаудиторного мы (1) и обобщенного мы (2), а также отвлеченного мы (3) с каким-либо из этих видов. Например: "То наблюдение над отдельными словами, которое мы сейчас сделали (1), говорит нам (1), что ежеминутно мы нуждаемся в поэтической форме именно потому, что у нас (3) в языке постоянно происходит мелкое, но в результате могучее превращение поэтических форм в прозаические" (536) (Ср.: ежеминутно люди нуждаются...; потому, что в языке... происходит...).

Изложение операциональных действий в ходе рассуждения, имея отношения к конкретному случаю обучения, в то же время имеет общечеловеческие достоинства как определенный логический прием. Поэтому в таком контексте есть возможность усматривать одновременно несколько ступеней обобщения: от конкретного случая к подобной ситуации вообще. При этом допускаются два синонимических варианта — неопределенно-личный и отвлеченный. Например: "Затем рассказ отпадет, отбрасывается как ненужное, и мы получаем одно выражение: "мы пахали", которое говорит достаточно и которое мы примсняем как басню к известным случаям в жизни" (514 — 515).

Таким образом, в построении лекторского изложения и в выборе средств, устанавливающих контакт с аудиторией, большая роль отводится местоимениям. Их использование в лекциях Потебни отражает общезыковые тенденции, но вместе с тем в них проявляется и индивидуальный лекторский подход, его склонность к четкому я, общеаудиторному мы; видна и многозначность этого мы, еще не отмеченная в словарях.

Рассмотрение вступительной части лекций показывает, что это научные чтения. Сам А. А. Потебня в ходе изложения говорил "мои чтения" (521). В процессе этих чтений раскрывается лаборатория мыслителя, исследователя, обнаруживается направление и ход его рассуждений, которые можно проследить хотя бы по абзацным фразам. Двигателем рассуждений нередко являются вопросы.

В лекциях типичны определенные комплексы, включающие тезис (текст произведения или сама басня), вопрос, связанный с его анализом, ответ на поставленный вопрос и рассуждение, развитие мысли, аргументация ответа. Каждый такой комплекс — своеобразная исследовательская миниатюра. Примеры их многочисленны. Вот один из шестой лекции.

"Вот еще прекрасная пословица, разъясненная Далем: "из избы сору не выносить" (1). Применим к ней два приема, о которых я го-

ворил. Определить происхождение ее нетрудно (2). Что это за совет: не выносить сора из избы? — (3). Это может показаться глупым, неряшливым; но если взять во внимание среду и время, в которое возникла эта пословица, то она будет верна (4). Почему сору не надо выносить? (5). Во-первых, потому, что в рубленых избах пороги бываю-ют очень высоки, иногда пол-аршина, так что без особенных приспособлений действительно невозможно это сделать. Во-вторых, в сору в избе находятся остатки живущих в ней людей, а след человека отдает самого человека во власть других. Это верование коренится в глубокой древности (6). У разных народов земного шара существовало верование, что изображение человека есть некоторая таинственная замена самого человека... Если человек ненавидел другого человека и хотел его смерти... Для того, чтобы заставить человека полюбить... (7). Понятно, что при таком веровании было бы преступлением выбрасывать сор из избы... (8) (524 — 525).

Этот фрагмент включает пословицу (тезис) (1) — поставленные задачи анализа (2) — двигающий изложение вопрос (3) — ответ на него (4) — второй двигающий изложение вопрос (5) — ответы на него (6) — разъяснение сущности верования (7) — вывод, итог (8). В процессе рассуждения лектор использует ораторские приемы (3, 5), логическое построение доказательства (6), раскрытие основного положения с приведением примеров (ситуация ненависти, любви), которые подробно комментируются (7).

Поскольку лекции А. А. Потебни являются научными чтениями, большой интерес представляет структура его рассуждений, в которых открывается лаборатория ученого. Развивая рассуждения, Потебня нередко прибегает к использованию вопроса-ответного единства, которое открывает рассуждения. Вопрос подчеркивает основную мысль, привлекает к ней внимание слушателей, а дальнейшее рассуждение аргументирует ответ. В каждой лекции по несколько вопроса-ответных единств. "Что необходимо для того, чтобы известный поэтический образ мог быть басней? Возьмем обошедшую весь свет эзоповскую басню "О курице и жадной хозяйке..." (471). "Почему такого рода научные, прозаические положения неудобны для таких образов, какие мы встречаем в басне? Что они неудобны, это есть истина, выведенная из наблюдений..." (482). "Нужно ли называть отдельные случаи, которые могут быть применимы к этому? Практика показывает, что такие случаи мы находим сами всегда" (483).

Нередко в вопросе-ответном единстве используется несколько вопросительных предложений, заостряющих внимание на разных сторонах рассматриваемой проблемы. Группа вопросительных предложений является при этом одновременно средством эмоционального воздействия на аудиторию. Например: "Каким образом живет басня? Чем объясняется то, что она живет тысячелетия? Это объясняется тем, что она постоянно находит новые и новые применения..." (484), "Какое общее нравственное положение низведено в этой басне к частному случаю? Хороша ли эта бас-

ня? Удобно ли ее применить? Типична ли она? Легко ли нам найти ряд случаев, которые соответствуют этой басне? Мне кажется она очень типично, и применения ее многочисленны..." (496).

В группе используемых лектором вопросов первый может быть общим, второй — более конкретным, уточняющим. Например: "...О чем говорит эта басня? Разве она говорит о кротости и не кротости? Она может говорить не о нравственных свойствах, а о целесообразности или нецелесообразности средств..." (505).

Вопросо-ответное единство может быть не только началом рассуждения, но и включаться в него как развивающий идею компонент, подтверждающий или, наоборот, отрицающий какое-либо предположение. Чаще вопрос содержит в себе зерно дальнейшего отрицания. "Так как мы нашли, что это положение есть сумма, получаемая из отдельных случаев человеческой жизни, то мы не имеем права проверять ее ничем, как только случаями из человеческой же жизни. А кто такой Борей? Кто солнце? Это, с точки зрения древних греков, — божества. Следовательно, равенства тут быть не может..." (505).

Вопросо-ответная организация может пронизывать все рассуждения, выражая в очень эмоциональном ключе мысли автора. Ярким примером тому может служить следующее рассуждение о выражении словом мысли и передаче ее другому лицу, идея, которую Потебня отрицает. "О значении слова для говорящего и для слушающего существуют ходячие довольно ошибочные представления. Существует общераспространенное мнение, что слово нужно для того, чтобы выразить мысль и передать ее другому (1). Но разве мысль передается другому? Каким образом мысль может быть передана другому? Мысль есть нечто совершающееся внутри мыслящего человека. Как же передать то, что совершается внутри человека, другому? Разве можно это взять, выложить из своей головы и переложить другому в голову? (2). Для того, чтобы понять, не вполне, разумеется, но приблизительно, что происходит при так называемой передаче мысли, нужно обратить внимание на то, нужно ли, прежде всего, слово для передачи мысли? Мыслим ли мы только словами, действительно ли у нас до слова не происходит никакой мысли? Заключается ли в слове вся сумма мысли, возможная для человека? (3).

Кроме того, что связано со словом, существует еще мысль (4). Разве то, что выражается в музыкальных тонах, в графических формах, красках, не есть мысль? (5). Если бы человеческой мыслью было только то, что связано со словом, то можно было бы допустить, что глухонемые стоят вне человеческой мысли (6). Итак, во всяком случае, вне слова и до слова существует мысль; слово только обозначает известное течение в развитии мысли;» (7) (537 — 538). Рассуждение содержит два комплекса: а) 1 — тезис, 2 — вопросы, 3 — ответы; б) 4 — тезис; 5 — вопрос, 6 — ответ, 7 — вывод. Оставляя в стороне сущность данной дискуссии и психологические основы решения этого вопроса автором, отметим, какими языковыми средствами достигается выразительность

изложения мысли. Это прежде всего вопросо-ответная форма рассуждения, логико-смысловое значение вопросов, которые уже в постановке содержат ответ и потому имеют в большей степени риторическое значение. Использование вопроса в качестве средства, привлекающего внимание слушателей и направляющего дальнейший ход мысли, является одним из приемов ораторской речи в лекциях Потебни. Этот прием несет в структуре рассуждения у Потебни большую функциональную нагрузку.

Важным структурным компонентом рассуждений, объяснений, комментариев А. А. Потебни являются лексические и синтаксические повторы. Они помогают сосредоточить мысль на определенном явлении, подчеркнуть логические связи явлений, создают некоторую периодичность речи и служат выразительным ораторским приемом. Например: "Вечность басни вытекает именно из того, что составные части ее образов настолько освободены от всякой случайности и настолько связаны между собою, что с трудом поддаются изменениям. Далее, вечность ее вытекает из того, что эти сплоченные образы способны по первому требованию стать общей схемой спутанных явлений жизни и служить их объяснением. Вечность басни имеет свои пределы, которые теоретически установить трудно, потому что если одно из действующих лиц становится непонятным, вследствие того что в самой жизни исчезает соответственное явление, если, может быть, вследствие этого само действие в ней становится неясным, то является возможность подстановки, перемены этого лица" (485).

В приведенном фрагменте рассуждения развивается идея о вечности басни, ее повторение в начале каждого из трех сложных предложений, составляющих вместе рассуждения, сосредоточивает на ней внимание, а логические обоснования подкрепляют ее и развивают. Кроме того, повтор начала предложений в сочетании с внутренними повторами предлогов и союзов и частичной конструктивной анафорой (в первом предложении) создают ритмичность этого рассуждения, определенную периодичность построения. Рассуждение звучит легко, красиво, убедительно.

"Есть целый ряд поговорок на вопрос: какое у него состояние? Напр.: "У него медной посуды — крест да пуговица, а рогатой скотины — таракан да жуковница..." На вопрос, как глуп, поговорка отвечает: "из-за угла прибит"... На вопрос, как пьян, поговорочное выражение: "у него в глазах двоится"... Все эти поговорки дают определенный ответ на вопрос: каково действующее лицо, какие его признаки?" (527). Повтор сосредоточивает внимание на том, что затем обобщается в выводе, кроме того, он создает ритмичность рассуждения и выражает цельность в подходе к фактическому материалу.

Особенно выразительны повторы в вопросительном компоненте рассуждения. Их притягательная сила увеличивается, они также вно-

сят в рассуждение ритмичность, эмоциональность. Например: "В эзоповской басне эта черта вовсе не намечена. Может быть, пастух имел другие соображения, может быть, он руководствовался желанием улучшить породу коз, и не только совиных, а домашних коз вообще? Может быть, он был акклиматизатор, герой? Мы видим, что обобщение, которое приложено к ней Бабрием, держится слабо" (497).

Одним из выразительных ораторских приемов лектора является использование нарастания определенного значения в цепи предложений. В частности, лектор создает градацию субъективно-модального значения при выражении своих намерений в разъяснении каких-либо положений. Например: "Здесь я сделаю некоторое обобщение, предупреждая доказательства... Я постараюсь показать после, что иносказательность есть неременная принадлежность поэтического произведения. Теперь же я хочу только расширить положение, которое только что высказал..." (507). Ряд "сделаю — постараюсь показать — хочу расширить" выражает лексически нарастание модального характера и создает впечатление усиления стремлений автора в доказательстве своей мысли.

В других случаях анафоричность предикативного начала создает убедительность и уверенность высказывания. "Я сделаю еще одно замечание по поводу сказанного мною прежде. Я старался объяснить, каким образом происходит пользование баснею. ... Я указал также на другое состояние басни в руках пересказчиков и собирателей ее" (511).

Одним из структурных средств создания ритмичного, стройного, легко воспринимаемого, несмотря на сложность, рассуждения является использование однородности в построении предложений. Этому служит однородность как в простом, так и в сложном предложении. С ее помощью создаются симметричные, периодические структуры. Например: "Вообще, чем общее, неопределенное образ, заключенный в басне, которую мы назовем В, и чем, стало быть, неопределенное количество применений этой басни, тем нужнее становится вмешательство самого автора, которое выражается в присоединении к ней еще другой басни" (491). "Для кого поэтический образ является средоточием десяти, двадцати, тридцати отдельных случаев и для кого эти отдельные случаи связались между собою и образовали отвлеченный вывод, для того поэтический образ содержательнее, многозначительнее, чем для того, которому он говорит только то, что заключено в самом образе" (521).

Периодичность структуры рассуждения создается сочетанием однородных компонентов, включающих лексический повтор и однотипность построения. "Хорошо то слово, которое заменить другим словом невозможно, которое вполне на месте; хороша та басня, которая в данном случае вполне уместна и не может быть заменена десятью другими" (497). Структуры с однородными членами

предложения служат созданию усиления, подчеркивания идеи, большей убедительности. Одновременно это и средство эмоционального воздействия на слушателей.

В лекциях неоднократно используется градуированная однородность, содержащая в лексическом выражении, помимо перечня разнообразия, либо возрастание, либо противопоставление. Например: "Ему некогда думать о том, что скажет о нем читатель, ему некогда отыскивать средства..." (550), "Если же изображается не действие, а предмет, ... то это будет эмблема, а не повествование, не басня, не рассказ какого-нибудь другого рода" (526), "... когда мы имеем ряд последовательных ответов автора на один и тот же вопрос, то последующие ответы становятся все определеннее, все яснее и яснее, все менее и менее иносказательными" (553).

В синтаксическом построении лекций преобладают сложные предложения, состоящие из нескольких предикативных частей. Это обычная форма в научном изложении, разветвленном рассуждении, многоступенчатом и разностороннем доказательстве, разъяснении, описании. На одной странице печатного текста встречается лишь от одного до трех простых предложений, все остальные сложные, причем преобладают сложноподчиненные с разнообразными видами синтаксических отношений. Например: "Я этим не хочу сказать, что отношение Александра Первого к Польше было такое, как сказывается в басне, я только говорю, что такого рода применение ее не только верно, оно традиционно, потому что, как я говорил, весьма многие басни, которые ходят у нас как обобщения житейские, несомненно имеют политическое происхождение" (498) и др.

А. А. Потебня неоднократно использует в доказательствах многочисленные сложные конструкции с вводными словами: во-первых, во-вторых, в-третьих или с построением типа первое..., второе... и т. д. Это связано с логически четким построением мысли, со сложностью ее содержания, с последовательным, поэтапным оформлением доказательства. Такой способ изложения характерен для научного стиля вообще и в частности для научного изложения Потебни в целом. "Отсюда такое сложное нравоучение, что сам автор должен его изложить так: во-первых, это часто обозначает, что злейший враг нередко тот, кого сами вспоили и вскормили; во-вторых, что преступник наказывается не в момент гнева божества, а в час, назначенный роком; в-третьих, эта басня увещевает добрых, чтобы они ни для какой выгоды не соединялись с преступником" (474). На последовательной цепи во-первых, во-вторых... может быть построено все рассуждение, весь фрагмент, образующий сверхфразное единство (см. с. 510, 521 — 522, 524, 543 и др.).

В рассмотрении смысла, структуры, реальной или умозрительной основы басни лектор соприкасается со многими другими важными вопросами; поскольку они бывают не связаны с темой его исследо-

вания, он оставляет их в стороне, но не умалчивает о них. В связи с этим в лекциях нередко простая констатация какого-либо явления, которое, будучи побочным, не включается лектором в круг анализируемых. Ср.: "Так это было или нет, и откуда мог знать Федр, что эта басня была сказана именно по этому случаю, оставим в стороне; несомненно только одно, что эта басня по своему происхождению политическая..." (485). "Оставляя в стороне вопрос о происхождении басни, то есть чем она была прежде..." (477).

Научное рассуждение требует использования научного аппарата, понятий. Потебня, широко используя в лекциях различные научные понятия, вводя их в материал лекций, дает объяснения их сущности, значения, употребления. Хотя это связано с определенным отступлением от логически развернутого хода рассуждений, лектор не жалеет для объяснений ни времени, ни места. В начале первой лекции он пространно, с помощью сравнения, разъясняет понятие предрассудка в науке (465). Так же детально лектор разъясняет, что значит "научное" (481), "нравственный" (492) и др.

В ряде случаев сложность рассматриваемой проблемы и стремление изложить ее как можно более доступно заставляют лектора варьировать рассуждения. Он сам, чувствуя сложность своего объяснения, отмечает ее и излагает иначе. Эти приемы обычны, но они говорят об особой заботе лектора о том, чтобы его мысли были поняты, дошли до сознания всех слушателей. Ср.: "Я боюсь, что запутанно выразился. Я хочу сказать, что если от обобщения одного круга, например, что всякая обезьяна рождает по два детеныша и т. д., если от этого обобщения трудно перейти к частным случаям другого круга..." (482). "Я чувствую, что этот вопрос (то есть почему именно образ басни должен изображать единичное явление) недостаточно мною разъяснен, между тем возможность его чрезвычайна, потому что именно здесь, то есть в единичности, конкретности образа заключается разница между поэзией, к которой принадлежит басня, и общей формой научной мысли — прозой" (484) (еще с. 480, 503 и др.).

Стремление лектора точнее, понятнее, доступнее выразить мысль отражается в способах его изложения с применением варьирования, при этом обычным средством, очень частотным в таких случаях, является в лекциях Потебни использование синтаксических конструкций с союзом *то есть*. Примеры многочисленны: "Есть возможность показать, что употребление этого названия, то есть состояние слова, когда значение его непосредственно примыкает к звуку..." (503), "Остуда (старинное слово) — нелюбовь, ненависть — значит почти то же, что и простуда (то есть действие холода, только предлог здесь другой)..." (630). "Местами прямо холодный, то есть студеный, применяется к человеку, который не любит" (530) и др.

Одним из приемов более понятного выражения мысли, более ясного изложения идеи является сравнение. Лектор Потебня довольно часто

использует сравнение, сопоставление, аналогии при объяснении различных сугубо филологических вопросов теории словесности. Так, объясняя сущность басни, он сопоставляет басню с произведением не басней (с барельефом Тургенева) (471), с фольклорным отвлеченным образом типа "суховерхого дерева" (матери, отдавшей дочь замуж) (473), сравнивает практическую пользу басни с правилами шахматной игры (479) и т. д. Проводит аналогию между строением басни (из двух частей) и строением предложения (из подлежащего и сказуемого), неоднократно используя понятие "подлежащее басни" — ее идейные корни и "сказуемое басни" — самое басню (470). Сопоставляет отношение к басне с отношением человека к своим органам — люди пользуются басней (как и глазами и др.) бессознательно (487). Интересно сопоставление баснописца с продавцом игрушек (496). Разъясняя сущность научного доказательства, лектор использует материал математики, геометрии, биологии (500 — 501). Красочно и ярко использование особой формы речи с речью Сэмюэля (515 — 516). Немало в лекциях Потебни и сопоставлений по аналогии и по противоположности. Он пользовался сопоставлением не только для разъяснения понятий и тезисов, посылок. Отталкивание от более простого и сходного с тем, о чем он говорит, часто представляет собою один из приемов изложения, объяснения. Такой методический прием реализуется в формах "представим себе...", "предположим..." и под. "Предположим, что перед нами находится ряд единиц, идеально равных между собой..." (499), "Допустим такой случай: муж и жена замечались о том, что они сделают, когда выиграют в лотерею двести тысяч" (487).

Используя сравнения, Потебня нередко выделяет при этом противопоставление в отношении к объекту. Например: "Два дела разные — относимся ли мы к известным органам нашего тела, например, глазам, сознательно или пользуемся ими потому, что их дала нам природа. С поэзией и прозой то же, что и с глазами..." (487). "Два дела разных — продать рукопись и писать для продажи..." (558). Сопоставлениям и сравнениям в ходе научного рассуждения Потебня придавал большое значение. Он не только широко использует сравнения, но и разъясняет их место в мыслительном процессе. Потебня сам говорил в лекциях: "Самый процесс познания есть процесс сравнения" (540).

Лектор рассматривает поэтические формы — басню, поговорку — и как произведение искусства и как формы, отражающие и обобщающие огромный человеческий опыт. Он широко пользуется историческим фоном для разъяснения этих форм творчества, фольклором, показывает истоки этих произведений, т. е. анализирует их как историк литературы, этнограф и лингвист.

В лекциях используются понятия и факты из области мифологии, истории, ботаники, математики, языкознания. Остановимся на использовании фактов языкознания для объяснения определенных явлений теории словесности. Так, мы уже отмечали, что для разъяс-

нения идейных корней басни и ее словесного выражения Потебня использует языковедческие понятия подлежащее и сказуемое (см. с. 469 — 470).

Говоря об обобщениях, выражаемых в баснях, лектор предостерегает против неверных обобщений, имеющих отношение к части фактов, но не ко всем фактам, и приводит аналогию неверности обобщения относительно того, что в конце каждого современного (ему) существительного на согласный можно было бы предполагать раннее находившиеся там *ъ* и *ь*, дававшие конечный открытый слог (*дворъ, волъ*). Таких конечных *ъ* и *ь* нельзя предполагать у слов типа *хлоп, топ* (503).

Стремясь показать, что поэтический образ содержится не только в басне, поговорке, пословице, но и в отдельно взятом слове, Потебня раскрывает значение названий цветов, прибегая к этимологическому анализу. Так, он разъясняет название цветов «мать-и-мачеха», «забудьки», «любисток», «дрема», «иван-да-марья». Он подчеркивает значение этимологического анализа для понимания многих слов, первоначальное значение которых стерлось, стало неясным.

Потебня указывает на роль звуковых изменений в значении слова, если эти изменения влекут за собой потерю ассоциаций в восприятии смысла слов. Он считает, что «первоначально, во время своего возникновения, всякое слово без исключения состоит из трех элементов: во-первых, членораздельного звука, без которого слова быть не может; во-вторых, представления и, в-третьих, значения слов. Звук и значение всегда остаются неизменными частями слова. Без одного из этих элементов нет слова. Бессмысленный звук не есть слово, и, наоборот, значение, не сопровождаемое членораздельным звуком, не есть слово; но третий элемент слова, то, что мы называем представлением, с течением времени исчезает... Если с течением времени какой-либо измененный звук затемнит связь этого представления со словом, то и самое представление исчезнет совсем» (535). Здесь мы видим практическое применение Потебней своего учения о внутренней форме слова к филологическим разысканиям в области образности слов.

На фоне обилия сложных предложений, выражающих развитие мысли лектора, выразительны и эффектны простые, в том числе номинативные предложения, которыми он пользуется при обращении к текстам как средству наглядности. Например: «Вот опять басня преимущественно политического применения» (485), «Вот эзоповская басня» (497), «Или вот другая басня Федра, по общему признанию неизвестная в греческих источниках» (485), «Вот другая басня Федра «Вор и светильник» (474).

Столь же выразительны краткие простые предложения, особенно употребленные в комплексе со сложными, в том числе в качестве ответа на вопрос, сформулированный сложной конструкцией. «Мо-

жем ли мы в настоящее время, столь далекое от мифического, можем ли мы, употребляя, например, выражение «от притчи на коне не уйти», представить себе, что эта притча гонится за нами, а мы от нее уходим на коне? Конечно нет» (548). Они употребляются также в пересказе содержания басни или притчи, в обращении к аудитории. Например: «Попробую я давать птице больше ячменя, авось она будет нестись два раза в день», — думает хозяйка. Сказано — сделано» (471), «Погонщик быков ехал из деревни в телеге. И вдруг застрял в рытвине...» (485), «Что такое факт?» (503).

Будучи образцом научного стиля, лекции А. А. Потебни являются и примером того, как можно оживить лекцию разговорными оборотами и словами, естественно вплетающимися в спокойно и ровно льющееся изложение. Например: «...поэтический образ составляет и должен составлять для нас не только предмет наслаждения... Наслаждение наслаждением, но если поэтическое мышление есть одно из средств познания, то, стало быть, оно требует известного ухода...» (521), «Так это было или нет, и откуда мог знать Федр...» (485), «Все подобные вопросы могут подлежать научному исследованию, но пока-то еще придет эта наука, да ко многим и вовсе не приходит...» (486). Особенно частотно вводное разговорное «стало быть».

Привлекая в «Лекциях...» басни разных народов, А. А. Потебня использует и украинские басни, присказки, поговорки. Поскольку они приводятся на украинском языке, то помимо своего прямого содержательного значения, как определенная языковая материал, они приобретают на фоне чисто русского литературного языка изложения определенную эмоционально-экспрессивную функцию (с. 486, 546).

В целом «Лекции по теории словесности», будучи глубоко научными чтениями, отличаются очень живым, эмоциональным языком и, несмотря на сложную форму, ясностью изложения, доступностью. Изучение лекторского мастерства А. А. Потебни может приводиться в разных аспектах и на представленном здесь рассмотрении не заканчивается. Лекции профессора А. А. Потебни являются образцом использования различных языковых средств, в том числе синтаксических, для полного, развернутого, убедительного, эмоционально-окрашенного изложения. Они — пример соединения научного и ораторского стилей в освещении сложных проблем филологии. «Лекции по теории словесности» не утратили своей ценности и в настоящее время представляют большой интерес для современного читателя.

¹ Памяти А. А. Потебни. — Харьков, 1892.

О. О. ПОТЕБНЯ І ПРОБЛЕМИ ПАРАЛЕЛІЗМУ В ІСТОРИЧНІЙ СЕМАСІОЛОГІЇ

Стаття присвячена аналізу та дальшій розробці встановлених ученим моделей семантичного паралелізму. На матеріалі генетично спорідненої лексики слов'янських мов — слів праслов'янського походження, об'єднаних спільним вихідним значенням "горіти, палити", досліджується прояв семантичних кореляцій типу "горіти — гнити", "горіти, вогонь" — "швидкість".

Дослідження семантичного паралелізму належить до тих важливих напрямків сучасного мовознавства, для яких наукова спадщина О. О. Потебні зберігає і актуальність, і непересічну значущість.

Явище семантичного паралелізму полягає в тому, що семантично подібні слова набувають у процесі свого подальшого семантичного розвитку таких вторинних значень, які також є подібними між собою. Інакше кажучи, тут має місце наявність сталого дериваційного зв'язку між певними поняттями, вираженими у лексиці однієї і тієї самої мови або ж у лексиці різних мов, споріднених чи не споріднених між собою. Особливий інтерес у цьому відношенні становить перша друквана праця О. О. Потебні, його магістерська дисертація "О некоторых символах в славянской народной поэзии" (Харків, 1860). Автор так пояснює явище семантичного паралелізму: "Певне сполучення уявлень, прийняте в мову у слові одного кореня, по декілька разів повторюється в словах інших коренів; наступні утворення підлягають аналогії з попередніми. Так, наприклад, у декількох словах різного походження помітний той самий перехід від швидкості руху до хитрості та розуму. Повторення однакового способу сполучень утворює "звичку думки" (О... символах, с. 7).

Семантичний паралелізм досліджується на суто синхронному мовному матеріалі. Але навіть коли підходити до нього з боку синхронії, то це явище стосується власне її динамічного аспекту ширше, до динамічного аспекту функціонування і розвитку мови. Через це цілком очевидно є та вага, яку має вивчення проблематики семантичних паралелей у діахронічному плані, тобто з точки зору історичної лінгвістики.

Аналіз конкретного мовного матеріалу з метою виділення збігів у семантичному розвитку семантично подібних слів становить значний інтерес для теорії історичної семасіології у плані встановлення інвентаря типів таких переходів. Визнаючи набір цих переходів, їхню типологію, такий аналіз дає можливість встановити, які з цих переходів мають загальний характер, характер міжмовних універсалій, повних чи часткових, інакше кажучи, зустрічаються у різних мовах, незалежно від спільного походження цих мов чи їхньої взаємодії. Це, по-перше, а, по-друге, чи ці переходи

можуть бути обмеженими в часі і просторі і мати місце лише в певній мовній спільності на певному етапі її розвитку — мати характер, аналогічний законам фонетичних переходів, встановлюваних історичною фонетикою. Відтак створюється можливість встановити між спорідненими мовами не лише фонетичні відповідності, а семантичні. Цілком очевидним є значення дослідження семантичного паралелізму для етимології, зокрема для реконструкції, де типологічні міркування такого порядку можуть бути підставою для нових етимологічних рішень або ж для верифікації існуючих етимологічних версій.

Нарешті дослідження явища семантичного паралелізму містить у собі і культурно-історичний аспект у плані співвідношення слів і речей, а також етносеміотичний. Перенос значення, вживання слова для передачі нового класу референтів завжди базується на певному підході до цих референтів, на певній їх інтерпретації, на зображенні їх з того чи іншого боку і, виходячи з цього, на приведенні двох понять у певний змістовий зв'язок. О. О. Потебня говорить у даному випадку про символічний зв'язок між уявленнями, але, користуючись більш пізньою класифікацією Чарльза Пірса, можна сказати, що тут має місце не символічний, тобто не вмотивований зв'язок, а іконічний, на основі подібності, тобто метафоричний, або ж індексальний — на основі суміжності, тобто метонімічний. Отже, якщо семантичний перехід, що відбиває такий зв'язок, реконструюється для достатньо віддаленого хронологічного періоду, то сам він, а тим більше набір таких переходів може стати основою для етносеміотичної реконструкції — відновлення фрагменту світосприймання архаїчних мовців, того, що, за Потебнею, можна назвати їхньою "звичкою думки". У цьому відношенні спадщина О. О. Потебні становить значний інтерес. Тут важить і саме виділення ученим власне проблеми і підхід до її розв'язання, тобто його теоретичні засади і зібраний фактичний матеріал.

Завданням даної розвідки є розвиток ідей О. О. Потебні у плані вивчення генетично спорідненої лексики слов'янських мов, слів праслав'янського походження, об'єднаних спільним значенням "горіти, палати". Видається доцільним зупинитися на семантичних паралелях, встановлених О. О. Потебнею, типу "горіти" — "гнити", "горіти", "вогонь" — "швидкість".

Дослідник писав: "... знаючи, наприклад, що гниття позначається у мові вогнем, можна було б вогонь назвати символом гниття" (О... символах, с. 2). Зауважимо, що фактичною, матеріальною основою цього процесу є те, що результати гниття і горіння часто-густо є зовнішньо подібними між собою; гнилий предмет набуває чорного кольору, виглядає, як обвуглений. Хоча дія гниття відбувається під впливом тепла і вологи, сам цей процес полягає в окисленні відповідного матеріалу, як під час горіння. Значення "гнити, пріти" у

якості вторинного в стосунку до первинного "горіти, палити" засвідчують численні континуанти праслов'янських коренів *gog-, *žeq-, *pal-, *žag-, *per-, *tbl- та ін. у слов'янських мовах.

Модель "горіти" — "гнити" активно відтворюється у межах слов'янських відповідників з коренем gog- з праслов. gogēti. Пор.: укр. *горить хліб (сіно, салома) у стіжках, горять зібрані сливи, полуниці*; рос. *хлеб горит в копнах, горелыа кожи* "зіпрілі шкіри", *горелая мука* "пріла, з гіркуватим присмаком", діал. *горячітьса* "гнити, псуватися", діал. *ізгар, ізгарь* "все що перепріло, зіпсувалося; блр. *гарыць сена, плесніць*, діал. *кінець* "пріти (про зерно, сіно)"; схв. *гдрети* "гнити, розпадатися (про хміль, сіно)"; слн. *ugoreti se* "пріти (про гній)", *ugorniti* "те саме", *ugarjati se* "нагріватися, пріти", *ugarjav gnoj* "прілий гній" тощо. Подібне явище простежується і в структурі континуантів пласлов. *žeqti, наприклад: рос. діал. *жгдный, жгань* "перепрілий гній" (діал. *жгать "гнити"*), *жглый* "алежаний гній" і под.

Регулярність семантичної кореляції "горіти" — "гнити" підтверджує ряд типологічних семантичних паралелей, що зводяться до праслов. *tblēti, укр. *тліти* "горіти без полум'я". Пор. поряд із даним значенням фіксація лексико-семантичного варіанта "псуватися, гнити": укр. *тліти, тлін, тлінь* "гниття; те, що тліє, розкладається, гниє; прах", *тління* "процес розкладання"; рос. *тлеть, тледасть* "пріти", *тлить* "піддавати гниттю, знищенню", *тлен, тля* "все, що гниє; прах, попіл", *тля* «зітліла від вогню та гниття річ», блр. *тлець* "гниючи, розкладатися, трухнявіти", *тлен, тленне* "гниття, розпад; прах"; пол. *tleć* "гнити", *zetyla* (qndj) "той, що перегнив", *tlieć* "палити"; чес. *tliti* "гнити, розкладатися (про дерево, тіло)", *ztlely, zettlely* "зітлілий", діал. ласько *tlolko* "гниле дерево", валаське *tl'alka, tl'arka* "те саме"; слц. *tllet* "трухнявіти" (про розкладання органічних субстанцій), *tlenie* "процес розкладання"; влуж. *tlac* "гнити, збуяти" нлуж. *tlaz* "пріти, гнити"; болг. *тлея* "пріти" (*гюбрето тлее* "гній тліє"), *тлен* "будь-що гниле"; слн. *tlēti* "трухнявіти". Серед неслов'янських відповідників праслов. *tblēti відомі лише балтійські форми — латис. *tlistu, tliti* "зостаріти, зотліти" та споріднене з ним литов. *dulstù, dūlti, dulò, dulēti* "тліти, гнити" ¹.

Цікаво відзначити, що під час тління, гниття певна субстанція піддається і якісним і кількісним змінам, пор. у зв'язку з цим укр. *тліти*, що тлумачиться словами "руйнуватися, розпадатися від часу, перетворюватися у прах". Останній нюанс значення яскраво ілюструють хоча б слц. *lúdské kosti tleju* або нлуж. *hořany clovek* "скелет". Семантична адаптація лексико-семантичного варіанта "перетворюватися у прах" на рівні прикметника виявляється, з одного боку, як "нетривкий, скороминучий, тимчасовий" (пор. укр. поет. *тлінний і нетлінний скарб, тлінна оболонка*; рос. *тленный мир*, поет. *богатства и почести тленны...*), а, з другого, виявляється з посиленою негативною коннотацією — "який має шкідливий, згубний, розкладницький вплив на будь-кого" (пор. укр. *тлінний дух, вплив*; рос.

тлетворная атмосфера, тлетворные идеи, мысли і под.); показовим щодо цього є субстантив рос. *тля*, вживаний у сучасній російській мові для позначення нікчемної, морально вбогої, спустошеної людини. Шляхом зіставлення спектру лексико-семантичних варіантів рефлексів праслав. *tblēti і його дериватів у сучасних мовах нам видається можливим відтворити такі ступені розвитку їх вторинної значеннєвої деривації: "тихо горіти без полум'я" → "псуватися, гнити під дією тепла та вологи" → "руйнуватися, розкладатися, перетворюватися у прах" → "ставати нічим", накінець, "зникати". Не виключено, що наступною ланкою у цьому ланцюзі семантичних метаморфоз могло б бути значення, яке виявляють литовські дієслова *tyliu, tylēti, tliti* "мовчати, замовкнути" які О. Брюкнер залучив у якості етимологічних корелятів до пол. ².

Таким чином, поглиблений семасологічний аналіз рефлексів праслов. *tblēti дає підстави не лише підтвердити встановлену О. О. Потєбнею семантичну паралель, себто "звичку думки", "тихо горіти" — "гнити", але й окреслити її можливу подальшу еволюцію у вигляді розбудованого паралелізму "горіти" → "гнити", → "зникати" → "замовкати, мовчати".

Послідовність прояву даного семантичного паралелізму підтверджують численні продовження у слов'янських мовах праслов. *pbrēti, укр. *пріти*. У лексичному фонді східно- та західнослов'янських мов фіксується цілий ряд утворень, які поряд із позначенням процесу горіння здатні виражати одночасно і процес руйнування, гниття органічних субстанцій. Пор.: укр. *пріти* "тліти або гнити під дією тепла і вологи", *прілий* "який зотлів або зогнив", *прілий запах* "запах гнилизни, вологи", *прілина* "те, що попріло, згнило; вологе, вкрите пліснявою місце", *пріль* "запах прілого; те, що попріло, згнило"; рос. *преть* "гнити", *прельий* (*прельий лист, преляя крупа, прелье шкуры*) "зіпсований прінням", *прель* "те, що зіпріло, згнило"; блр. *прэць* "гнити" (*зярно прэя*), діал. *прэц* "алежуватися, горіти" (*прэе збожжа, што пар стуль ідзе*), *прэлы* "який зотлів" (*прэла кара, прэла ігліца, прэлая скура*), *прэлая мука* "з гіркуватим смаком", *прэлы пах* "просякнутий, насичений вологою і теплом запах", *прэліна* "місце, яке не замерзає зимою", розм. *прэліна* "запріле місце на шкірі", *прэль і гніль* "все, що згнило", пол. *przeć* (*zboża w sasiękach przaty i butwiły*) "про збіжжя, яке

¹ Цікавий матеріал для типологічного зіставлення становить етимологічно споріднена пара праслов. *tlēsti і литов. *pu-tilti* "замовкнути", *tylētii* "мовчати" залучувати О. М. Трубачовим до розробки семантичної паралелі "мовчати" і "танути" з метою обґрунтування необхідності створення семасологічного словника індоєвропейських мов. — Див.: Проблеми індоєвропейського мовознавства. — М., 1964. — С. 100 — 105.

псується в засіках", *przelina* "земля з-під танучого снігу", *przałki* "ранні груші".

У Словнику В. Махека фіксується діалектне чеське дієслово *prut* із значенням "гріти". Продовження подібної основи спостерігається у чес. діал. *průlina*, *průlina*, які відповідають пол. *przelina* "земля з-під снігу". Праслов. **prǫtiti* продовжується також у слц. *pricet* "гнити" в контексті *žitó pricé, pod vnehom pricé ožimína*.

Своєрідний розвиток праслов. **prǫtiti* засвідчують його континуанти у серболужицьких мовах. Тут простежується зміна чи зсув значення "горіти" не в бік поєднання даного процесу з вологою, а навпаки, з висиханням, засушуванням. Пор.: нлуж. *pręś, pręwaś* "сохнути, висихати", *prělica (prělica), prělnica (prělnica)* "ріпа чи морква, висохла на сонці" тощо.

Завдяки урахуванню паралелізму значень "горіти" — "гнити" І. П. Петльова переконливо етимологізує ряд лексем, які виводить із пласлов. **žalēti* "горіти, палити" (*žal-*, етимологічного дублета праслов. *žag-* із закономірною субституцією *r/l*). Пор.: рос. діал. *жалеть* "пріти, бродити (про солод під час приготування пива)", чес. *želivé dřevo* "трухляве, гниле дерево"³, а також додамо сюди укр. діал. *жаліти, жжаліти* "зіпсуватися, згіркнути (про молочні продукти)" пол. діал. *żalawy* "зотлілий".

Отже, формування переходу "горіти" — "гнити" в якості мовної універсалії призводить до того, що цей перехід починає відігравати в етимології роль верифікуючого фактору, особливо важливого при віднесенні того чи іншого слова до певного етимологічного гнізда. У цьому зв'язку заслуговує на увагу версія походження чеського іменника *deheň* "гниль, вологість", запропонована І. П. Петльовою⁴.

Згідно з версією автора, лексему чес. *deheň* належить розглядати у контексті дериватів праслов. **žegti*, рос. *жечь*, що виводяться з індоєвропейського кореня **dhegʷh-* "палити". До цього ж етимологічного гнізда слід віднести, очевидно, і блр. діал. *дзягна, дзягно* "болото" А. П. Непокупний об'єднує наведені білориські лексеми з дієсловом праслов. **žegti* на основі встановленого ним семантичного переходу "горіти" — "болото"⁵. Цей перехід, на нашу думку, можна деталізувати, поширивши його проміжною ланкою "гнити, пріти". Внаслідок чого встановлюється логічна послідовність у напрямку "горіти" → тліти, гнити, руйнуватися під впливом тепла і вологи → "болото". Можливо, ряд рефлексів-реліктів з початковим *d* на місці пізнішого *ž* (*жеети, жечь* і под.) варто подовжити застарілою чеською

Прі аналогічну назву *груш-дичок* в українській мові типу *гнилиця, гниличка*, яка походить від основи дієприкметника *гнилий* з *гнити*.

³Такий же несподіваний хід семантичного розвитку спостерігається у блр. діал. *стынець* "зотліти, зопріти" (*Ад дажджу ... क्या уся стынела*) при *стынь, стынішча* "холод, холоднеча". — Юрчанка Г. Диялектны слоўнік з гаворак Мєсцїслаушчыны. — Мінск, 1966. — С. 166.

назвою нечистої сили, чорта *dehpa*, сферою побутування якого є, крім іншого, й болото (пор. рос. розм. *черти болотные* і под.).

Таким чином, проаналізоване нами відтворення зафіксованого О. О. Потєбнею типу семантичної кореляції "горіти" — "гнити" у слов'янських мовах не лише підтверджує його типовість, але й свідчить про те, що його можна віднести до праслов'янської епохи.

Наступним символом, чи "звичкою думки", якій О. О. Потєбня надавав уваги і виділяв як таку, є позначення руху, швидкості за допомогою слів з первісним значенням "вогонь, світло", "горіти". Учений писав: "... від вогню і світла йдуть сила, спритність, розум, але лише через уявлення швидкості. Вогонь, світло і швидкість — споріднені у мові уявлення" (О... символах, с. 44). До кола мовних фактів, які репрезентують цю спорідненість відповідних уявлень, він залучав, наприклад, рос. *пар, жар, ярый*, діал. *яроватый, греть, гореть*, схв. *журити се* "поспішати", *кипеть* — пол. *kwarcić się* "те саме"; генетично споріднені з *пылать* "горіти великим полум'ям" діалектні слова *пылать* "бігти", *пылко* "швидко"; а також *варить* відповідно *варовый* "прудий" (О... символах, там же).

Ілюстрація О. О. Потєбнею співвідношення значень *кипеть* — пол. *kwarcić się* сьогодні може бути впроваджена у значно ширше коло етимологічних і семантичних корелятив у слов'янських мовах. Наприклад: укр. *квап* "поспішність", чес. *kvap* "те саме", укр. заст. *квапиту(ся)* "поспішати прагнути", *квапиту* "те саме; підганяти когось", укр. *квапливий* "поспішний, швидкий", пол. діал. *kwarpu* "те саме", чес. *kvarpu kwarplivú* "занадто поспішний, терміновий", слц. *švarpu* "раптовий" та ін. Цікавим прикладом семантичного переосмислення є пол. *kipieć*, яке у професійній мові мисливців означає "тікати з усіх ніг (про зайця)".

Семантичний паралелізм "горіти" — "швидкість" виявляються численні лексеми, що виводяться з ряду етимологічних коренів, які мають подібне вихідне значення — "горіти, палити". Пор.: укр. розм. *жарити* "швидко прямувати, бігти", *варка* "спішна справа, безлад, поспіх", *запарка* "поспішність у роботі внаслідок невстигання"; рос. діал. *греть, гореть* "швидко пересуватися"; блр. діал. *жигаць, жигнуць* "дуже швидко бігати", *джуглы* "рухливий, швидкий", *розжигацца* "часто вибігати з потаємним наміром"; пол. діал. *żugać, żqać* "швидко бігати; йти, подати (про сніг, дощ)", *dźgać* "бігти поспішаючи", *zdźgać, zdźgać* (*woda zdźgała do qóru*) "швидко з силою вириватися догори (про струмені води у фонтані)", діал. *palic* "поспішати, бігти"; чес. *harati* "швидко їхати або скакати на коні"; слц. *pálit* "тікати, бігти" тощо.

Ще однією "звичкою думки", яка торкається поняття горіння, є, за О. О. Потєбнею, семантичний перехід "горіти" — "бажати". Дана кореляція ілюструється вченим вказівкою на "малоросійську" гру в "горю дуб" або "горю пень", аналогічну російській *грї горелки*. Пор. її

опис: дівчина, яка почала "горіти" говорить "горю, горю дуб (або пень)". Одна з двох дівчат, що стоять напроти неї, питає: "Чого ж ти *горіш*?". Та відповідає "Красної панни!". — Якої? — Тебе молоді. — Після цього двос дівчат тікають, а та, що "горіла", прагне їх наздогнати (див. О ... символах, с. 8 — 9). Пор. також опис цієї гри в Етимологічному словнику М. Фасмера, де роль того, хто "горить", виконує парубок, який вигукує "Горю, горю пень". — Інші питають: *Что ты горішь?*. — Він відповідає: "Красной девицы хочу!" (підкресл. наше — Т. Ч.)⁶. Як бачимо, тут сама відповідь у вигляді *хочу* розшифровує переносну семантику формули *чого ти горіш*, тобто "що ти бажаш?". Однак можна припустити, що вказані назви гри (рос. *горелки*, укр. *в горю дуб / пень*) мотивуються також і первісним значенням кореня *гор-* < *горіти*. Підставою для такого припущення може бути реконструкція О. М. Трубачовим каузативного дієслова праслов. **qoriti*, до речі, без наведення української паралелі. Пор.: рос. діал. *горіться* "страждати, печалитися", *горіться* "тужити", блр. діал. *горыць* "бити лупцювати", чес. діал. *hořit si* "жалітися, бідкатися", пол. діал. *qożyć* "гнівити, сердити" і под.⁷ Варто зауважити, що більшість збережених рефлексів праформи **qoriti* виступає у переносному значенні, пов'язаному з вираженням негативних емоцій. Крім того, можна припустити, що в аналізованому нами контексті українське продовження статального праслов'янського **qoriti* могло функціонувати і в транзитивному значенні. Пор. подібне явище в схв. діал. *oqan] selo qori* "вогонь палить, знищує село" або *Ne qorj*, *Marko, žutu kosu moju!* "Не пали, Марку, мою золоту косу" чи болг. заст. *Делибашии горятъ селата* "Розбійники палять села" тощо.⁸ На перехідне, каузативне значення укр. *горіш* вказує, на нашу думку, і семантика тих субстантивів, які виступають в українській назві цієї гри та її формах, тобто *горю дуб*, *горю пень*, *горю панни*. Нарешті, про це свідчать і інші назви цієї гри, такі, як рос. діал. *огаришь* (О ... символах, с. 8) та *разгары*⁹.

Враховуючи усе це, є підстави вважати, що дієслово *горіш*, що збереглося у складі сталого ігрового словосполучення, є відображенням праслов'янського каузативу **qoriti* або семантичного каузативного різновиду праслов. **qoriti*. Саме формульний, ігровий характер висловів типу *горю пень*, *горю дуб* зумовив збереження цього мовного релікту. Можна зауважити також і те, що внаслідок самого характеру цієї гри, пов'язаної з біганиною та переслідуванням, семантика її мотивуючої основи *гор-* набуває вторинної асоціації з поняттям швидкості та бігу.

Отже, можна зробити висновок про імовірний праслов'янський характер і цієї, встановленої О. О. Потєбнею, семантичної кореляції.

Описані видатним лінгвістом напрямки семантичної еволюції не вичерпують діапазону смислової зарядженості слів із первісною семантикою горіння.

У межах генетичних гнізд із значенням горіння визначається продуктивна семантична кореляція "палити" — "бити". Причому кау-

зативність переносного "бити" підтримується аналогічним граматициним значенням вихідних дієслів, рефлексів праслов. **paliti*, **žeqti*, **žariti*, **variti* і под.

Вторинне значення "бити, лупцювати" виявляє значна кількість континуантів праслов'янських коренів **zeg-*, **žgti zig-*, **žig-*. Особливо переконливий матеріал дають діалектні джерела російської мови, зокрема Словарь русских народных говоров. Пор.: рос. діал. *жегануть*, *жегонуть* "несподівано сильно вдарити", *жегнуть* "бити коня батогами", *жегать*, *жегать* "вдаряти; вдарити, кинувши чимось", *жегать*, *жегать* "підстьобувати, вдаряти", *жеготить* "бити лозиною", *жегать* "сильно, боляче сікти", *ожгать прутом*, *жігать*, *жігать*, *жігнуть*, *жігануть*, *жігонуть* "різко вдарити, вколоти", *жечь кого-либо в игре* "під час гри у гилку вдарити когось м'ячем", *жгальить* "кинути каменем" і под. Додамо також численні свідчення в інших слов'янських мовах, зокрема: укр. розм. *джігнути*, *джигонуть*, *уджигнути* "вдарити, вжалити", блр. діал. *джогнуць* "вдарити, сікнути сокирою", *джогаць* "бити", *джгаць* "швидко бити" *джгануць*, *джгнуць* "вдарити", експрес. *джыгасіць* "швидко вдаряти; жалити кропивою"; пол. *żegać*, *żgać* "вдарити, штовхнути; випустити стрілу з лука", діал. *zgas*, *żgnąć* "чимось гострим поранити, вколоти", діал. *zoqnas* "вдарити"; болг. *жегнувам* "зачепити когось, вколоти", *жегна* "сікти лозиною"; схв. *žicati*, *žicnuti* "те саме", *жагнути* "пошкодити, вивихнути", *ожећи* "те саме", *прижгати* "сильно вдарити". Подібну семантичну кореляцію виявляють також дієслівні утворення типу рос. діал. *жагарить* "сильно, старанно мити, прати", *жарганить* "немилосердно бити", *жарганиться* "хльостати себе вінником у лазні", блр. поліськ. *жгернкць* "вдарити, кусонуть", які з боку словотворчої будови репрезентують цікавий результат контамінації синонімічних дієслівних основ праслов. **žag-* та *žeq-*.

Аналізований різновид семантичного паралелізму демонструють в ареалі східнослов'янських мов дієслова з коренем *жар-*. Наприклад: укр. *жарити* "сильно бити, сікти", розм. *вжарити*, *жаронуть* "дати гарячих", рос. розм. *жарить* "бити", діал. *жарнуть*, *жарнуть* "чимось сильно бити, скалічити", *жаркать*, *жаркнуть* "лупцювати, *ожаривать* "стьобати коня"; блр. діал. *жарнуць* (*жэрнуць*) "вдарити, різонуть", *жарыць* "стьобати, вдаряти", *жарануца* "сильно вдаритись".

Вербальні утворення з коренем праслов. **var-* представлені декількома ілюстраціями в українській та російській мовах. Пор.: укр. *приварити* (наприклад, у С. Васильченка — ... Звелів *приварить двадцять п'ять гарячих...*); рос. діал. *варить* "сильно

стьобати, бити, карати різками”, *варнуть* “те саме”, заст. *вызварити* “висікти, покарати”, *жварнуть, жварить* “сильно раптово вдарити, зачепити” * блр. діал. *жвірнуць* “вдарити, різонути”.

Континуанти праслов. **pal-* “палити” також відтворюють семантичну кореляцію “палити” — “бити”. Її репрезентують рос. розм. *пальнуть* “сильно щось на когось кинути”, експрес. *полыхнуть* “вдарити, полоснути (ножем, наприклад)”; блр. діал. *пальнуць* “вдарити з силою” *паліць* “ляскати, бити, стріляти”, *палнуць* “вжалити, сіконути”, *паліць* “стьобати коня; лаятися”; пол. *rałpas* “сильно зненацька вдарити”, чес. *páliti* «вдаряти по м'ячу», відбивати м'яч, *paráliti* “вдарити”, *vráliti* (*rapu*) “скалічити, поранити щось”, *odpáliti* “швидко вдарити”, слн. *opáliti* *kođa* ро *hrbtu* “вдарити когось по спині” тощо.

Та ж семантична відповідність властива цілому рядові поодиноких дієслівних утворень, продовжень інших давніх коренів з первісною семантикою горіння. Це, зокрема, такі: укр. *grіти, приgrіти, затопити, запекти, припекти, (при)парити, дати шкварки, шкваркнути, шкварконути*; рос. розм. *огреть, огреватъ, огреваться* “сильно вдаритись”, *смалить, печь, припечатать*; блр. діал. *горыць* “лущювати”, *загрэць* “сильно вдарити”, *пекнуць* “ляснути, стьобнути”, *пекці* “стріляти” тощо.

Проявом семантичної кореляції “палити” — “бити” на рівні субстантивів виявляються деривати, які позначають не лише процес відповідних твірних дієслів, а мають значення “удар” або “дубець, нагайка” і под. Пор.: рос. діал. *жигун* “лозина, дубець”, *жигдло* “нагайка”, *жигалка* “те саме”, *жига* “різка, якою підганяють коней” *жареха* “сильні побої під час бійки”, *жарня* “покарання різками; гаряча суперечка”, *жагун* “батіг; побої”, *жега* “те саме; лайка”, *жиганка* “покарання”, блр. *жиг* “удар, укус”, *джганіна* “покарання різками” *жигдло* «нагайка», укр. *гор'ячі* (*всипати гарячих*), «покарання, розм. *припарки* “те саме” і под.

Є підстави вважати, що залучення до аналізу матеріалу інших мовних груп (індоевропейських і неіндоевропейських), що належать до різних історико-культурних циклів та ареалів, є багатообіцяючим аспектом подальшого вивчення накреслених видатним лінгвістом семантичних паралелей.

* Згідно з ремаркою в Словаре русских народных говоров (вип. 9, с. 90), дана лексема розглядається як фонетичний варіант дієслова *шкварить*, що, загалом, допустиме. На нашу ж думку, більш імовірним видається вбачати у даному випадку результат контамінації синонімічних дієслівних форм *жарить* і *варить* або відповідно *жарить* і *варнуть*, що надає дериватам *жварить* і *жварнуть* додаткової констації інтенсивності дії.

Статья посвящена анализу и дальнейшей разработке установленных ученым моделей семантического параллелизма. На материале генетически родственной лексики славянских языков — слов праславянского происхождения, объединенных общим исходным значением “гореть, жечь”, исследуется проявление семантических корреляций типа “гореть, жечь — гнить”, “гореть, огонь” — “скорость”.

1 Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. — Praha, 1971. — S. 530.

2 Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. — Warszawa, 1974. — S. 571.

3 Петлева И. П. Этимологические исследования по славянской лексике. III. // Этимология 1973. — М., 1975. — С. 45.

4 Там же.

5 Непокупный А. П. Балто-севернославянские языковые связи. — К., 1976. — С. 182.

6 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. и доп. О. Н. Трубачева. — М., 1964. — Т. 1. — С. 440.

7 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. — М., 1980. — Вып. 7. — С. 46.

8 Див.: Черныш Т. А. Этимологические гнезда корней с исходным значением горения в славянских языках // Дис... кад. филол. наук. — К., 1985. — С. 19 — 27.

9 Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. — М., 1989. — С. 153.

В. М. БРІЦІН

СИНТАКСИС І СЕМАНТИКА ІНФІНІТИВА В КОНЦЕПЦІЇ О. О. ПОТЕБНІ

У статті показано вплив вчення О. О. Потебні про інфінітив на історію розвитку граматичної думки, обґрунтовується точка зору, що в повному обсязі багато положень, зокрема висновки про нездатність інфінітива бути справжнім підметом, додатком, самостійним присудком, тільки тепер починають входити в науковий обіг у зв'язку з посиленням уваги до проблем семантичного синтаксису, предикативності, частини-мовної диференціації лексики. Зроблена спроба дати, використовуючи теоретичну спадщину О. О. Потебні, нову інтерпретацію синтаксичних функцій інфінітива в ряді типів простого речення.

Для О. О. Потебні, праці якого відіграють значну роль у виробленні сучасних уявлень про категоріальний склад російської й інших слов'янських мов, притаманний значний інтерес до словоформ і ширше — граматичних явищ, що демонструють синкретизм своїх властивостей. До їх числа, зокрема, належить інфінітив, поглиблений розгляд якого допоміг О. О. Потебні сформулювати ряд важливих положень, частина з яких давно набула ознак класичності, деякі ж висновки тільки зараз починають втілюватись у мовознавство.

Якщо виходити з структури розділу, присвяченого інфінітиву (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 335 — 430), то на перший погляд, він спрямований лише проти зближення інфінітива з іменником, характерного для багатьох представників логіко-граматичної

школи; зокрема О. О. Потебня заперечує думку Ф. І. Буслаєва, що "неозначений спосіб, будучи з етимологічного свого утворення іменником віддіслівним, й вживається у реченні як іменник, означаючи підмет, присудок і додаток"¹. Насправді ж теоретична спрямованість зазначеного розділу значно глибша. Він відіграє помітну роль у концепції О. О. Потебні щодо визначення шляхів історичного розвитку граматичних явищ, а також взаємостосунків етимологічного і синтаксичного поглядів на граматичні форми. Зокрема, сутність її стосовно інфінітива досить концентровано виражена у визначенні: "...Інфінітив тільки б у в колись іменем, але не залишився ним, або, як говорять інакше, що він є ім'я в етимологічному і рід дієслова в синтаксичному відношенні" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 338). Не менше методологічне значення для пізнання процесів зміни категоріального значення, а також усвідомлення ролі синтаксичних аспектів у визначенні природи частин мови мають спостереження над синтаксичними позиціями інфінітива. "Неозначений спосіб, — зазначав О. О. Потебня, — як дієслово, завжди належить до категорії присудка у широкому розумінні, тобто не може бути ні справжнім підметом, ні справжнім додатком. І там, де неозначений спосіб, як кажуть, є підметом, точніше кажучи, його тільки висунуто на місце підмета. Роль додатка неможлива для неозначеного способу саме тому, що вона передбачає непрямі відмінки, яких також (вже) нема у неозначеному способі, як нема в ньому називного" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 342). Своєрідним уточненням думки про приналежність інфінітива до категорії присудка виступає зауваження, що «неозначений спосіб є такий рід одієслівлювання імені, якого особливе призначення є служити другорядним залежним присудком» (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 342). Його деталізації (послідовному розгляду суб'єктного й об'єктного інфінітива у поєднанні з особливими дієсловами) і присвячено більшість розділу.

Хоча у лінгвістиці утвердилось досить стійке переконання, що концепція О. О. Потебні у трактуванні інфінітива стала безроздільно пануючою, звертання до сучасних граматичних праць показує певну ілюзорність такого уявлення. Найбільші підстави для висновку про запозицієння поглядів О. О. Потебні дає розгляд досліджень, спрямованих на визначення частиномовної приналежності. Серед них абсолютно переважає розгляд цієї форми у системі дієслова. Значно рідше інфінітиву приписується властивість специфічної міжчастиномовної форми, позбавленої чітких морфологічних характеристик і використовуваної двома основними частинами мови — дієсловом та іменником². Трактування інфінітива як "іменника, що не дійшов на один крок до дієслова"³ переважно належить до історії граматичної думки. В інтерпретації ж синтаксичних властивостей інфінітива абсолютно переважаючою є традиція "розглядати інфінітив як субститут

іменника й приписувати йому синтаксичні функції іменника"⁴: підмета, додатка, головного члена інфінітивних речень. Оскільки ж синтаксичні критерії виступають однією з найважливіших ознак у диференціації словоформ за частинами мови, то стає зрозуміло нечіткість протиставлення інфінітива і віддіслівного іменника у сучасній граматичній традиції, її непослідовність порівняно з наведеними вище ідеями О. О. Потебні.

Причина огрубляючих трактувань інфінітива, що утвердились у граматичній, полягає не тільки у неповноті опису семантичних і синтаксичних властивостей цієї форми. Починаючи з праць О. О. Потебні, вона привертала увагу численних дослідників, унаслідок чого багато питань, залишених без відповіді, отримали своє вирішення. Зокрема, досить докладно й вичерпно, хоча й тут залишаються певні лакуни, переважно нормативно-стилістичного характеру, а також розходження у класифікаційних основах, описані дієслова з матеріальним значенням, які, за зауваженням О. О. Потебні, "дуже важко підвести під які-небудь розряди за їх лексичним змістом. Спроба зробити це зводиться до наведення окремих прикладів, тому що дієслова, наприклад із значенням колеблюсь, медлю, спешу, пренебрегаю, откладываю, опаздываю, поставлені під однією цифрою, все ж розсилаються різно, не виявляючи між собою більшої подібності, ніж з дієсловами хочу, желаю (і в подібному див. аияет — "время славу стертъ". — Держав.), изволю, благоволю, люблю, боюсь, опасуюсь, гнушаюсь, смею, могу, умею, ищю, пытаюсь, стараюсь, готовлюсь, думаю, замышляю, намереваюсь, силюсь, похваляюсь, або з дієсловами соглашаюсь, атказываюсь, обещаю, клянусь, присягаю, або начинаю, кончаю, перестаю, привыкаю, учусь, або удостоюсь, сподоблюсь" (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 369).

Основним стримуючим фактором, що перешкодив розвитку ідей О. О. Потебні про синтаксичні функції інфінітива, було переважання формально-граматичних поглядів на структуру речення, на принципи виділення його головних членів, на критерії визначення мінімальних структурних схем. Оперування лише поняттями підмет, присудок, головний член речення для позначення основи речення робило, зокрема, неможливим відображення розбіжностей між конструкціями, сформованими інфінітивом і віддіслівним іменником, або ж призводило до мовчазного обходження питань, чому ототожнювані конструкції з цими формами не аналогічні за семантичними чи семантико-стилістичними ознаками. Пор.: *Мне бегать глупо* — (?) *Мой бег глупый*; *Ему бегать полезно* — *Его бег полезный* — *Ему бег полезный*; *Он хотел уйти* — *Он хотел, чтобы ушли* — (?) *Он хотел ухода*. Спроби виходу за межі усталених підметово-присудкових репрезентацій структурних схем у лінгвістиці спираються на два певною мірою протилежні підходи. Один з них пов'язаний з намаганням розширити

коло форм, яким можливо приписати функцію підмета. Цей підхід, що спостерігався у деяких авторів логічних граматики⁵ і був пов'язаний з запереченням "номінативізма" підмета, дістав негативну оцінку з боку О. О. Потебні, оскільки при цьому відбувалася зміна граматичних категорій логічними: «поняття, як «логіко-граматичний» підмет», — зауважує він, — «містить в собі руйнівне для себе протиріччя, логічно немислимі» (Зап. по р. гр., т. 1 — 2, с. 68). Інший підхід, що отримав підтримку останнім часом, пов'язаний з усвідомленням думки, що "поряд з підметово-присудковою структурою в російській мові існують й інші синтаксичні структури, компоненти яких утворюють також предикативно значимі єдності, але демонструють інший, не підмето-присудковий тип речень"⁶. Отже, він сприяє розширенню понятійного апарата для фіксації не тільки підметово-присудкових структур, а й близьких, хоча й не тотожних їм утворень, зокрема не підметово-присудкових, відношення в яких "також можуть бути відношеннями суб'єкта та його предикативної ознаки, однак, на відміну від підметово-присудкових речень, суб'єкт виражений в них такою формою слова, яка з іменуючою, і, значить, суб'єктне значення тут виявляється ускладненим значенням самої цієї форми"⁷. Застосування цієї ідеї сприяло акцентуації уваги на семантичних передумовах виникнення предикативного зв'язку, оскільки, як видно хоча б з наведеної цитати, межі предикативних відношень при цьому трактуються ширше, ніж просто координативний зв'язок: фактично їх визначення спирається на пошук орієнтованих стосовно мовця і навколишньої дійсності ознаки та її носія.

Іншою передумовою введення поглядів О. О. Потебні на синтаксичні властивості інфінітива в науковій вжиток є розвиток гетерогенних поглядів на принципи частиномовного поділу лексичного матеріалу, за якими частини мови є пунктом перетину і взаємодії семантичних, синтаксичних і морфологічних ознак⁸. Звертання до категоріальних значень як до вищого рівня семантичного абстрагування, що служить своєрідним перехідним містком до семантико-синтаксичних і формально-синтаксичних аспектів частиномовної диференціації, дозволяє знайти ті розбіжності між інфінітивом і віддіслівним іменником, які позначаються на відмінностях їх синтаксичних функцій як членів речення. Ці розбіжності аналогічні протиставленням слів типу *веселый, веселиться, веселье*, в яких, як зазначає Л. В. Щерба, зміст "тотожний і лише сприймається через призму різних загальних категорій — якості, субстанції, дії"⁹. Наприклад, опозиція форми *бег*, з одного боку, і форм *бегаю, бегать* — з іншого, що позначають певну дію, базується на тому, що перше називає закріплене в суспільній свідомості я в и щ е, фрагмент дійсності з притаманними йому ознаками і основною з них ознакою буттєвості. Остання властивість відбивається у можливості поєднання віддіслівних іменників з предикатами абстрактного буття *существует, быть, выделяется* (вообще): *Бег вообще существует, есть, вы-*

деляется. Вона абсолютно не характерна для дієслів: **Бегаю (вообще) существует, есть, выделяется*; **Бегаю (вообще) существует, есть, выделяется*. Це пов'язано з категоріальною ознакою дієслів передавати не явища, а п р о я в и, що вичленовуються у тих чи інших субстанцій чи субстанціонально виражених ситуацій, властивостей, а отже, вони існують у реченнях, за винятком деяких безособових дієслів, лише у поєднанні з позначенням явищ. На семантичному рівні віддіслівні іменники виступають предикатними актантами, що позначають ситуації, а дієслова як предикати, що передають ті чи інші властивості предметів чи явищ.

У протиставленні віддіслівним іменникам інфінітив і особові форми дієслова, таким чином, тотожні: вони виступають предикатними знаками, валентно орієнтованими на сполучуваність з субстантивно оформленими актантами. Це положення також знайшло відбиття у науковій спадщині О. О. Потебні. "Коли б неозначений спосіб, — зазначав він, — був абстрактним іменником віддіслівним, тобто виражав ознаку, взяту з дієслова (дія) і представлену даним у фіктивній субстанції, то тим самим він мав би можливість представлятися виконавцем інших дій і їх предметом. Але неозначений спосіб у різних споріднених мовах саме тим і відрізняється від іменника, що не містить у собі свого суб'єкта, але вимагає його, як прикметник і дієслово. Тим часом він, мабуть, не є прикметником, не маючи навіть такої атрибутивності яку мають прикметники, позбавлені флексій (ст. слав. "сугубо грѣси"). Тому він може належати лише дієслову у широкому розумінні. Відмінність неозначеного способу від особового дієслова (vb. finit.) полягає у тому, що цей останній має в собі означення своєї особи (1-ої, 2-ої або 3-ої), тоді як у неозначеному способі, вирваному із зв'язку, особа залишається невизначеною" (Зап. по р. гр., I — II, с. 341). Крім зазначеної розбіжності між інфінітивом й особовим дієсловом вони різняться тим, що інфінітив виступає предикатним знаком, з допомогою якого описується певна неорієнтована у дійсності ситуація (її модель). Що ж стосується особового дієслова, то воно є предикатним знаком, що відбиває фрагмент дійсності, орієнтований стосовно буття мовця (наприклад, у реченні *Хлопець співає* мовець протиставляє себе хлопцю, а також подає дію співати як одночасну з моментом мовлення), або ж модель ситуації, певним чином орієнтовану у дійсності, співвіднесеною з буттям мовця (пор. *Нехай він співає!* = *Я вимагаю, щоб він співав*).

Отже, інфінітив, на відміну від особового дієслова виступає предикатним знаком, позбавленим предикативної орієнтованості у дійсності. Неозначеність сформованих ним моделей дійсності як раз і зумовлює багатство функцій інфінітива, що відбивають різноманітність шляхів орієнтації сформованої ним моделі ситуації у дійсності.

Виходячи з цих міркувань про дієслівні властивості інфінітива, який сам по собі не може бути назвою ситуації, а передає її лише у

поєднанні з іменними членами (експліцитно чи імпліцитно представленими), спробуємо прокоментувати деякі схеми речень, в яких інфінітиву приписуються властивості підмета.

На відміну від традиційної інтерпретації речень з формами на -о як безособових, автори ряду праць з синтаксису російської мови слушно розглядають їх як двоскладні. Зокрема у "Російській граматиці" все різноманіття таких речень підводиться під дві структурні схеми: підметово-присудкову (речення типу *Кататься весело*), в яких інфінітив включається у схему на правах підмета, і на підметово-присудкову (речення типу *Можно ехать, Приказано наступать*), в яких інфінітив також характеризується як компонент схеми, але з не підметовим значенням. Відповідно ці два типи речень символічно передаються у вигляді формул $\text{Inf} - \text{Adv}_o (\text{N}_2...)$ і Praed Inf^{10} .

Погоджуючись з думкою про двоскладність наведених речень, не можна разом з тим не відзначити ряд дискусійних моментів. По-перше, це протиставлення присудкових компонентів (у першій схемі вони характеризуються як прислівники на -о та непрямої відмінки іменників, у другій — як предикативи¹¹), по-друге, — приписування інфінітиву у першому випадку ролі підмета, у другому — не підметового компонента, тобто члена з неіменуючою функцією, у якого "суб'єктне значення... виявляється ускладненим значенням самої цієї форми"¹². На перший погляд, таке протиставлення функцій інфінітива спирається на порівняння з реченнями, в яких замість інфінітива вживаються віддієслівні іменники: утворення типу *Кататься весело* мають, хоча і неповні, відповідники серед підметово-присудкових речень *Катание веселое*, тоді як речення, що підводяться під не підметово-присудкову схему $\text{Praed} - \text{Inf}$, їх як правило не здобувають, пор. *Нельзя кататься* — **Катание нельзя*. Однак цей прийом не може бути надійним критерієм, хоча б через приблизність співвідношень речень *Кататься весело* і *Катание веселое*: в першому, де вживано слово категорії стану, передаються відчуття неозначеного суб'єкта при виконанні ним дії, у другому — дається характеристика властивостей суб'єктно представленої дії. Слаба доказовість зазначеного прийому полягає і в тому, що він відбиває в першу чергу нерегулярність словотворних зв'язків предикативів і прикметників. В тих випадках, коли ці зв'язки існують (*невозможно-невозможный*), речення типу *Кататься невозможно* — *Катание невозможно* за змістом небагато ближче, ніж речення типу *Кататься весело* — *Катание веселое*. Це прямо суперечить думці, що в реченні *Кататься невозможно* (схема $\text{Praed} - \text{Inf}$) інфінітив виступає не підметовим членом, а у реченні *Кататься весело* — підметом.

Для визначення функціональної ролі інфінітива в розглянутих реченнях доцільно позначити у першому наближенні присудковий іменний некоординований компонент, що відзначається характеризуючою семантикою, позначкою Praed — тобто предикатив¹³, а потім на основі

аналізу відношень предикативів з іншими облігаторними компонентами речення з'ясувати їх різновиди, а також типи представлених ними схем.

Розгляд речень, що в "Російській граматиці" об'єднуються під схемою $\text{Inf} - \text{Adv}_o (\text{N}_2...)$, показує і неоднорідність, що базується на розбіжності семантики присудкового компонента. У їх складі можна виділити три групи: речення, в яких предикатив означає стан особи і здатний формувати інформативно достатнє речення без інфінітива; речення, в яких предикатив означає стан і не здатний формувати без інфінітива закінчене речення і речення, в яких предикатив не означає стан особи. В основі пропонованої диференціації предикатив лежить думка О. М. Пешковського, який зазначав: "Сполучення *мне холодно ехать* і *мне было свойственно краснеть* при повній зовнішній подібності глибоко різняться внутрішньо. У першому реченні форма середнього роду однини зв'язки (*было*) має значення не середнього роду і не однини, а безособовості, у зв'язку з чим *холодно* може розумітися як безособово предикативний член, а інфінітив — тільки як *п р и м и к а ю ч и й* (розрядка наша. - В. Б.) член. У другому реченні форма середнього роду однини зв'язки має своє буквальне значення, тобто означає у з г о д ж е н н я з п і д м е т о м середнього роду однини, а форма називного відмінка однини середнього роду прикметника (*свойственно*) ще більше підкреслює це значення, так що інфінітив виявляється як раз на місці цього передбаченого і дієсловом і прикметником підмета. І, отже, присудок тут особовий, а інфінітив є замісник підмета"¹⁴.

До предикативів, які здатні самостійно (без допоміжних засобів, у тому числі й інфінітива) означати стан актуального або віртуального суб'єкта належать слова *весело, боязно, страшно, скучно, совестно, обидно, досадно, приятно, хорошо, больно, неудобно, интересно, тепло, холодно* й подібні. Наприклад: *Мне весело*. Звернення до речень з цими предикативами стану показує, що вони часто реалізуються з інфінітивом (*Скучно мне глядеть-то на тебя* (О. Островський), спостерігаються також реалізації без давального суб'єкта (*Как зябка спать в сырой колне* (О. Твардовський). Перший з наведених прикладів (*Мне весело*) в "Російській граматиці" трактується як односкладне речення схема Praed , два останніх — як підметово-присудкові схеми $\text{Inf} - \text{Adv}_o (\text{N}_2...)$.

На нашу думку, всі три приклади допускають об'єднання на правах варіантів базової схеми $\text{N}_{\text{дам}} - \text{Praed}_{\text{стану}}$. Введення двоскладної не підметово-присудкової схеми $\text{N}_{\text{дам}} - \text{Praed}_{\text{стану}}$ на відміну від односкладної Praed відбиває прагнення, відображені в схемі необхідні компоненти семантичної структури предикатного виразу: тенденцію до суб'єктної локалізації відношення, що виражається предикатним знаком, а саме позначення суб'єкта носія стану. Виключення цієї аргументної позиції експерієнсівна зі схеми веде до комунікативної неповноти речення і рівнозначно визнанню речень, що передають факт буттєвості безсуб'єктного стану. Пор.: *Весело* і (?) *Весело было*,

Весело будет — Пожар і Пожар был, Пожар будет. На відміну від імен на позначення події, як видно з наведеного протиставлення, слова категорії стану самостійно не здатні передавати буттєвості ситуації через просторову нелокалізованість стану. Найбільш типовим засобом локалізації як раз і виступає форма давального суб'єкта носія стану.

Проти включення в схему форми $N_{\text{дам}}$ можна висловити ряд контрверсій, які, на нашу думку, все ж не заперечують висловлення ідеї. По-перше, це наявність речень без $N_{\text{дам}}$: *В лесу весело, С друзьями весело, Кататься весело*; по-друге, це положення про підметову функцію інфінітива в таких реченнях. Аргументуємо нашу точку зору, спираючись для початку на речення, де разом з предикативами стану вживається давальний суб'єкта й інфінітив: *Кататься мне весело; Мне весело кататься.* Ці речення у семантичному плані біпредикатні: предикатні вирази в них знаходяться у детермінантних відношеннях. Пор.: *Мне сейчас весело кататься- Я сейчас катаюсь, и мне весело.* На відміну від наведеного складносурядного речення у простому реченні з двох предикатних виразів предикативну оформленість отримує лише один: *Мне весело.* Що ж стосується предикатного утворення *мне кататься*, то його функція — позначення ситуації, в межах якої спостерігається стан *весело*. Таким чином, враховуючи сказане, інфінітиву може бути приписана функція ускладнювача мінімальної схеми. Подібно, наприклад, до форм типу *у лісі, з друзями* тощо в реченнях *У лісі (з друзьями) мені весело*, інфінітив обмежує ситуативні рамки вірності інформації предикативного центру речення. Одним із свідчень цього може бути порівняння відповідників реченню *Кататься мне весело: При катании мне весело: Катание мне веселое.* Перше з наведеної пари, де інфінітив замінений детермінантом *при катании*, значно ближче до вихідної конструкції, ніж друге, де інфінітив трансформовано у підмет.

Враховуючи визначення термінів лімітативів ¹⁵ і топік ¹⁶, позначимо функцію тематичного інфінітива в реченнях типу *Мне кататься весело* як топікоподібного ускладнювача схеми, а рематичного у реченнях типу *Мне весело кататься* як лімітативного ускладнювача.

На відміну від речень з вираженим суб'єктом у реченнях типу *Кататься весело*, де спостерігається узагальнення суб'єкта стану, функції інфінітива дещо змінюються: його присутність стає передумовою збереження інформативної достатності конструкції. Він обмежує не тільки ситуативну сферу, де спостерігається названий стан, але й дотично обмежує коло його носіїв: *весело всім, хто катається.* Отже в даних випадках слід говорити про дотично псевдопідметово-присудкову реалізацію базової не підметово-присудкової схеми $N_{\text{дав}}$. — $P_{\text{гаед}}$ стану.

Ознакою топікоподібною й лімітативної функцій інфінітива є те, що моделі дійсності, які він формує, в часовому відношенні усвідомлюються як одночасні з ситуацією, вираженою предикативним центром. У ряді випадків таке співвідношення порушується.

Наприклад: *Мне страшно в мечтах изомлеть на высокой этой земле* (М. Асеев). У наведеному реченні інфінітив, будучи факультативним розповсюджувачем схеми, називає можливу модель дійсності, що зумовлює виникнення у суб'єкта певного стану, а отже йому може бути приписана функція непрямого каузативного деліберата. Ця функція звичайно фіксується при предикативах *боязно, страшно, стыдно*, які, хоч і виражають стан, досить близькі предикативам емоційного відношення: *жалко, жаль, любо, желательно, улекательно, ненавистно, мучительно, невыносимо, обременительно* та ін.

Для предикативів емоційного відношення притаманна інформативна недостатність у рамках схеми $N_{\text{дав}}$. — $P_{\text{гаед}}(?)$ *Ему жалко; (?) Ему желательно*, що змушує розглядати інфінітив як облігаторний компонент схеми $N_{\text{дав}}$. — $P_{\text{гаед}}^{\text{емоц. віднош.}}$ Inf. У ряді випадків — за умови позачасового й узагальнено-особового тлумачення предикатива — інфінітив здатний ставати псевдопідметовим компонентом схеми Inf — $P_{\text{гаед}}^{\text{емоц. віднош.}}$.

Значна частина речень, що в "Русской грамматике" підводяться під схему Inf—Adv—0 ($N_2...$), утворюється предикативами оцінки, за допомогою яких даються естетичні, етичні, нормативні часові та інші оцінки моделей дійсності, що їх передає інфінітив з залежними від нього членами. Наприклад: *Нам важно пока договориться с тобой, раз удобный случай вышел* (А. Иванов); *Котельников. Знаете... иногда, если незачем жить, достойнее умереть* (Б. Лавренков); *Глупо быть трусом, если ты все равно окружен* (Є. Євтушенко). Оскільки у вираженні моделі дійсності беруть участь крім інфінітивного предикатива і залежні від нього актанти, інфінітив виступає не типовим підметом, а головним членом, що представляє цілий предикативний вираз. Ця заміщаюча функція дає підстави назвати інфінітив псевдопідметом, а речення з предикативами оцінки визначити як двоскладні псевдопідметово-присудкові і позначити їх схемою Inf— $P_{\text{гаед}}$ оцінки. Враховуючи ж той факт, що предикативи оцінки, на відміну від предикативів стану, не поєднуються з формами давального суб'єкта — досить частотними при інфінітиві (пор.: *Мне глупо; *Нам важно), давальний суб'єкта не може бути включений до складу мінімальної схеми. Ця форма як правило виступає лімітативним членом, за допомогою якого конкретизується об'єкт оцінки, рідше вона виконує роль суб'єкта оцінки (авторизатора).

Окрему групу в російській мові утворюють речення з модальними предикативами. Традиційно вони інтерпретуються як односкладні ¹⁵. Основне заперечення проти такого їх трактування полягає у складності приписування модусу буттєвості тому, що позначається модальним словом. Це було б рівнозначно визнанню абстрактного існування в дійсності модальних понять як самодостатньої сутності: *Надо — есть; *Надо — было; *Надо — будет. Тому більш адекватною видається двокомпонентна інтерпретація таких речень, в якій предикативу відводиться функція присудка. Зокрема, такий підхід

реалізовано в "Російській граматиці", де дані речення виділяються у розряд не підметово-присудкових схеми $\text{P}_{\text{гаед}} \text{Inf}$; протиставляються підметово-присудковим схеми $\text{Inf} - \text{Adv} - 0 (\text{N}_2 \dots)$ ¹⁶. Іноді речення з модальними предикативами тлумачаться як підметово-присудкові, в яких препозитивному інфінітиву приписується функція підмета¹⁷. Зважаючи на те, що, з одного боку, речення з модальними предикативами близькі підметово-присудковим реченням схеми $\text{N}_1 - \text{Adj}_{\text{кратн.}}$ (пор.: Ходить необхідно — Ходьба необхідно, Ходить невозможно — Ходьба невозможно), а з іншого — вони підкреслено специфічні, насамперед через відмінність інфінітива від віддієслівних іменників, що полягає у його заміщаючому вживанні у реченні на позначення цілісної ситуації з притаманними їй предметними актантами, вважаємо за можливе підвести частину речень з модальними предикативами під псевдопідметово-присудкову схему $\text{Inf} - \text{P}_{\text{гаед}} \text{мод.}$. Але, в відміну від речень з предикативами оцінки, у складі розглядуваних речень у ряді випадків виділяється і трикомпонентна не підметово-присудкова схема $\text{N}_{\text{дав.}}$ — $\text{P}_{\text{гаед}} \text{Inf}$, в якій предикативно характеризованим є давальний суб'єкта. Така інтерпретація впливає зі сполучуваності давального суб'єкта з модальними предикативами (пор. *Мне это надо* — **Мне это некрасиво*), з регулярності речень з підрядними з'ясувальними типу *Мне надо, чтобы он позвонил*. Частотність реалізації однієї з названих схем багато в чому залежить від того, який предикатив використовується у реченні. В реченнях з предикативом необхідності *надо, надобно, нужно, необходимо* базовою є схема $\text{N}_{\text{дав.}}$ — $\text{P}_{\text{гаед}} \text{Inf}$, яка відображає речення з суб'єктом користі (бенефактивним), або ж з посесивним суб'єктом бажання або обов'язку. Наприклад: *Я убежден, — продолжал Свдой после короткого молчания, — адмиралу Дубасову.. угодно, чтобы мы стояли до последнего. Им надо уничтожить нас, стереть с лица земли очаг востания* (Ф. Таурін) — *Им угодно (хочется) уничтожить нас...*, *но не Им следует (должно) уничтожить нас; Ему же надо идти в школу — Ему же должно идти в школу*. Речення з предикативами необхідності можуть ставати засобом спонування. Наприклад: *Тебе надо зайти к нему — Зайти к нему*. При цьому присудковий комплекс втрачає здатність давати предикативну характеристику давального суб'єкта (пор. *Им (они як!?) надо уничтожить нас — Тебе (*ти який?) надо зайти к нему*), це дає підстави для позначення його терміном формальний присудок.

За умови усунення бенефактивного чи посесивного суб'єкта інфінітив втрачає допоміжну деліберативну функцію і висувається в позицію дотично предикованого компонента: він передає модель дійсності, якій вписується ознака необхідності. Наприклад: *Грех да позор... как дозор.. нести надо* (А. Іванов).

Аналогічні типи речень виділяються і при вживанні предикативу обов'язку *должно*. Однак тут можна припускати, що первинною функцією предикатива *должно* є передача певного спонування.

Наприклад: *Арсеньев а. И братец Афанасьев мне отписал, что тебе должно стараться в службе ретивей быть* (Б. Лавренъов). На базі цієї схеми $\text{N}_{\text{дав.}}$ — $\text{P}_{\text{гаед}} \text{мод.} \text{Inf}$ з формальним присудком, очевидно, утворилася омонімічна схема в якій давальний суб'єкта є носієм певного обов'язку, названого присудковим комплексом, а отже отримує предикативну характеристику як носій обов'язку. Наприклад: *Мне должно было стрелять первому* (О. Пушкін). Остання схема виступає джерелом утворення маловживаних речень типу *Читать — должно*, в яких інфінітив висувається в позицію псевдопідмета.

У складі речень з предикативами можливості і здібності *можно, нельзя, невозможно, возможно* домінуючою є двоскладна реалізація $\text{Inf} - \text{P}_{\text{гаед}} \text{мод.}$, в якій виражається характеристика інфінітивної моделі дійсності з точки зору можливості чи дозволеності її реалізації. Значення дозволеності спостерігається за умови використання предикативів *можно* і *нельзя*. Причому диференціація значення можливості та дозволеності в реченнях, що містять предикатив *можно*, повністю спирається на контекст. Наприклад: *Если что — стрелять можно и одной рукой* (А. Іванов); *Можно галку убить и сороку, Но обычаи наши строгие: Ни один сорванец босоногий На скворца не поднимет руки* (В. Солоухін). Для речень з предикативами *нельзя* забороняюче тлумачення предикативної характеристики притаманне переважно при інфінітивах недоконаного виду, а значення неможливості — при інфінітивах доконаного виду¹⁸. Пор.: *Эту книгу нельзя читать — Эту книгу нельзя прочитать*.

Введення в речення з зазначеними предикативами давального суб'єкта призводить до перерозподілу семантико-синтаксичної структури, результатом якого стає висунення цієї форми у позицію предикативно характеризованого компонента, інфінітив і предикатив при цьому перетворюються у присудковий комплекс, що виражає певну здатність чи повноваження суб'єкта. Наприклад: *Ведь потому лишь сам держусь, что плакать мне нельзя* (О. Твардовський); *Ему невозможно забыть об этом*.

Здатність бути підведеними під одну з двох схем $\text{Inf} - \text{P}_{\text{гаед}} \text{мод.}$ та $\text{N}_{\text{дав.}}$ — $\text{P}_{\text{гаед}} \text{мод.} \text{Inf}$ притаманна й реченням, що містять у своєму складі предикативи волевиявлення. Особливість цих речень полягає в тому, що крім предикативів, які можуть формувати речення обох схем, зустрічаються такі, що утворюють лише якусь одну схему. Так, предикативи *ладно, довольно, полно, достаточно* вживаються лише для передачі актуального волевиявлення. Наприклад: *Полно тебе ворчать; Довольно скорбеть! Довольно!* (С. Есенін). На основі цих речень актуального спонування, що підводяться під не підметову — формальноприсудкову схему $\text{N}_{\text{дав.}}$ — $\text{P}_{\text{гаед}} \text{мод.} \text{Inf}$, спорадично утворюються двокомпонентні псевдопідметово-присудкові речення схеми $\text{Inf} - \text{P}_{\text{гаед}} \text{оцінки}$, в яких модальний предикатив трансформується у предикатив оціночний. Наприклад: *Нет, довольно хлопать в ладоши* (М. Асеев); *Довольно мне быть воином* (М. Ян).

Лише псевдопідметово-присудкові двокомпонентні схеми Inf — Pгаед_{мод.} здатні утворювати предикативи *заведено, прийнято, намечено, заплановано, задумано*, які досить близькі оціночним предикативам. Останнє підтверджує і подібність синтагматики цих предикативів до оціночних: вони сполучаються з підрядними з'ясувальними з сполучником *що*.

Навпаки, речення з дієприкметниковими формами, які включають сему "актуальне говоріння" (*приказано, сказано, велено, предложено*), не здатні предикативно характеризувати інфінітив, утворюючи схему Inf — Pгаед_{мод.} Вони послідовно підводяться під трикомпонентну схему N_{дав.} — Pгаед_{мод.} Inf, в якій інфінітив виступає зв'язаною деліберативною синтаксею.

Отже, спроба більш повного залучення семантичних ознак для інтерпретації структури речення і функцій форм, що його будують, відкриває шляхи для впровадження в синтаксис концептуальних поглядів О. О. Потєбні на інфінітив, на будову речення. Основна причина існування парадоксальної ситуації, коли ідеї О. О. Потєбні щодо інфінітива беззаперечно визнавалися, але не використовувалися, полягає у переважно формальному, структурному описі синтаксису: думки вченого просто не вкладалися у вироблені стереотипи синтаксичного членування речення. Можна зауважити, що ступінь сприйняття його концепції синтаксисом прямопропорційний мірі превалювання в описі семантичного над структурним. Зокрема, не тільки можливість, але й необхідність концепції О. О. Потєбні показує підхід до речення як до переважно двоскладного утворення, в якому вчленовуються не тільки підметово-присудкові форми вираження предикативних відношень. Значний масив теоретичних ідей вченого і його конкретних спостережень, що досі залишилися поза глибокого осмислення, створюють необхідне підґрунтя для розв'язання такого фундаментального питання синтаксису, як типологія предикативних відношень і синтаксисі слов'янських мов.

В статтю показано вплив учиння А. А. Потєбні об інфінітиві на історію розвитку граматическої мислі, обосновується мненіе, что в полном объеме многие положения, в частности выводы о неспособности инфинитива быть настоящим подлежащим, дополнением, самостоятельным сказуемым, только сейчас начинают входить в научный обиход в связи с усилением внимания к проблеме семантического синтаксиса, предикативности, частеречной дифференциации лексики. Предпринята попытка дать, используя теоретическое наследие А. А. Потєбні, новую интерпретацию синтаксических функций инфинитива в ряде типов простого предложения.

¹ Булаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. — М.: Учпедгиз, 1959.

² Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.: Наук. думка, 1988. — С. 81.

³ Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — М.: Учпедгиз, 1956. — С. 131.

⁴ Золотова Г. А. О синтаксической природе современного русского инфинитива // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. — 1979. — № 5. — С. 43.

⁵ Див. про це докладніше: Виноградов В. В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потєбні и Фортунатова). — М.: Изд-во МГУ, 1958. — С. 343 — 344.

⁶ Шмелев Д. Н. Синтаксическая членность высказывания в современном русском языке. — М.: Наука, 1976. — С. 145.

⁷ Русская грамматика: В 2 т. — М.: Наука, 1980. — Т. 2. — С. 94.

⁸ Див., наприклад, Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. — Л.: Наука, 1974. — С. 78 — 81; Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. — М.: Высш. шк. 1972. — С. 38 — 43; Жирмунский В. М. О природе частей речи и их классификации // Вопросы теории частей речи: На материале языков различных типов. — Л.: Наука, 1968. — С. 17 — 32; Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. — К.: Наук. думка, 1988. — С. 256.

⁹ Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Избранные работы по русскому языку. — М.: Учпедгиз, 1957. — С. 59.

¹⁰ Русская грамматика: В 2 т. — М.: Наука, 1980. — Т. 2. — С. 315 — 325.

¹¹ Там же.

¹² Там же. — С. 94.

¹³ Використання терміна "предикативи" пов'язано з необхідністю відмежування слів, які на відміну від прикметників мають ознаки некоординованих присудків, а на відміну від прислівників — здатність виконувати присудкові функції. Як видно з зазначеного, наше розуміння цього терміна частково відрізняється від смисла, який надавав йому А. В. Ісаченко — його автор: він зараховував сюди всі іменні форми, для яких, незалежно від їх координаційних ознак, пригаманна єдина функція — присудка.

¹⁴ Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — С. 355 — 356.

¹⁵ Грамматика русского языка: В 2 т. — М.: Изд-во АН СССР, 1952 — 1954. — Т. 2, ч. 2. — С. 30 — 31.

¹⁶ Русская грамматика. — Т. 2. — С. 321.

¹⁷ Мельников В. П. Двусоставные предложения с препозитивным инфинитивом при модальных словах и словосочетаниях: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — М., 1974. — С. 6 — 18.

¹⁸ Пор. близькі висновки: Небыкова С. И. Модальность предложений с зависимым инфинитивом (значения возможности и необходимости). — М., 1981. — С. 45 — 76; Беляева Е. И. Функционально-семантические поля модальности в английском и русском языках. — Воронеж, 1985. — С. 44.

М. К. ДМИТРЕНКО

РОЛЬ О. О. ПОТЄБНІ В СТАНОВЛЕННІ М. Г. ХАЛАНСЬКОГО ЯК УЧЕНОГО

Висвітлюється роль О. О. Потєбні в становленні М. Г. Халанського як ученого за-проваджується до сучасного наукового вжитку фольклористичні праці з архіва, які збагачують уявлення про наукову концепцію видатного дослідника, розкривають його високі морально-етичні якості. Основний пафос рецензії О. О. Потєбні на магістерську дисертацію М. Г. Халанського та критичних нотаток з приводу негативної рецензії П. О. Безсонова на фольклористичну працю молодого вченого спрямовано проти суб'єктивізму та дилетантизму в науці.

© М. К. Дмитренко, 1992

В архіві О. О. Потебні збереглися праці, що збагачують уявлення про його фольклористичну концепцію, метод наукового мислення, більш повно розкривають особистість — дослідника, викладача, вихователя.

Саме до таких праць належать відгук О. О. Потебні про магістерську дисертацію М. Г. Халанського та критичні замітки про рецензію П. О. Безсонова на дослідження молодого вченого.

У середині XIX ст. видатні вітчизняні вчені-філологи ряд наукових праць присвятили дослідженню епічної творчості: Ф. И. Буслаев "Эпическая поэзия" (1851), "Русская народная поэзия" (1861), "Русский богатырский эпос" (1862); А. А. Котляревский "Сказания о русских богатырях" (1857) та ін. Згодом з'явилися й перші монографії, спеціально присвячені дослідженню такого епічного жанру, як билина: Л. Н. Майков "О былинах Владимиров цикла" (1863), О. Ф. Миллер "Илья Муромец и богатырство Киевское" (1869), В. В. Стасов "Происхождение русских былин" (1868), Н. П. Дашкевич "К вопросу о происхождении русских былин. Былины об Алеше Поповиче и о том, как перевелись богатыри на святой Руси" (1883), А. Н. Веселовский "Южнорусские былины" (1884).

Вивчення билин йшло кількома напрямками. Спочатку на них дивились як на відображення міфологічних уявлень давніх слов'ян, потім представники культурно-історичної школи та школи запозичень, зіставляючи імена героїв билинного епосу із історичними постаттями, утвердили історичний напрям (вивчення власне історичне та порівняльно-історичне).¹

1896 р. побачила світ узагальнююча книга А. М. Лободи "Русский богатырский эпос. Опыт критико-библиографического обзора трудов по русскому богатырскому эпосу", згодом — цінні дослідження М. М. Сперанського, О. П. Скафтімова, братів Б. М. та Ю. М. Соколових. Порівняльно-типологічне вивчення жанру билини здійснили В. М. Жирмунський, В. Я. Пропп, Б. М. Путилов, Ю. І. Смирнов. Феномен билини як явища художньої культури розкрито в працях Д. С. Лихачова, Б. О. Рибаківа, М. М. Плїсецького. В останні десятиліття вітчизняне билинознавство поповнилося рядом помітних досліджень: С. Н. Азбелев "Историзм былин и специфика фольклора" (1982), В. П. Аникин "Теория фольклорной традиции и ее значение для исторического исследования былин" (1980), В. И. Калугин "Герои русского эпоса" (1983), А. М. Кінько "Билинна слава Києва" (1983), З. М. Петенева "Язык и стиль русских былин" (1985), Ф. М. Селиванов "Русский эпос" (1988) та ін.

Проте дослідження епічної творчості слов'ян залишається однією з найактуальніших проблем фольклористики. Отже, публікація праць О. О. Потебні необхідна як історикам, так і теоретикам науки про усну творчість.

У "Відгуку" О. О. Потебня оцінює дисертацію М. Г. Халанського як самостійне, змістовне дослідження, яке цілком заслуговує (незважа-

ючи на окремі невдалі місця, сумнівні положення) схвалення і допуску до публічного захисту. Вчений акцентує увагу на основних ідеях дисертанта, торкається важливих деталей. О. О. Потебня майже не полемізує з молодим дослідником щодо загальних положень; у концептивному плані, лаконічно він знайомить учену раду з науковою точкою зору М. Г. Халанського в контексті теоретичних пошуків європейської історико-філологічної думки.

У "Критичних замітках" О. О. Потебня ще раз наголошує, що дисертація М. Г. Халанського "свідчить про здоровий глузд автора та його здатність до написання наукових праць". Основний пафос цієї роботи полягає в захисті дослідження та особистості М. Г. Халанського від малопідставних претензій П. О. Безсонова.

Як відомо, професор Харківського університету П. О. Безсонов упродовж кількох років неодноразово писав реакційні політичні доноси на прогресивних діячів науки і культури, перешкодив захисту магістерської дисертації М. Ф. Сумцова. Ганебні наклепи на О. О. Потебню та його учнів, блюзнірське запобігання перед начальством зажили П. О. Безсонову славу "злого демона"².

Загальна точка зору О. О. Потебні на відгук П. О. Безсонова така: "Я вважаю, що мірка, з якою підходить пр. Безсонов до особистості та праці п. Халанського, цілком суб'єктивна, для інших несов'язкова та й неможлива".

М. Г. Халанський у дисертації "Великорусские былины Киевского цикла" (1885) відходить від міфологічних вивагод і стає на позицію історичного напрямку, обережно застосовуючи теорію запозичень і теорію конвергентного походження епічної творчості.

Професор П. О. Безсонов написав і подав до вченої ради Харківського університету різкий несхвальний відгук про магістерську дисертацію М. Г. Халанського, намагаючись дискредитувати молодого вченого, принизити його людську гідність.

О. О. Потебня був ознайомлений із цим текстом. Він аргументовано, використовуючи багатий арсенал наукової полеміки, саркастично висміяв опонента, який виступає від імені науки, начебто вона йому "рідна тітка чи сестра". Звичайно ж, у цьому щирому публічному виступі О. О. Потебні відсутня оцінка позитивних рис діяльності П. О. Безсонова³, проте він перейнятий турботою про наукову об'єктивність, істину, сповнений глибокого розуміння високої відповідальності дослідника перед суспільством.

Відгук на дисертацію М. Г. Халанського, полеміка з П. О. Безсоновим свідчать про широку наукову ерудицію О. О. Потебні, його чесне, сумлінне і принципове ставлення до справи виховання й підготовки молодих учених. Тут ми знаходимо позитивні оцінки діяльності збирачів і дослідників фольклору; переконуємось у винятково важливій для вченого ролі кожного слова й образу, нехтування

якою веде не тільки до спотворення змісту, затемнення значення, але й до розмивання морально-етичного статусу особистості дослідника.

Критерії оцінки досліджень не повинні передбачати ніяких цілей, крім наукових, — ось головний висновок, що його можна зробити з відгука О. О. Потєбні на дисертацію М. Г. Халанського та полеміки з П. О. Безсоновим.

Праці О. О. Потєбні ще раз підкреслюють велику його роль у становленні цілої плеяди видатних вчених: М. Ф. Сумцова, Д. І. Яворницького, Д. І. Багалія, М. Г. Халанського та ін.

Публікуючи архівні матеріали, варто згадати: невеликі за обсягом праці О. О. Потєбні використав у своїй статті "Безсоновщина" Ярема Айзеншток⁴, у багатьох випадках не розшифрувавши рукописів. Отже, якщо й можна говорити про першопублікацію Я. Айзенштоком "Відгуку" та "Критичних заміток", то лише із певними застереженнями. Крім того, давня, публікація Я. Айзенштоком уривків із праць О. О. Потєбні, пересипаних власними коментарями, вийшла невеликим тиражем і вже малодоступна сучасним дослідникам.

Освещается роль А. А. Потєбні в становлении М. Г. Халанского как ученого, вводится в современный научный оборот фольклористические труды из архива, обогащающие представления о научной концепции выдающегося исследователя и раскрывающие его высокие морально-этические качества. Основной пафос рецензии А. А. Потєбні на магистерскую диссертацию М. Г. Халанского и критических заметок по поводу неодобрительной рецензии П. А. Бессонова на фольклористический труд молодого ученого направлен прогив субъективизма и дилетантизма в науке.

¹ Детальніше про це див.: Академические школы в русском литературоведении. — М.: Наука, 1975, розд. 1 — 3; Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963; Астахова А. М. Былины. Итоги и проблемы изучения. — М.; Л.: Наука, 1966; Аникин В. П. Советская историческая школа в былиноведении (40 — 60-е годы) и Всеволод Миллер // Рус. фольклор, т. 19. — Л.: Науки, 1979. — С. 84 — 113 та ін.

² Див.: Азадовский М. К. История русской фольклористики, т. 2. — М., 1963. — С. 175; Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. 2. — СПб., 1891. — С. 333 — 346; Багалій Д. І. Автобіографія. — К., 1927. — С. 45 — 64; Айзеншток Ярема. Безсоновщина: 3 матеріалів до життєпису О. О. Потєбні // Записки історично-філологічного відділу ВУАН, — 1928. — Кн. 16. — С. 146 — 188.

³ Як відомо, завдяки сприянню О. О. Потєбні професор П. О. Безсонов потрапив до Харківського університету (це своє сприяння О. О. Потєбня згодом вважав "єдиною в житті помилкою"). Оцінку наукової діяльності П. О. Безсонова див.: Баландин А. И. П. И. Якушкин. Из истории русской фольклористики. — М.: Наука, 1969. — С. 57 — 95; — "Якушкин или Бессонов? К литературным спорам об издании песен, собранных П. В. Киреевским". Собрание народных песен П. В. Киреевского, т. 1: Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях / Подготовка текстов к печати, статья и комментарии А. Д. Соймонова. — Л.: Наука, 1977. — С. 269 — 270 та ін. В "Большой Советской Энциклопедии" (т. 5, изд. 2-е. — М., 1950, с. 94) відзначено: "Наукового значення дослідження Безсонова не мають... Цінні публікації усної народної творчості: "Болгарские песни" (1855), "Лазарица. Народные песни, предания и рассказы сербов

о падении их древнего царства" (1857), "Детские песни" (1868), "Белорусские песни" (1871). " П. О. Безсонов також опублікував "Песни, собранные П. В. Киреевским" (десять випусків: 1860 — 1874), "Песни, собранные П. Н. Рыбниковым" (чотири випуски: 1861 — 1864), "Калики перехожие" (шість випусків: 1861 — 1864). М. К. Азадовський зауважив, що видання пісень П. В. Киреевського та П. М. Рыбникова "викликали гостру критику сучасників" (Ф. І. Бусласва, О. О. Котляревського, О. М. Пипіна та ін.) — див. цит. працю, с. 174 — 175.

А. А. ПОТЄБНЯ

О СОЧИНЕНИИ М. ХАЛАНСКОГО "ВЕЛИКОРУССКИЕ БЫЛИНЫ КИЕВСКОГО ЦИКЛА". — ВАРШ[АВА], 1885. — 235 СТР.¹

Публікація М. К. Дмитренка

Автор не задается целью обозреть весь существующий весьма обширный материал; "не желая повторять задов", он "старается указывать только на то, что", по его мнению, "было до сих пор незамечено" (13). Мнение о южнорусском, в частности, Киевском, происхождении вел[икорусских] былин Владимирова цикла он считает "принятым на веру" (2) и отвергает присоединившуюся сюда гипотезу о переходе этих былин из Киевской области на Север вместе с массой населения этой области. Согласно с В. Б. Антоновичем, он считает "решенным в отрицательном смысле вопрос о запустении Киевской Руси в период татарского владычества, о переходе населения на север и северо-восток и о занятии места его выходцами из Галиции и Волыни" (4). Колонизация северо-восточной Руси принадлежит главным образом южнорусским племенам. Отдельные "переселенцы могли занести на север киевские сказания", "но занесенное могло состоять лишь в отрывках", при чем часть "зашедшего материала должна была затеряться в новой среде, другая — радикально переработаться сообразно с характером и симпатиями местного населения" (9). Т [аким] об [разом], автор старается держаться середины между мнением, выражающимся в названии былин Киевского круга южнорусскими, и другим (Н. И. Костомарова), по которому "былины (впрочем, с важною прибавкою: "в их настоящем виде") — произведения чисто русского Севера, исключительно великорусской ветви; а [всему] малорусскому племени [они] совершенно чужды [и незнакомы] (211).

Из таких соображений автор выводит свои задачи: не предполагая аргіогі единства киевского эпоса, отыскивает, какие былины туземны; какие заимствованы; какие историчны; какие фантастичны; какие зашли с юга; какие принадлежат Руси Северовосточной, Владимирской и Московской. В результате могут получиться данные

для решения вопросов об историческом развитии русского эпоса, о том, когда и как произошло объединение былевого материала во Владимиров круг и почему объединяющими принципами явились Киев и Владимир [11].

Частным исследованиям автор предпосылает главу о названии богатыря в Древней Руси. Согласно с мнениями, высказанными уже раньше (в соч. Дашкевича "Был. об Алеше Поповиче", 13 — 14) ², до появления слова богатырь (впервые в формах богатурь и богатырь величаемого в Ип[атьевской] л[етописи] под 1240 г. о татарских военачальниках) таким названием было хоробрь, в[елико] р[усское] хоробер, храбрь у юг[о] зап[адных] славян. "Замечательно, — говорит автор, — что в ранних письменных сказаниях, относящихся к борьбе с татарами, русские герои не называются богатырями и это последнее название приписывается только татарским витязям". Такое различие (храбр для своих, богатырь — для чужих) не удержалось и "свое слово вытеснено чужим" [23].

За исходную точку для суждения о "древнерусском эпосе" авт[ор] принимает "мысль о своеобразии русских племен", усилившемся "с разделением русской земли на уделы" и о "существовании нескольких областных эпосов": старокиевского, суздальского, московского, б[ыть] м[ожет], чернигово-сиверского и, конечно, новгородского. Содержание их состояло в подвигах местных "хоробров", сходство — главным образом в формальных приемах [творчества] (212). Исторические "хоробры" были служилые люди, отличавшиеся силою и удалью. Их образы вполне реальны. Хоробры, стоявшие в челе княжеских дружин, переходили от одного князя к другому; вместе с ними (уже в дотатарское время) могли переходить и сказания об их подвигах, при чем "дружинные певцы были естественными разносчиками местных преданий" (212). В XIII в. "славными хоробрами" Залесской земли "являются Олеша Попович, Тимоня и др. Татарское иго выдвинуло Илью. Тогда же созданы образы, олицетворявшие силу вражескую (Идолище). "Татарщина" разбила русскую землю на трое, при чем центром северо-востока стала Москва. Преимущественно тогда (XIV — XVI вв.) зашел туда эпос южный и вступил в сочетания с [эпосом] старосуздальским. "Москва, собирательница русской земли, явилась в период от XIV до XVI в. и собирательницей русского эпоса (неоднородного ни по месту, ни по времени составляющих его сказаний)" (213). Аналогично с этим стремление московских грамотеев собирать и приводить в известный порядок разбросанные по областям древние летописи, сказания, жития, результатом коего были [также] компилятивные сборники, как Четьи-Минеи Макария, Никоновская летопись и др. (219).

Сосредоточение былевого материала в один круг и не могло совершиться в Киевской Руси. Заключение эпических песен в цикл происходит всегда после событий, послуживших основанием для

этих песен и "требуется затишья в народной жизни", которого не было в Киевской Руси. И письменные памятники не дают основания утверждать, что кн[язь] Владимир был в дотатарскую эпоху центральным лицом русского эпоса (214). Руководясь мыслью о консерватизме устного народного творчества, автор соглашается с мнением пр[офессора] Ягича, что старокиевский эпос (который мог сохраниться на месте до козацких войн) в формальном отношении был похож на теперешние малорусские думы, не обнаруживающие стремления к циклизации (214).

"М[ожет] б[ыть], малорусский народ, более великорусского склонный в поэзии к реальной правде, вовсе не в состоянии образовать строгого эпического цикла, требующего (по необходимости) в интересах централизации отрешения певцов от [более] исторической группировки былевого материала, введения в круг песен о былом сказочных сюжетов, в видах пополнения недостающих звеньев в народных... воспоминаниях. Раздробленность в южнорусских сказаниях была одною из причин, почему они не обнаружили такой устойчивости, как великорусские былины и рассыпались, с одной стороны, по думам, с другой — по историческим песням" (215).

Трудно было бы объяснить "чистомеханическую роль Киева" (изображаемого в былинах сказочными чертами, как Царьград, Ерусалим, как у финнов Пойола) и князя Владимира (эпическая личность, наделяемая чертами московского царя), если бы "действительно Киевский цикл установился в Киевской Руси", непременно было бы более жизни в лице Владимира и более географической определенности в изображении Киева (215).

У сербов и болгар есть особый круг песен, в которых действие переносится в Стамбул, деятельность героев связывается с Султаном; но, говорит (продолжает) автор, не думаю, чтобы можно было родиной подобных песен считать окрестности Константинополя (3).

В Московском царстве были "обстоятельства, способствовавшие систематизации (былевого) эпоса в Киевский круг". Это, кроме упомянутого затишья и политического собирания земли, и память о первенствующем значении Киева, матери городов русских, и слава Владимира, с которого, а не с Рюрика, начинается родословие севернорусских князей (217). Кружок былин, в коих действие происходило в Кисве при [князе] Владимире, частью возникших в Северовосточной Руси на почве действительных отношений к Киеву, частью зашедших с Юга, оказал ассимилирующее влияние на все прочие, несвязанные первоначально с Киевом и кн[язем] Владимиром, относившиеся к другим событиям и лицам, другому месту и времени (217 — 218).

Из Московской Руси, как центра, эти былины, объединенные идеализацией Киева и кн[язя] Владимира, распространились во все стороны. Главная масса их перешла на Север, где они встретились с

былинами новгородскими. Уходившие в козаки на Дон и Волгу заносили былины туда и, быть может, передавали их запорожцам. Во время этого отчасти обратного движения прикрепились к Киеву севернорусские сказания об Илье и Михайлике (219 — 221).

Таковы главнейшие общие положения автора. Отвергая деление богатырей на “старших” и “младших” как произвольное, автор в другом смысле делит их на: а) богатырей периода дотатарского (Добрыня, Иван Данилович, Демьян Куденевич, Олеша Попович и др.); б) богатырей периода татарского (Идолище, Илья, Василий Игнатьевич) и в) богатырей московского периода (Соловей Будимирович, Тугарин, Жидовин, Святогор, Дюк). К последнему, московскому, отделу (периоду) автор относит и переделки книжных сказаний в былины (211).

Из частных отмечу следующее.

Добрыня. Автор присоединяется к мнению Буслаева и др., что в Добрыне соединены два образа: киевского Добрыни и какого-то рязанского богатыря, может быть, Тимони (Тимона) (42). Из мотивов, связанных с именем Добрыни, автор рассматривает два: а) мотив о встрече Добрыни с великаншей сближается с сербскими песнями о Марке и рассказом пятигорских татар. Последнее сближение дает повод к предположению, что образ великанши мог быть заимствован из кавказских сказаний, что вообще связи Руси с Кавказом во все периоды русской истории должны были оставить следы в русских сказаниях. Это автор старается подтвердить разбором малорусского предания о Буняке и мотиве усыновления; б) о Добрыне, Василе и Алеше. Автор не одобряет попыток усмотреть в этом широко распространенном мотиве мифологическую основу (42).

Иван Данилович. Рассказ Никоновской летописи о битве на Супой под 1136 г., в коем говорится о смерти “Ивана Данилова” богатыря “и” многих мужей сильных и храбрых”, автор считает самым ранним и достоверным свидетельством о Киевском богатырском круге и принимает за факт, что богатырь великорусской былины Михайлик или Иван Данилович назывался Иваном Даниловичем, — жил в XIII в. и был на службе у князя Ярополка Володимировича. Самую былинку автор отделяет от былины о Василе-пьянице и стрельбе из лука и от малорусского сказания о Михайлике и сближает с думою про Ивася Коновченко и сербскою песнею о гибели Секулы на Косовом поле.

Демьян Куденевич. В Никоновской летописи (1147 — 1148) говорится о якобы служившем князю Изяславу Мстиславовичу богатыре Демьяне Куденевиче, который в отсутствие прочей дружины сам со слугою Тарасом отбивались от Переяславля кн [язя] Глеба Юрьевича, потом один и без доспехов отражает половцев и, раненный стрелою..., отвечает князю, который дает ему дары и обещает волости: “Кто мертвый, желает дарования тленного?..” В этом ответе автор видит оскор-

бленную гордость (Демьяна) и на этом основании сближает рассказ Никоновской [летописи] с местною былинкою об Илье и Сухмане, посаженных Владимиром в тюрьму (56).

Олеша. То, что говорит автор об этом богатыре на основании Тверской и Никоновской [летописей], представляет мало нового сравнительно с исследованием проф[ессора] Дашкевича “Был[ины] об Алеше Поповиче”. Оба автора сходятся в том, что Олеша принадлежит первоначально Ростову и XIII веку, что отношение его ко времени Владимира есть позднейшее наслоение, равно как и сословный характер Олеша. Автор отвергает связь Олеша с Алексием Поповичем малорусской думы; эта последняя и былины о Садке могли возникнуть независимо одна от другой под влиянием книжных житий, из коих приводятся.

Богатыри татарского периода. После нашествия татар, особенно с образования Московского княжества, “сложился образ богатырей, стоящих на заставе, оберегающих границы русской земли подобно московским станичникам. Идеальным героем дотатарской Руси был дружинник-хоробер; в московско-татарскую пору таким стал стоятель-оберегатель; противоположность, выразившаяся, между прочим, в том, что когда в “Сказан[иях] о киевских богатырях” Владимир приказывает богатырям не разъезжаться, а беречь Киев, они отвечают: “Сторожем в земли мы не изводились жить, только мы изволили в чистом поле ездить” (76).

В отличие от мнения проф[ессора] А. Н. Веселовского, что “русский эпос почти не коснулся татарского”, автор полагает, что “период борьбы с татарами имел для великорусской народной поэзии такое же значение, как для сербов и болгар время борьбы с турками” (79 — 80). Более ранние отражения былин автор видит в сказаниях о смерти рязанского князя Федора и самоубийстве его жены (Евпраксии) и о Евпатии Коловрате, которые он обставляет сходными местами из устных памятников.

Взгляд на Идолище как на представителя язычества³ автор считает произвольным и на основании мест, где “Идолище” есть бранный эпитет Батыя, татарина, согласно с более поздним мнением О. Ф. Миллера, думает, что былины об Идолище примыкают к летописным сказаниям о насилиях татарских послов, баскаков. “Совпадения с летописными фактами в некоторых случаях [так] характерны, что приходится былины об Идолище относить к разряду исторических песен татарской эпохи” (89).

Илья Муромец. Некоторые мотивы, как о чудесном исцелении и сидении в темнице, находятся в связи с житийными сказаниями. В “Сказании о киевских богатырях” (Илье Муромце с товарищами), как ходили в Царьград и учинили себе честь, слово Царьград едва ли объясняется одними воспоминаниями о походах Руси в Грецию. Это сказание по времени и тенденции — одного разряда с возникшими в

XV — XVI в. о присылке Константином Мономахом Владимиру Мономаху царских регалий и о новгородском белом клобуке, мысль коих — связать известные явления русской жизни с Византией и тем их освятить и возвеличить.

Эрих Ляссота в конце XVI в. не называет Илью святым и помещает его тело не в пещерах; по сообщению, сделанному автору проф[ессорами] Петровым и Порфирьевым, старорусские аналогические памятники еще не знают святого Ильи Муромца, почивающего в пещерах. Поэтому автор думает, что прославление Ильи святым относится лишь к XVII в. и возникло в Киеве под влиянием великорусских богомольцев, зашедших туда и занесших некоторые былины о нем. Древность и историчность эпитета Муромец (Моровлин Ляссоты, 1594 г., Муравленик Кмиты Чернобыльского, 1574 г.) сомнительны (100 — 105).

Сближая был[ину] о Василие-пьянице и стрельбе из лука с малорусским сказанием о Михайлике, автор как исключительную параллель к последнему приводит летописный рассказ о добровольном выезде князя Михалка Юрьевого из осажденного Владимира на Клязьме. Он предполагает, что малорусское сказание есть пересказ великорусской былины (106 — 110).

Исходя от мнения пр[офессора] Ключевского, что сказание серба Пахомия Логофета "Об убиении [злочестивого] царя Батыя" (в коем герой принимает при единоборстве сторону врага) есть книжная обработка южнославянской песни, автор рассматривает сербские, болгарские и малорусские песни сходного содержания и приходит к заключению, что былина об Иване Годиновиче и царице Кошернице есть переделка южнославянской песни, занесенной на Север через Южную Русь (111 — 126).

Былины о том, как перевелись богатыри на Руси, сближены с ответственными болгарскими, приуроченными к завоеванию Балканского полуострова турками. Автор думает, что те и другие могли возникнуть независимо друг от друга из общего книжного источника, идущего от античного сказания о борьбе гигантов. Предполагаемое литературное сказание о наказании небесной силой возгордившихся своим могуществом людей ассимилировалось с туземными песнями о гибели храбров не только на Калке (1224 г.), где, по позднему сказ[анию], убит Олеша Попович с дружиною, но и на Сафате и в других местах (140 — 143).

К былинам Московского периода отнесены те, которые слабо связаны с Киевским богатырским кругом и 3-мя главными его представителями: Ильей, Добрыней и Алешей и с татарщиной, а, между тем, отличаются обилием бытовых фактов московского времени. Таковы был[ины] о Микуле Сел[яниновиче], Хотене, Чуриле, Дюке, Даниле Ловчанине, Сорока каликах и Соловье (144).

Запев былины о Соловье Буд[имировиче] ("Высота ли...") сближается с свадебными сравнениями. Вся былина — в связи с великорусскими свадебными песнями, так что Соловей — туземная идеализация жениха (178 — 186).

Былины о Тугарине Змиевиче принадлежат к одной группе с южнославянскими сказаниями о Змиях и Змиевичах (167). На сходстве имен Тугарина с Тугорханом летописным нельзя строить никаких убедительных выводов (176).

"Жидовин" — былина не имеет связи с хозарами и их жидовством. Это имя, как эпитет врага, могло появиться сначала в духовных стихах книжного происхождения. Самая былина есть вар[иант] мотива о встрече богатыря (Ильи Муромца) с сыном, который есть, между прочим, в числе нартовских сказаний (178 — 182).

"Для сравнения с русскими сказаниями о Святогоре и (якобы) "старших" богатырях представляют интерес кавказские сказания о столкновениях нартов с великанами" (184).

Былины о Дюке рассматриваются преимущественно со стороны отражения в них быта московского боярства XVI — XVII вв.

Храбры татарской и дотатарской поры защищают русскую землю от врагов. В эпоху князей, собирателей Руси, являются лица с мирными свойствами: крестьянин Микула, жених Соловей, богач Дюк, щеголь Чурило. "Высокие мотивы деятельности героев сменяются в былинах московской эпохи мелкими житейскими отношениями, интригами, а подчас и дрязгами. В богатырских образах раннего времени иногда удавалось отыскать исторические лица; героями были московского периода являются... чистые создания народной фантазии", что "обнаруживается уже в их именах и прозвищах: Дюк — богач (мр. дука), Соловей Будимирович, Микула Селянинович, Чурило — может быть, первоначально Щапленкович, а потом Ща-п-пленкович и просто Пленкович (208).

Исследование г. Халанского весьма содержательно. Круг наблюдений его довольно обширен. Приемы в общем кажутся мне правильными. Если некоторые его сближения слишком бледны или неудачны, то многие другие заслуживают внимания и одобрения. Таким образом, я думаю, что сочинение это вполне заслуживает допущения к публичной защите.

2 ноября 1887 г. А. Потемня.

¹ ЦДІА України. — Ф. 2045, оп. 2, од. оз. 10. — Арк. 1 — 8.

² Мається на увазі дослідження: Дашкевич Н. П. К вопросу о происхождении русских былин: Былины об Алеше Поповиче и о том, как перевелись богатыри на святой Руси. — К., 1883.

³ Такого погляду дотримувався П. О. Безсанов.

(КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О РЕЦЕНЗИИ П. О. БЕССОНОВА
НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЙ ТРУД М. Г. ХАЛАНСКОГО)¹

Публікація М. К. Дмитренко

Находя соч[инение] г. Халанского "Великорусские былины Киевского цикла" несвободным от ошибок в приводимых им текстах и делаемых им сближениях, я тем не менее думаю, что сочинение это заключает в себе многое, заслуживающее внимания и, с некоторыми оговорками, одобрения (напр.: гл. II, VIII, XI, XII); что оно вообще свидетельствует о здравомыслии автора и его способности к ученым трудам и потому может быть допущено к публичному защищению.

Напротив, пр[офессор] Бессонов говорит: "Позволяю себе даже недоумевать, как... книга (г. Халанского) могла поставить своим вопросом самозащиту при нашем факультете, где известно несколько знатоков и специальных ученых в области народного творчества" (1). Он спрашивает: «Кто стал бы в ущерб великодушию возражать (т. е. публично) на взгляды автора, высказываемые им с «крайней смелостью»?» И из великодушия не желает допустить к публичной защите представленного г. Халанским сочинения, в коем не находит ничего, кроме невежества и самомнения.

Со своей стороны считаю нужным сказать НЕТ для объявления столь резкого разногласия мнений.

Я думаю, что в большинстве случаев мера, предлагаемая профессором Бессоновым к личности и сочинению г. Халанского, вполне субъективна, для других необязательна да и невозможна. Вот несколько подтверждений этого мнения.

"Как студент, — говорит профессор Бессонов, — у меня слушавший лекции, Халанский далеко не отличался успехами". "Он не обращался к библиотеке моей собственной (помещенной для пользования желающих большею частью в самом университете), а здесь он нашел бы материалы, и именно для эпоса, гораздо обильнее и во многих случаях лучше (и рукописные, еще неотпечатанные, и неизвестные автору издания)" (2). Объяснение г. Халанским имени храбр "было бы удовлетворительным, если бы только он знал источники лучшие (а для этого, положим, обращался бы хотя к нам). Можно бы разъяснить ему..." и пр. (5).

Ставши на другую, более объективную точку, можно найти обстоятельства, смягчающие вину г. Халанского. Так, условия пользования частною, хотя почему-то и помещенной в стенах университета, библиотекой были неизвестны г. Халанскому, как неизвестны они мне и многим другим. Эти условия могли оказаться невыносимыми для независимого исследователя, каким я считаю г. Халанского, например, могли состоять в одобрении мнений профессора Бессопова. Между тем

"крайняя смелость" взглядов, приписываемая профессором Бессоновым г. Халанскому (10), состоит именно в том, что он не разделяет мнений профессора Бессопова о былинах Владимирового цикла, о появлении предков нынешних малороссиян в Киевской области лишь в XIII — XIV в., о богатырях старших и младших, о толковании эпических образов в том духе, что, например, богатыри, бежавшие в пещеры и окаменевшие, это — земля (в смысле земщины), ушедшая под землю, внутрь себя, к духу своему и т. п.²

Ставя отношение к себе, свое Я мерилом, профессор Бессонов своеобразно расширяет это Я: "Мы считаем, — говорит он, — что самый добросовестный совет" г. Халанскому "и личный, и со стороны науки и ее ученых, состоял бы именно в том, чтобы никогда не заниматься народным творчеством, — к этому он решительно неспособен, — ... а заниматься чем угодно, лишь бы не народным устным песнетворчеством и в особенности не его былинами" (9)³.

Таким образом, профессор Бессонов, отличая себя от "науки и ее ученых", в то же время дает совет от их имени; но так как никакие ученые полномочия и привилегии на добросовестность профессору Бессонову не давали, то ясно, что профессор Бессонов произвольно расширяет свою личность до отождествления ее с "наукой и ее учеными" и, в сущности, прилагает к г. Халанскому лишь свою личную мерку. Этот прием отождествлять себя с наукою уже давно замечен в профессоре Бессонове покойным Котляревским, который говорил: "Кончая свои заметки о богатырях, г. Бессонов изъявляет свою радость, что многие его положения приняты всеми критиками... как нечто непреложно-истинное. Не знаем, на чем основал г. Бессонов свое убеждение в таком "неожиданном успехе"; по крайней мере, сколько нам известно, никто из критиков не попытался стать на почву г. Бессопова, проверить его положения и "оправдать их" (далее речь о том, что такое оправдание и невозможно. — "Старина и народность" за 1862 г., 36 — 37).

Столь же субъективен полемический прием профессора Бессопова, состоявший в том, что профессор Бессонов приписывает г. Халанскому то, чего он вовсе не говорил, и затем негодует или издевается по этому поводу. Вот несколько примеров.

Профессор Бессонов говорит: "Где-то сочинитель напал на указание, что греч. *avp* значит не только "муж", но и "любовник", и строит на этом вывод: конечно, любовником бывает непременно мужчина, а не женщина, но обратно предоставляю это классикам" (4). Но Халанский говорит только (21): "в языках близки представления сильного и храброго, ..мужа и любовника..."

Вслед за вышеприведенной выходкой профессор Бессонов говорит: "Понятно после таких сведений, что автор имя Идолище в наших былинах считает простым "бранным эпитетом" и сам бранит "чистейшим произволом" тот взгляд, по которому все ученые" (прием, упомянутый мною выше. — А. П.) "видят здесь олицетво-

рение язычества. Халанский, очевидно, забыл, что это слово по происхождению греческое и получило настоящий технический смысл со времен христианского для обозначения всего языческого" (4). Называя г. Халанскому забвение греческого происхождения слова Идолище (Идол), профессор Бессонов опускает три цитаты, которыми г. Халанский подтверждает, что "Идолище" (слово, объясняемое как бранное и в Словаре Даля) действительно встречается в былинах как эпитет татарина, а также ссылку на уважаемого ученого О. Миллера (Гал[ахов]. Ист[ория] р[усской] сл[овесности] древней и новой], I, 93), который говорит: "Особую отрасль былии о расправе с татарщиной составляют былины об Идолище Поганом. В некоторых пересказах он (Идолище) прямо называется Батьем Батьевичем".

Профессор Бессонов говорит, что у г. Халанского единственное "основание для сравнения и тождества малорусского Коновченко с древним богатырем Михайлою Даниловичем — есть соотношением неудачи их подвига" (7). На самом деле у Халанского вовсе не это одно, а и следующее: в думе Филон предлагает "старинным" козакам выйти на первый бой с турками, те отвечают молчанием и вызываются только юноша Коновченко. Филон замечает ему притчею об уяты. Черты, соответствующие этим, между прочим, притчу о гоголе, г. Халанский находит и в былине о Михайле Даниловиче (45).

Профессор Бессонов говорит: "Многочисленные выписки автора по сравнению самых разнообразных памятников (стр. 114 — 124), основаны на locus communis, или, что тоже по термину автора, на былевой формуле — убийство женщины за неверность"; "Тут попались и Владислав Венгерский, и сербский Страхия (Трахиня), и Марко..., и всевозможные герои сербские, болгарские и русские, с очень "дельным" (ирония) замечанием автора, что эпизоды такого рода представляют "особый интерес для занимающихся вопросом об устойчивости народнопозитических мотивов" (Халанский, 114). Действительно, такой мотив, как неверность женщины, очень устойчив во всех странах" (?) (8). Но основанием сближений, делаемых г. Халанским, служит вовсе не та нелепость, которая приписана ему профессором Бессоновым, а нечто другое: герой настигает врага, похитившего его сестру или жену, невесту, вступает с ним в единоборство, при чем похищенная принимает сторону врага и за это наказана.

Профессор Бессонов говорит: "Чувствуя слабость колядок для приписанной роли" (т. е. для восстановления древнего южнорусского эпоса), "сочинитель предлагает отыскивать следы мнимого, или прошлого, эпоса уже в летописях, и, что для нас неожиданно, обещает даже науке (путем научного анализа) найти в летописях с одной стороны самую "древнюю историю", с другой — "современную малорусскую песенность и так, что выходит, современные колядки возводятся к древнему эпосу, но для этого нуждаются в летописях, летописи же, открывая нам древнюю историю (чего мы прежде не знали. — А. П.), открывают вместе и следы современных песней в купе с нынешними

колядками (чего мы еще менее ожидали, ибо это значит — следы настоящего в прошедшем и источник для восстановления прошлых явлений в настоящем. — А. П.)". Если бы кто не поверил, вот подлинное слова автора: "Не с великорусскими былинами в руках" (так называет он сохранившиеся на Севере и воспевающие доселе Киев с князем Владимиром), "а с летописью нужно отыскивать следы древних историй и современной малорусской письменности". Оставляю на ответственность автора такое убедительное положение и поучение, "мы скажем..." и пр. (8). Нелепость происходит здесь от того, что профессор Бессонов глумится не над нею, а над своим измышлением, ибо Халанский говорит следующее: "Наибольше пользы... должно принести изучение малорусской народной поэзии без великорусских тенденций. Не с великорусскими былинами в руках, а с летописью нужно отыскивать следы древней истории в современной малорусской песенности" 4.

Когда в сочинении, относящемся к истории словесности, говорится о восстановлении древнего эпоса по уцелевшим следам, то, казалось бы, понятно, что идет речь о том восстановлении прошедшего, к которому стремится палеонтолог и историк быта и пр.; о том, что пытаться у нас делать истории словесности, напр., Буслаев, собирая "разрозненные члены эпического предания", отыскивая "следы эпических форм малорусской поэзии в русской и вообще славянской литературе IX — XIII в." (Бусл. Оч., I, 214, 217 и пр.). Никто не станет глумиться над попытками палеонтологов на том основании, что, напр., восстановленные ими животные не станут жевать жвачки. Между тем, когда г. Халанский говорит, что древний южнорусский эпос "восстанавливается путем научного анализа" новейшего эпоса (221 — 222), то это возмущает профессора Бессонова: "Восстановление эпоса через современные колядки принадлежит к числу самых необычных в науке диковин и окончательно доказывает, что к истории народного творчества автор не имеет никакого прикосновения, а к самому творчеству ни малейшего чутья, подавно же знания в нем и опыта" (8 — 9), ибо "если бы кто и сочинил это несбыточное и припомнил... забытое, народ не примет этого, отвергнет как небылицу, и никак уже не запоет перед нами подобного эпоса" (9).

[Давно] сделано и остается донныне верным замечание Котляревского ("Ст. и народ." за 1861 г., 31 — 32): "г. Бессонов много раз предостерегает исследователей народной поэзии от увлечений и ни на чем не основанных гипотез; иногда... он бичует непокорных и придает позору, называя их то помешанными, то школьниками, то бездарными невеждами"; между тем "все вежливые упреки свои г. Бессонов с большим правом и истиною мог бы обратить к самому себе". Так и в нынешнем "Отзыве" профессора Бессонова вижу отсутствие сознания того, что меры, предлагаемые им к себе и к другим, различны. Напомнив о том, что "предмет книги" Халанского "народное песнетворчество составляет слишком давнюю" его, профессора Бессонова,

“специальность”, профессор Бессонов говорит: “Если уже кто (как Халанский) “берется” за исследование по народной поэзии, “то верно уже очень на себя надеется”, ибо народное песнетворчество... требует личных наблюдений, непосредственного знакомства с народом, с областью его творческих сил и произведений (здесь, как в политике, нельзя оставаться человеком кабинетным и ожидать практических выводов по одним книгам или на бумаге)”².

Этому требованию от пишущего о народной поэзии едва ли удовлетворяют вполне и такие люди, как Буслаев, О. Миллер, Веселовский, Миклошич, Ягич, сами не собиравшие из народных уст, подобно Киреевскому, Якушкину, Рыбникову, Гильфердингу и др., или собиравшие очень мало, сравнительно с объемом и значением своих исследований. Сам профессор Бессонов, по мнению, с некоторыми ограничениями, разделяемому многими, далеко не подходит под меру, которую он признает обязательной для других. Якушкин, один из сотрудников П. В. Киреевского, говорит: “Кто может сказать, по какому несчастному случаю весь сборник Киреевского да и все сборники (о коих упомянуто им выше. — А. П.) достались бесконтрольно в одни руки г. Бессонова? Где он проявил знание народной жизни; только впоследствии показал отсутствие понимания русской поэзии и зависть к заслугам П. В. Киреевского... Профессор Бессонов взял себе часть, м.б., лучшую, именно духовные стихи, из сборника Киреевского и издал их в своих “Каликах переходных”, да при этом ни одной строки не вложил в собрание, порученное его благодетелям...” “Родственники ли, друзья ли П. В. Киреевского, никто не имел права его трудами позволить делать имя кому-нибудь: это грех не только перед памятью Петра Васильевича, но это уголовное преступление перед обществом” (Соч. П. Якушкина, 1884, 469, 471).

Что до г. Халанского, то как ни малы его собрания, все же они более того, что о них известно профессору Бессонову, который говорит, что ему из прежних трудов г. Халанского “литературно” “известны” только несколько рукописных песен, “собранных гг. Зиборовским и археологом Эварницким”. Не следует думать, что г. Халанский приписывает себе чужие труды: сведения, кем записаны упомянутые песни (“Образцы народных говоров южной части Курской и северной Харьковской губерний”. — Русский филологический вестник, 1882 — 1883 г., отд. отт., 1 — 34) сообщены на 1-й странице самим Халанским. Им самим, кроме 9-й записаны песни, изданные в “РФВ” раньше тоже упомянуты, именно: “Русские народные песни, записанные в Щигровском уезде” (РФВ, 1880 — 81 г., отд. отт. 1 — 30 и 1 — 58)³ и “О некоторых особенностях народных говоров в северной части Путивльского уезда” (РФВ, 1886 г., 220 — 239). Кстати, упомяну две статьи г. Халанского: “О сербских народных песнях Косовского цикла” (РФВ, 1882 г., отд. отт. 1 — 63), “Заметки по славянской народной поэзии” (5 статей в РФВ, 1884 г., отд. отт. 1 — 56).

Профессор Бессонов обвиняет г. Халанского, что он на стр. 19 — 21 приводит песни из сборника Сахарова, “подделки которого давно уже

обличены и доказаны”. Сахаров позволял себе поправлять отдельные выражения песен, но песен не выдумывал. Если бы в его большом собрании (сборнике), которым ученые продолжают пользоваться и донныне, и нашлись песни целиком подложные, то (заключение) ко всему сборнику было бы несправедливо. По этому способу можно бы отвергнуть и весь сборник белорусских песен, изданных профессором Бессоновым, п. ч. здесь, напр., на стр. 35, № 80 профессор Бессонов не только приводит, как народную песню, грубую подделку, но и прилагает к ней мифологическое толкование. Что касается, в частности, до двух вариантов песни, приводимой из сборника Сахарова г. Халанским, то многочисленные ее вар[ианты], записанные разными лицами, а равно ее сходство с песнями малорусской и сербской, убеждают в ее подлинности и древности.

Таким же образом вменяется в вину г. Халанскому, что он не разделяет огульного и потому несправедливого мнения профессора Бессонова, что в “Очерке Архангельской губернии” Ефименко (т. е. в Материалах по этнографии русск. нас. Арх. г., т. 2) “песни [вообще] бросаются всякому в глаза своею искусственностью и позднейшей обработкой”.

Этим почтенным изданием пользуется не один Халанский, но и Веселовский, и О. Миллер, и др.

Замечательно обвинение в том, что г. Халанский “факты о Чуриле заимствует у новейшего польского собирателя Кольберга, видимо, не зная, что об этом гораздо обстоятельнее собрано еще на месте, среди галичан и издано еще у Жеготы Паули, а подавно не ведая о редких [разных], опубликованных однако подробностях касательно Чурилы, напр., о находке его камня и т. п.”

Г. Халанский не мог не знать, что у Паули есть песня с именем “Джурило”, ибо у Кольберга (Рокусиё, II, 156), которого он цитирует, сделана буквальная выписка из сб[орника] Жеготы П[аули], в коей опущено только несущественное, именно цитата из Др[евних] Р[усских] Стихов из Несецкого, о шляхетском роде Чурилове и вполне недостоверное сведение о божестве Чуре и его идолах. Паули, по весьма вероятным сведениям, сообщенным печатно Я. Ф. Головацким, принадлежит именно к таким, которые прямо из уст не собирали, а печатали чужие труды, тогда как Кольберг вообще и в настоящем случае (где он, кроме варианта Паули, дает еще 3, Рос., I, 176; II, 155 — 156) записывает на месте, прямо с голоса и с голосом. Что до известного профессору Бессонову камня, то пусть профессор Бессонов сам им и пользуется.

Профессор Бессонов говорит, что ошибки Халанского, “живе сердце” вм[есто] “живо” и Бугариштице вм[есто] Бугарштице, “обличают в нем незнание серб[ского] яз[ыка]”. Далее профессор Бессонов и указывает некоторые, по его мнению, ошибки в болг[арских] п[еснях], приводимых Халанским, и спрашивает: “Как где бы то ни было, особенно в народном песнетворчестве, где все свя-

зано с стихиями ⁶ (?) слова, звука и буквы передающей, строит выводы, а найпаче смелые, отличающие нашего автора? И как нам доверять выводам при таком пользовании материалом?" Но г. Халанский строит выводы не на этих ошибках. Да и что значат такие ошибки, такое незнание начинающего, сравнительно с теми, какие в изобилии могут быть найдены в русских текстах, изданных профессором Бессоновым, но подготовленных к изданию другими, и в толковании текста, именно в его "Б[ело] р[усских] п[еснях]". Приведу лишь немногие образцы.

Профессор Бессонов говорит, что в следующей песне "девушка перекрывает месяц, чтобы не светил никому, кроме милого:

Ясен месяц перекрою: (пр. Бессонов ставит
Ни свяци никому... (Бр. п., 34).

Это известное во множестве песенных вариантов выражение малорусских и белорусских песен "Ой місяцю-перекрою! Не світи нікому" профессор Бессонов, вопреки известному закону, по которому в малорусском и белорусском Ы в крыю, мыю и пр. не переходит в О, как в великорусском крою, принимает звательный существительного перекрой за 1-е лицо ед.ч. от перекрыть, которое по-белорусски, как и по-малорусски, звучит перекрыю, малорусское перекрию.

Или: профессор Бессонов печатает стих известнейшей в малорусской и белорусской народной песне т[аким] о[бразом]: "І ость у леси клен дзерявий розно"

и объясняет, что "дзерявий" значит развесистый (Б.п., 21) и все это вместо "...у леси клен-дзераво розно",

в малорусской: "Ой у полі клен-дерево різно".

Или: известнейшую малорусскую и белорусскую песню печатает так:

Шука-рыба красно (вместо кросна),
А рак на буйрак цивки сучить,

и в примечании говорит, что "буйрак" в подлиннике буерак и что это буйрак значит "боггаго, боярык (?), боярышник; буряк, свекла: лыковое (!) ведерцо на буряки", а цивки значит "жилки; сеть; лычки" (там же, 54).

На самом деле этот стих звучит так:

...Що шука-риба кросна ткала,
А рак-неборак цівки сучив...

Профессор Бессонов говорит: "Никак не принимаю и совершенно отвергаю всевозможные ссылки на опisku или опечатку", так как г. Халанскому было время исправить. Да, он мог бы исправить при менее оптимистическом взгляде на правоту суда, которому может подвергнуться его книга. Вопреки профессору Бессонову многое из отмеченного профессором Бессоновым, в том числе и "еже" вместо

"как ни" (Халанский, 26 — 27) считаю за опечатки. На стр. 26 г. Халанский говорит: "Удивленный Добрыня сомневается в своей силе:

"Смелость у Добрынюшки по-прежнему,
Видно сила у Добрыни не по-старому".

Эту верную (кроме -ему вместо по-прежнему) цитату из Гильфердинга, 37 профессор Бессонов ставит г. Халанскому в вину, говоря "совершенно наоборот: "Смелость у Добрыни по-старому, Видно сила у Добрынюшки не по-прежнему". Такое обвинение произошло от того, что профессор Бессонов не прочел у Гильфердинга всей страницы, а остановился на половине, при чем переиначил текст: у Гильфердинга стоит:

Видно смелостью (опечатка: вместо смелость — ю вм.у)
Добрынюшки по-старому,
Видно сила у Добрыни не по-прежнему.

Как это ни маловажно, но отсюда можно видеть, что не только в книге, напечатанной заглазно, но и в рукописи автора, столь, по его словам, внимательного к стихиям языка, могут встречаться искажения цитируемых им текстов. Не всякое лыко в строку.

Профессор Бессонов возмущается тем, что г. Халанский в русском переводе болгарской песни употребил выражение "[исполоть] тебе, милый Боже" и затем переходит в иронию: "Жаль, что автор не воспользовался еще этим исполоть для сближения с именем исполонию и сполов!" Но "милый Боже" есть выражение не только болгарское и сербское, но и польское, и малорусское (нередко в колядках и др. песнях) и белорусское (напр.: Ром. Бр. св., I, 447), а ирония профессора Бессонова лишена основания, так как Халанский именно и нерасположен к той высшей этимологической премудрости, обладание коей бесспорно принадлежит профессору Бессонову и образцы коей он представляет и в "Отзыве". Так, напр., профессор Бессонов говорит: "Увы, Халанский опустил и дельное разыскание о древнем имени "Богатырь" и отнес это имя "ко времени после татар"; "это тем более странное опущение, что автор совершенно забыл при этом и наших древних буй-туров с яр-турами и множество сомнительных названий этнографических, начиная с Геродота, уцелевших доселе, и языки всего Востока древнего вкупе с индусами (последних, вероятнее, он даже не забывал)". Отсутствие этого я ставлю в заслугу Халанскому, ибо установление какого-то разряда "наших древних буй-туров с яр-турами" (на основании лишь известных выражений "Слова и полку Игореве" и "Суда Любуши", в который верит профессор Бессонов, и сближение буй-тур с богатырь — это то, что некогда, по имени сочинения покойного Платона Лукашевича, у нас называлось "Чаромуте" ⁷.

Или: в известии Лавр [ентьевской] и Ип [атовской] л [етописей] о битве на Супое под 1136 г. говорится о взятии в плен многих бояр князя Ярополка Владимировича, в том числе “Станислава доброго Тудьковича”. Этот киевский боярин в позднейшем пересказе в Никоновской лет [описи] назван “благородным”. Г. Халанский замечает: “Эпитет “благородный” отдает более эпосом, чем историей” (44). Действительно, не придавать значения тому, что Никоновская летопись вместо добрый ставит благородный, не видеть в этом последнем что-то эпическое, нет оснований.

Профессор Бессонов видит в замечании г. Халанского “доказательство, как дело изучения народного творчества вообще серьезно и требует опытности, живого чутья, науки, а с другой стороны, — доказательство, что всего этого именно не достает автору”. Сам же профессор Бессонов утверждает тут же, что “сверх самого имени “Станислав”... “благородный” означает прямо “шляхтича” и что “это подтверждается еще и отчеством Станислава, по имени отца Тудь-ко (уменьшительное из Тудь, то есть известное Толдь; ср. Кейстуд, Витоуд)”. Таким образом, в пример серьезности, опытности и живого чутья самого профессора Бессонова здесь приходится, что Станислав (между прочим, — имя одного из сыновей князя Владимира Святославича), а также сербское, чешское есть имя исключительно польское; в подтверждение полонизма и шляхетства Станислава сближается имя его отца с именами литовскими, при чем принимается, что у Литвы в XI — XII в. была шляхта; ради сближения с предполагаемым Туд искажаются литовские имена, ибо форма с д “Кейстуд” крайне сомнительна (в белорусско-литовско-русских грамотах “Кейстютий”), а форма Витоуд неслыхана: есть более точная форма в польских памятниках (-witold), а более ранняя и близкая к литовскому произношению — в грамотах самого Витовта — Витовт, подлинность и древность которой подтверждается литовскими именами сходного образования: Кгинтовт, Краштовт (кг-лат.), Монтовт и Тавти-вил, а также известным сближением -товт с латышским *tanpa* — страна, *tanpas* — чужие люди, сваты.

♦ ♦ ♦

Мнение мое покорнейше прошу присоединить к делу о допущении сочинения г. Халанского к публичному защищению.

Пр. А. Потебня.

¹ ЦДІА України. — Ф. 2045, оп. 2, од. зб. 10. — Арк. 9 — 18.

² Тут — не лише критика положень П. О. Безсонова, але й натяк на його походження (Безсонов народився в сім'ї священика).

³ Всупереч “пораді” П. О. Безсонова М. Г. Халанський не залишив вивчення фольклору, написав згодом ряд досліджень, що стали помітними в слов'янському епосознавстві: “К вопросу об отражениях сказания о Бове в сербском эпосе”, “Былина о

Жидовине, “К былине о Дюке Степановиче”, “Южнославянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса”, “О некоторых географических названиях в русском и южнославянском героическом эпосе”, “Южнославянские песни о смерти Марка Кралевича”, “Малорусская дума про Байду” та ін. Праці М. Г. Халанського здобули високу оцінку радянських вчених (Ю. М. Соколов, В. М. Жирмуїнський та ін.). Б. М. Путилов у монографії “Русский и южнославянский героический эпос” (М.: Наука, 1971, с. 9) підкреслив: “Центральне місце в колі порівняльних досліджень епосу слов'янських народів належать, безперечно, працям М. Халанського. Його фундаментальні праці й численні етюди зі слов'янського епосу, що поєднали методологічні аспекти “історичної школи” з принципами міграційної теорії, були спрямовані на вивчення важливих питань історії “русского” і південнослов'янського епосу. Йому належить, по суті, найбільш цілісна і розгорнута концепція історії слов'янського епосу”.

⁴ С. М. Азбелев вважає, що “саме літопис дозволяє в даному випадку встановити, що колядка і білина в кінцевому підсумку належать до одного історичного факту” (Азбелев С. Н. Историзм былин и специфика фольклора. — Л.: Наука, 1982. — С. 246).

⁵ В архіві О. О. Потебні зберігся рукопис М. Халанського “Заметка о некоторых обычаях и повериях жителей с. Россоховина Шигровского уезда Курской губернии” — див.: од. зб. 254, арк. 1 — 3. Цю “Замітку” О. О. Потебня використав, згадавши М. Халанського, в другому томі монографії “Пояснення малоруських і споріднених народних пісень” (Варшава, 1887, с. 159 прим.).

⁶ Над словом “стихиями” О. О. Потебня написав: “отличаюми?”.

⁷ Мається на увазі твір П. Я. Лукашевича (1806 — 1887) “Чаромутис, или священный язык магов, волхвов и жрецов”, що був написаний у ненормальному психічному стані.

М. Я. ГОЛЬБЕРГ

О. О. ПОТЕБНЯ І РОЗВИТОК СЛОВ'ЯНСЬКОГО ТЕОРЕТИЧНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Розглядаючи різні інтерпретації філологічної спадщини О. О. Потебні (у роботах Празького лінгвістичного гуртка, російської формальної школи, у працях представників «прагматичної поетики»), автор статті виділяє пласт потебнянських ідей, які є актуальними для сучасного слов'янського теоретичного літературознавства: внутрішня форма як джерело поетичності, гносеологічна функція поезії, розуміння художнього твору як діалогічний процес.

Відомо, що заслуги вченого визначаються не кількістю написаних праць, а значенням висунутих ним ідей. О. О. Потебня за свого життя майже не публікував спеціальних досліджень з теорії літератури. Дві основні його праці в цій галузі вийшли вже після смерті вченого: “Из лекций по теории словесности” (1894), “Из записок по теории словесности” (1905). Щоправда, чимало теоретико-літературних проблем було порушено у книзі “Мысль и язык” (1862) і у фольклористичних працях О. О. Потебні.

© М. Я. Гольберг, 1992

Вчений завжди слідкував за розвитком вітчизняної і світової науки. Він висловив ідеї, які були поставлені самим ходом розвитку філології. В одних випадках йому вдалося закріпити свій пріоритет, у інших виявилось, що його неопубліковані праці містять у собі те, що прозвучало одночасно з ними або навіть трохи пізніше у дослідженнях інших теоретиків літератури. Нерідко Потебня набагато випереджував свій час. Скажімо, читаючи праці сучасних представників рецептивної естетики, бачиш у них чимало спільного з ідеями Потебні. Поняття змістовної форми у багатьох моментах також є розвитком положень про внутрішню форму слова, висловлених О. О. Потебнею. Таких проблем можна назвати багато.

О. О. Потебню хвилювало питання про специфіку літератури як мистецтва слова. Не можна забувати, що вчений працював у час, коли великого авторитету набула культурно-історична школа, для якої література була лише однією з форм суспільної свідомості, виявом "суспільних поглядів", відображенням історії. Відзначаючи незаперечні заслуги представників культурно-історичної школи, мусимо визнати, що вони не виявляли належної уваги до проблем поетики, до питання про специфіку літератури. Саме ці питання привернули увагу О. О. Потебні. Література була для нього специфічним видом духовної діяльності людини, виявом її творчих сил.

Дослідники творчості О. О. Потебні вже відзначали, що йому вдалося глибоко зрозуміти специфіку мистецтва слова саме тому, що він у теорії й на практиці здійснював ідею єдності філології¹. Це була фундаментальна ідея, яка надавала цілісності концепції О. О. Потебні. Послідовно відстоюючи думку про культуру, літературу, мову як діяльність, Потебня розвинув і переосмислив ряд положень преромантичної і романтичної філології. Він виступив як сполучна ланка між нею і наукою нового часу.

О. О. Потебня продовжив традиції філософської антропології В. Гумбольдта, розвинув його думки про творчу діяльність мислення, яка втілюється у мові і в свою чергу зазнає впливу мови. У праці "Мысль и язык" він так писав про німецького мовознавця-філософа: "Геніальний провісник нової теорії мови, який не звільнився остаточно від наслідків старої" (Естетика, 72).

На сьогодні досить докладно вивчено питання про значення праць Потебні з усної народної творчості і про розробку його ідей фольклористами слов'янських країн². Роль ученого у розвитку теоретичного літературознавства й досі не висвітлено. У нашій статті зроблено спробу розглянути деякі аспекти цього важливого питання, при цьому ми аж ніяк не претендуємо на повноту і вичерпність.

Вивчення ролі О. О. Потебні в історії слов'янського теоретичного літературознавства не можна звести лише до врахування відгуків на його праці, посылань і прямих цитат з них. Мова в першу чергу повинна йти про творче сприйняття і розвиток ідей вченого, про те, як ці ідеї співвідносяться із розвитком сучасної науки.

Одним із питань, до яких постійно звертався О. О. Потебня, була, як уже зазначалося, проблема специфіки літератури, особливостей художнього слова. Специфічність поезії вчений вбачає в її образності. В центрі лінгвістичної поетики Потебні знаходиться поняття внутрішньої форми слова. Оскільки потебнянську концепцію поезії було вичерпно охарактеризовано у багатьох працях, не будемо спинятися на її основних положеннях³. Нагадаємо лише, що Потебня розглядає художній твір як "синтез трьох моментів (зовнішньої, внутрішньої форми і змісту)" (Естетика, 190). Він разом з тим підкреслює: «Поезія є перетворення думки за допомогою конкретного образу, виражене в слові» (Естетика, 333). Поняття внутрішньої форми є центральним у поетиці О. О. Потебні. Внутрішня форма є і джерелом образності, і основою художності цілого літературного твору.

О. О. Потебня розглядав твір як органічну єдність, як систему, в якій кожний компонент несе на собі відблиск цілого.

За точним спостереженням М. Я. Полякова, "...лінгвістична поетика Потебні, по суті, є переносом закономірностей художнього твору в галузь мовознавства, а не навпаки. Зрівнюючи у своїх працях "слово" і "твір", стверджуючи, що "слово є мистецтво, саме поезія...", з'ясовуючи символізм, поетичність мови, Потебня бачив у цьому загальну властивість мови, що набуває специфічного значення в системі поетичного мовлення. Цей перенос "літературного" на "лінгвістичне" — основне досягнення його лінгвістичної поетики"⁴.

Разом з тим Потебня стверджував: "Історія літератури повинна все більше і більше зближуватися з історією мови, без якої вона є такою ж ненауковою, як фізіологія без хімії" (Естетика, 210).

О. О. Потебня висловив глибоку і перспективну думку про зв'язок поетичних форм з розвитком самої мови.

Серед різноманітних варіантів лінгвістичної поетики з'явилися і такі, які зверталися до потебнянської концепції або відштовхувалися від неї. В цьому відношенні характерними є праці учасників Празького лінгвістичного гуртка (ПЛГ).

Шлях до визначення специфіки літератури через дослідження поетичного слова був характерний для учасників цього наукового об'єднання, які багато уваги приділяли вивченню особливостей поетичного слова.

Празький лінгвістичний гурток сформувався у 1926 р. До його складу входили і деякі російські лінгвісти, зокрема Р. О. Якобсон. У програмному документі — "Тезах ПЛГ" — один з розділів було присвячено вивченню поетичної мови. Багато уваги цьому питанню приділяли Я. Мукаржовський, Р. Якобсон і Б. Гавранек. Як і Потебня, діячі празької школи виходили з положення про єдність філології, про нерозривний зв'язок між лінгвістикою і літературознавством. Але, на відміну від Потебні, вони не зводили специфіку поезії до її образності. В цьому пункті позиція ПЛГ збігалася з тими положеннями, які висловив В. В. Виноградов. Він зазначив, що потебнянська категорія

художнього слова не охоплювала всю структуру поетичної цілісності. Йшлося про такі структурні форми твору, як фоніка і синтагматика⁵.

Здійснюючи функціональний підхід до питання про поетичну мову, учасники ПЛГ зв'язували специфічність поезії з тим, що в художньому творі слово набуває нової функції, яку Р. Якобсон назвав поетичною, а Я. Мукаржовський — естетичною. Цю функцію Якобсон визначає так: "Спрямованість на повідомлення як таке, зосередження уваги на повідомленні заради нього самого"⁶; "Поетичність"... властива усім текстам, а поезія — це той вид мовлення, в якому поетична функція є найбільш інтенсивною і переважає над іншими", — так роз'яснює положення Р. Якобсона польський дослідник Я. Славінський⁷.

Своєрідну інтерпретацію у празьких філологів дістали положення Потебні про внутрішню форму слова. У статті "Що є поезія?", вперше надрукованої у 1933/1934 рр., Р. Якобсон писав: "...в чому виявляє себе поетичність? — у тому, що слово сприймається як слово, а не як репрезентант предмета або лише як вибух емоцій. В тому, що слова, їх значення і внутрішня форма не є лише байдужим спрямуванням уваги на дійсність, але набувають власної ваги і вартості"⁸. Про внутрішню форму слова Р. Якобсон говорив і в пізніх працях, присвячених "поезії граматики" і "граматиці поезії". Для нього "поезія мови", значною мірою була "поезією внутрішньої форми". Як показала польська дослідниця Д. Данек, якобсонівська концепція поетичності зв'язана з традиціями філософії мови В. Гумбольдта і лінгвістичною поетикою О. О. Потебні⁹. Але є й істотні відмінності між Гумбольдтом і Потебнею, з одного боку, і учасниками ПЛГ — з другого. Це в першу чергу стосується саме розуміння внутрішньої форми. У Якобсона, як і в інших празьких філологів, воно звільнене від того антропологічного і психологічного смислу, який мало у Гумбольдта і Потебні. Потебнянська концепція внутрішньої форми з'єднувала в єдиний комплекс філософські, лінгвістичні й літературознавчі проблеми, була зв'язана з розумінням мови як особливої форми духовно-практичної діяльності людини. Його цікавили ті процеси, які вели до актуалізації внутрішньої форми слова, до її відновлення. Дуже важливим було те, що для Потебні з категорією внутрішньої форми була зв'язана проблема поетичності. Він писав: "Мова є не лише матеріалом поезії, як мармур — скульптури, але сама поезія, а тим часом поезія у ньому неможлива, якщо забуто наочне значення слова" (Естетика, 198). Наочністю володіє лише те слово, яке зберігає свою внутрішню форму.

Як уже зазначалося, учасники ПЛГ розробляли функціональну теорію поетичної мови, згідно з якою у поезії мова отримує нову додаткову функцію. Роз'яснюючи це положення, Я. Мукаржовський зазначав, що ця функція "ставить в центр уваги саму структуру мовного знаку", в той час як інші функції "спрямовані до позамовних моментів і до цілей, які виходять за межі мовного знаку"¹⁰. Тут постає важливе питання про співвідношення знаковості і образності у

мистецтві слова. О. О. Потебня, набагато випереджуючи науку свого часу, ще в праці "Мысль и язык" висував цю проблему, пов'язавши її з найважливішими ознаками мови. Він вважав, що в поезії слово в першу чергу має образну природу. Разом з тим, за Потебнею, мова поезії виростає на ґрунті літературної мови, початки поетичності треба шукати у самій природі слова. В наш час проблемі співвідношення знаку і образу присвячено чимало праць. Докладно розроблено питання про різницю між знаком як категорією реалізації комунікації і образом як гносеологічною категорією¹¹. В світлі проведених досліджень стало ясно, що Потебня закладав основи того підходу до мистецтва, який за основу бере гносеологію художнього образу, перехід від знаку до образу і до смислу твору. Цей підхід, як зазначив М. Я. Поляков, можна назвати семантичним. Для празької школи основним було домінування семіотичного аналізу, в центрі якого знаходяться знаки, частини знаків, комбінації знаків¹². Семантичний і семіотичний підходи виявили себе і в тлумаченні внутрішньої форми.

Вже йшлося про те, що Потебня співвідносить внутрішню форму слова з образом. Празькі структуралісти, говорячи про автономну вартість знаку, про його спрямованість на самого себе, по суті ведуть розмову про внутрішню форму знаку і повідомлення.

В дослідженнях членів ПЛГ знаходимо і безпосередні згадки про праці О. О. Потебні. У 1934 р. у передмові до чеського видання книги В. Б. Шкловського "Теорія прози" Я. Мукаржовський писав: "У Росії, де існує стара традиція зацікавлення художньою побудовою, сильні позиції займає школа Потебні, яка, будучи породженою науковою тенденцією, паралельною символістському поетичному руху, інтерпретує художній твір як образ, але тим самим і вона перетворює художній бік як щось другорядне, робить художній твір пасивним відблиском чогось, що знаходиться за межами мистецтва, не відрізняє в достатній мірі специфічну функцію поетичної мови від функції комунікативного висловлювання"¹³.

Передмова Я. Мукаржовського до книги В. Шкловського є одним із численних свідчень про близькість ПЛГ до російського Товариства по вивченню поетичної мови (ОПОЯЗ). Мукаржовський використовує окремі положення статті російського вченого про Потебню, надруковану в 1919 р. у збірці "Поетика". Принагідно зазначимо, що для встановлення наявності прямих контактів у будь-якій галузі культури завжди потрібні певні об'єктивні дані. У даному випадку Я. Мукаржовський говорить про своє ставлення до окремих фактів з історії російської науки, дає оцінку важливим етапам її розвитку.

Не маючи змоги докладно характеризувати передмову Мукаржовського до книги Шкловського, спинимося лише на тому, що стосується О. О. Потебні. Розходження Мукаржовського з Потебнею відбуваються по двох лініях. Як і інші учасники ПЛГ, він не приймає тези Потебні про те, що поетичність слова визначається його образністю.

Мукаржовський неправий, коли вважає, що Потебня повністю стояв на позиціях міметичної теорії. Нагадаємо, що в одній із своїх лекцій він писав: “Вимога, щоб мистецтво було наслідуванням природі, тобто тій же дійсності, є схожим на вимогу, щоб вищі організми живилися не зосередженою їжею і не хімічними продуктами, а як земляні хробаки — навіть більше: щоб при харчуванні не було перетворення речовин в більш тонкі і потрібні, тобто щоб самого харчування не було. Якби цю вимогу було виконано, воно було б безцільним, бо навіщо наслідування, коли є сама природа?” (Естетика, 338).

В той же час Я. Мукаржовський слідом за В. Шкловським розвиває положення Потебні про те, що поетична мова зв'язана з “воскресінням слова”, з його активізацією. Чеський вчений суголосний ідеям Потебні й тоді, коли говорить про необхідність “подолати традиційне розуміння форми як оболонки”¹⁴.

У пізніших працях Я. Мукаржовський розвиває й ідею активності сприймаючого, яку в свій час було висунуто Потебнею. У цьому відношенні особливо характерною є стаття “Умисність і неумисність у художньому творі”.

Для О. О. Потебні питання про специфіку поезії невіддільне від проблеми розуміння, сприйняття художнього твору. Розвиваючи положення В. Гумбольдта про енергетичну природу мови, він вже у праці “Мысль и язык” пов'язував проблему внутрішньої форми з питанням про взаємини між учасниками акту мовлення, підкреслював, що внутрішня форма слова “дає напрямок думці слухача” (Естетика, 181). І далі: “Слухач може значно краще, ніж той, хто говорить, розуміти те, що приховане за словом, і читач може краще самого поета осягати ідею його твору. Сутність, сила такого твору не в тому, що розумів під ним автор, а в тому, як воно діє на читача або глядача, значить, в невичерпно можливому його змісті. Цей зміст дійсно обумовлений внутрішньою формою, але міг зовсім не входити у задум художника, який творить, задовольняючи тимчасовим, нерідко досить вузьким потребам свого особистого життя. Заслуга художника не у тому мінімумі змісту, про який думав він при створенні, а в силі внутрішньої форми пробуджувати найрізноманітніший зміст” (Естетика, 181—182).

Можна стверджувати, що Потебня одним із перших у світовій науці висунув питання про значення вивчення ролі читача в історико-літературному процесі, заклав основи розуміння діалогічної природи художньої творчості. На жаль, історію вивчення проблеми художнього сприйняття ще не розроблено. Маємо лише окремі фрагментарні праці з цього питання. З тих, хто ставив питання про сприймаючого, слід назвати в першу чергу Гегеля, який писав, що художній твір “існує для публіки”¹⁵. В його “Естетиці” був спеціальний розділ “Зовнішня сторона художнього твору в її відношенні до публіки”. Тут, зокрема, читаємо: “Будь-який твір мистецтва являє собою діалог з кожною

людиною, що стоїть перед ним”¹⁶. Нагадаємо і слова М. Г. Чернишевського: “Література буває сильною лише тоді, коли вона спирається на публіку”¹⁷.

У Потебні проблема художнього сприйняття — один з основних моментів його концепції поетичності. Глибоке тлумачення і розвиток положення про читача і його роль в історико-літературному процесі дістало у працях О. І. Білецького¹⁸. Ідеї Потебні і його учнів мали вплив на філологів, естетиків і психологів, які розробляли проблеми художнього сприйняття. Назвемо хоча б М. М. Бахтіна, В. В. Виноградова, Л. С. Виготського, Л. П. Якубінського.

В західноєвропейському і американському літературознавстві проблеми рецептивної естетики в 30-ті роки почали розробляти різні наукові школи. Розглядаючи їх генезу, Ю. В. Боров відзначив: “...рецептивна естетика є плодом великої історико-теоретичної традиції і частково плідотворним, а частково і однобічним її продовженням і переломленням”¹⁹. У виробленні цієї традиції певну роль — прямо чи опосередковано — відіграли й ідеї О. О. Потебні. У всякому разі в дослідженнях літературознавців слов'янських країн ми знаходимо багато суголосного цим ідеям. Тут варто згадати хоча б той науковий напрямок польського літературознавства, який дістав назву прагматичної поетики. У 1977 р. у Варшаві було видано збірку “Проблеми прагматичної поетики”. В. Грасвський, автор однієї з статей, розміщених у ньому, стверджував важливість оцінки прагматичного моменту у функціонуванні текстів, а особливо в їх продукції. Автори збірки не задовольнялися відповіддю на питання “для кого” як характеристикою тексту; однаково важливим було для них визначення “хто для тексту”: семіотична практика, стверджували автори збірника, — то не лише вживання кимсь виразів, але також вибір і формування певного суб'єкта практики. Е. Чаплівич, один із авторів “Прагматичної поетики”, підкреслював, що прагматична поетика звертається до “безпосередніх учасників процесу впливу, його умов, засобів, цілей і наслідків”²⁰.

Теза О. О. Потебні про активність сприймаючого набуває у прагматичній поетиці подальшого розвитку. Прагматична поетика розглядає текст як дію, як творчу діяльність, як знаряддя впливу на окремі особистості, як засіб спілкування людей. Це зближує прагматичну поетику з теорією Потебні-Гумбольдта. Разом з тим вона розглядає літературу як діалог, спираючись на концепцію М. М. Бахтіна. Використовують теоретики прагматичної поетики і досягнення семіотики і теорії інформації.

Автори збірки “Проблеми прагматичної поетики” досить часто посилаються на праці Ст. Скварчинської, яка багато уваги приділила функціональному підходу до явищ літератури. Саме Скварчинська показала, що увага до проблеми читача необхідна при вивченні будь-якого компонента художньої літератури як системи. У третьому томі свого “Вступу до науки про літературу”, присвяченому проблемам ге-

нології, дослідниця писала, що комунікат “завжди скерований на певну мету, яку ставить відправник (nadawca) до сприймаючого (odbiorcy). Цей напрямок впливу комунікату з точки зору окресленої мети ми називаємо його функцією”²¹.

Із думкою про активність сприймаючого логічно пов'язане положення про множинність смислу художнього твору. Слід враховувати, що на характер сприймання впливають кілька факторів. Програму його визначає твір. Але велику роль відіграють і характер сприймаючого, і ті умови, за яких відбувається діалог між ним і твором. Виходячи з цього було поставлено цікаве питання про стилі сприйняття. Саме його розробляв М. Гловінський. Сприйняття, на його думку, — це і розуміння смислу твору, і конструювання нових пропозицій; “сприйняття — це також галузь, яка включає в дію творчу могутність мови”²². В цих словах відчувається вплив антропологічного мовознавства Гумбольдта і лінгвістичної поетики Потебні. Гловінський наголошує на тому, що художній текст існує в певного виду комунікативних ситуаціях і в той же час самою своєю структурою створює такі ситуації.

Дуже цікавою й перспективною видається думка М. Гловінського про те, що зустріч читача і твору може набувати різних форм — від повної згоди до явного конфлікту. Найцікавіша сторона праць Гловінського — аналіз типів читача, ситуацій і стилів сприйняття²³.

Питання про типологію читацького сприйняття розглядається і в працях Ст. Жулкевського. У статті “Про дослідження художньої культури” (kultura literacka), він висловлює думку, що групи читачів розрізняються по тому, з якою метою вони читають, чого шукають у літературі, які потреби цим задовольняють²⁴.

Багато уваги проблемі читача приділяв Ст. Жулкевський у книзі “Культура. Соціологія. Літературна семіотика” (1979)²⁵. Тут послідовно проводиться думка, що становище читача потрібно розглядати у контексті аналізу певної культури. Дослідник враховує всі факти, що впливають на читача, на його формування.

Проблему читача Ст. Жулкевський розглядає всебічно, як питання, що потребує широкого комплексного підходу, використання різноманітних методик, урахування досягнень, соціології, соціальної психології, семіотики і теорії інформації. Йдеться знову ж таки про читача як про активного учасника літературного процесу.

В іншій своїй праці “Наука про художню культуру” (1980) Ст. Жулкевський стверджує: “...письменник є в такій мірі письменником, в якій має читачів. Це не лише теоретична теза, що дозволяє відрізнити письменника, який виконує суспільну функцію, від випадкового автора. Це також ідеологічна формула, яка стверджує творчість письменника як закріплення оригінальних творів для когось”²⁶.

Проблема читача, його роль в історико-літературному процесі посідає значне місце в сучасному польському літературознавстві. З ба-

гатьох праць, в яких розглядається ця проблема, назвемо книжку В. Сулковського “Роман і читачі” (1972)²⁷. Тут поставлено і питання про роль читача, читацьких запитів у формуванні певних жанрових структур.

Хотілось би ще раз наголосити на тому, що саме О. О. Потебня одним з перших у світовому літературознавстві висунув положення про активність читацького сприйняття. Воно знаходить свій розвиток у працях багатьох слов'янських філологів. Цьому питанню присвятив один із розділів своєї двотомної “Теорії літератури” (1981) болгарський літературознавець П. Зарев²⁸. Про участь читача в історико-літературному процесі говорить Зарев і в праці “Логіка історико-літературних процесів” (1987)²⁹.

Наведені факти аж ніяк не вичерпують поставлену проблему. Проте і вони свідчать про суголосність Потебні нашому часу, про те, що ідеї українського вченого і на сьогодні не втратили своєї актуальності.

В процесі розвитку науки, культури виявляють себе ті продуктивні елементи, які відіграють важливу роль у її подальшому розвитку, становлять віхи до пізнання об'єктивних закономірностей буття. Наукові пошуки розгортаються на базі певних традицій і в той же час формують нові наукові традиції. Цілком закономірно, що в процесі свого розвитку наука намагається осмислити свій шлях, критично поглянути на свої здобутки і втрати. Серед праць сучасних дослідників з'являються і такі, в яких здійснюється спроба дати характеристику ідей О. О. Потебні. Однією з них є фундаментальна праця М. Р. Майєнної “Теоретична поетика. Проблеми мови”. Тут у розділі “Мова поезії, поетична мова — історія проблеми” дано стислу, але ґрунтовну характеристику лінгвістичної поетики Потебні. Майєнова розглядає ідеї Потебні у контексті розвитку європейської науки, показує, що Потебня не лише сприйняв ідеї Гердера і Гумбольдта, а й розвинув їх. Йдеться про його новаторство. Звернімо увагу на таке положення Майєнної. Говорячи про єдність звучання і змісту і звуку вона зазначає: “Тільки в поезії та єдність є абсолютною. На основі того, що говорив Гумбольдт при аналізі “Германа і Доротеї” (поема Гете. — М. Г.), а також на підставі аналізів Потебні, треба вважати, що творчість поетична тим виключніше є творчістю мовною, чим більше маємо справу з ліричними жанрами. Чим швидше переходимо до жанрів фабульних, тим скоріше натомість наближуємось до творчості, яка аналогічна творчості мовній, але не тотожня їй”³⁰. Тут ідеї Потебні отримують подальший розвиток. У багатьох публікаціях про українського вченого огляд його праць дається без урахування широкого контексту, у відриві від основних тенденцій європейської філології. Для М. Р. Майєнної концепція О. О. Потебні, його діяльність у галузі теорії літератури — важливий етап у розвитку філологічної науки. Треба визнати справедливості і перспективності саме такого підходу. Продуктивні елементи спадщини О. О. Потебні і сьогодні сприяють розвиткові слов'янського теоретичного літературознавства. Вони є

джерелом нових ідей, імпульсом до подальшого поглиблення праці в галузі теоретичної й історичної поетики.

Рассматривая различные интерпретации филологического наследия А. А. Потебни (в работах Пражского лингвистического кружка, русской формальной школы, в трудах представителей "прагматической поэтики"), автор статьи выделяет пласт потебнянских идей, которые являются актуальными для современного славянского теоретического литературоведения: внутренняя форма как источник поэтичности, гносеологическая функция поэзии, понимание художественного произведения как диалогический процесс.

- ¹ Пресняков О. П. А. А. Потебня и русское литературоведение конца XIX — начала XX веков. — Саратов, 1978.
- ² Гольберг М. Я. Проблемы народно-песенной стилистики в работах А. А. Потебни // Русский фольклор. VIII. Народная поэзия славян. — М.; Л., 1963. — С. 336—356.
- ³ Чичерин А. В. Идеи и стиль. О природе поэтического слова. — М., 1968. — С. 35—47; Академические школы в русском литературоведении. — М., 1975. — С. 313—326; Пресняков О. П. Поэтика познания и творчества. Теория словесности А. А. Потебни. — М., 1980. — С. 55—60.
- ⁴ Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. — М., 1978. — С. 123.
- ⁵ Виноградов В. В. К построению теории поэтического языка. Поэтика. — Вып. 3. — Л., 1927. — С. 9.
- ⁶ Структурализм: за и против. — М., 1975. — С. 202.
- ⁷ Там же. — С. 259.
- ⁸ Jakobson R. Co to jest poezija? // Praska szkoła strukturalna w latach 1926—1948. — Warszawa, 1966. — С. 126.
- ⁹ Danek D. O polemice literackiej w powieści. — Warszawa, 1972.
- ¹⁰ Mukarovsky J. Kapitoly z české poetiky. Díl 1: Obecné věci básnické. — Praha, 1948. — С. 159.
- ¹¹ Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. — С. 33—49; Боров Ю. Б. Художественное общение и его языки. Теоретико-коммуникативные и семиотические проблемы художественной культуры // Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная коммуникация и семиотика. — М., 1986. — С. 10—27.
- ¹² Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. — С. 39.
- ¹³ Mukarovsky J. Kapitoly z české poetiky. Díl 1. — С. 344.
- ¹⁴ Там же. — С. 347.
- ¹⁵ Гегель Г. Эстетика. — Т. 1. — М., 1968. — С. 255.
- ¹⁶ Там же. — С. 274.
- ¹⁷ Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 16 т. — М., 1947. — Т. 3. — С. 309.
- ¹⁸ Белецкий А. И. Об одной из очередных задач науки о литературе // Наука на Украине. — 1922. — № 2. — С. 94—105.
- ¹⁹ Боров Ю. Б. Теория художественного восприятия и рецептивная эстетика. Методология критики и герменевтика // Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика. — М., 1985. — С. 17.
- ²⁰ Problemy poetyki pragmatycznej. — Warszawa, 1977. — С. 79.
- ²¹ Skwarczynska St. Wstęp do nauki o literaturze. Т. 3. — Warszawa, 1965. — С. 98.

- ²² Glowinski M. Komunikacja literacka jako sfera napięć // Problemy odbioru odbiorcy. — Warszawa, 1977. — С. 60.
- ²³ Glowinski M. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej. — Krakow, 1977.
- ²⁴ Żolkiewski St. O badaniu kultury literackiej // Konteksty nauki o literaturze. — Wrocław a i., 1973. — С. 53.
- ²⁵ Żolkiewski St. Kultura, socjologia, semiotyka literacka. — Warszawa, 1979.
- ²⁶ Żolkiewski St. Wiedza o kulturze literackiej. — Warszawa, 1980. — С. 130.
- ²⁷ Sutkowski B. Powieść i czytelnicy. — Warszawa, 1972.
- ²⁸ Заев П. Теория на литературата: В два тома. Том 2. — София, 1981.
- ²⁹ Заев П. Логиката на литературно-историческите процеси. — Пловдив, 1987.
- ³⁰ Mayenowa M. R. Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. — Wrocław a i., 1974. — С. 73.

С. А. ГАЛЬЧЕНКО

ПРО ПРАЦЮ І. Я. АЙЗЕНШТОКА НАД НАУКОВОЮ БІОГРАФІЄЮ О. О. ПОТЕБНИ

Ім'я Ієремії Яковича Айзенштока (1900 — 1980) як українського і російського літературознавця добре відоме в науковому світі завдяки його працям про творчість багатьох українських письменників переважно дожовтневого періоду, а також як проникливого дослідника і видавця класичних, а іноді й маловідомих творів російських літераторів.

І. Айзеншток, навчаючись у Харківському університеті в 1916 — 1921 рр., став учнем М. Ф. Сумцова і О. І. Білецького, які прищепили йому любов до історико-літературних пошуків. Здійснюючи за порадою О. І. Білецького науковий опис рукописів бібліотеки Харківського університету, студент історико-філологічного факультету І. Айзеншток (спочатку він навчався протягом року на юридичному факультеті) виявив там невідомі автографи І. Котляревського, Г. Квітки, Т. Шевченка, М. Щербини та ін. М. Ф. Сумцов порадив молодому дослідникові написати роботу "Жизнь и творчество Щербини", за яку він згодом був нагороджений символічною "золотою медаллю". За рекомендацією того ж Сумцова Айзеншток у 1919 і 1920 рр. їздить у відрядження до Москви і Петербурга, де зав'язує перші наукові контакти із О. О. Шахматовим, С. А. Венгеровим, В. І. Срезневським та іншими російськими вченими.

В "Автобіографії" середини 70-х років І. Айзеншток згадував: "В 1920 — 1922 г. работал "ученым редактором" Редакционного комитета по изданию сочинений А. А. Потебни при Наркомпросе УССР. Еще в конце 1916 г. я познакомился с вдовой Потебни, Марией Францовной, стал часто ее посещать и, в конце концов, уговорил ее передать весь архив ученого в Харьковский Исторический архив. Для запроектованного и отчасти начатого издания полно-

© С. А. Гальченко, 1992

го собрания сочинений Потєбни я составил обширный его план, принимал участие в подготовке нескольких томов, специально готовя переписку ученого, начал писать его биографию; несколько глав из нее напечатал в научных журналах и сборниках, несколько глав остались в рукописи".

Друкуватися І. Айзеншток почав рано. Першою науковою працею сімнадцятилітнього студента Харківського університету була стаття "Материалы к биографии проф. В. М. Черняева" (Бюллетень Харьковского общества любителей природы. — 1917. — № 1. — С. 1 — 11). Далі йде кілька статей про творчість Г. Ф. Квітки-Основ'яненка, Я. Щоголіва, Л. Толстого.

В двадцять роки І. Айзеншток друкує в періодиці і кілька статей про творчість О. Потєбни: О. О. Потєбня та українська література // Шляхи мистецтва. — 1921. — Кн. 2. — С. 94 — 101; К биографии А. А. Потєбни // Бюллетень редакційного комітету для видання творів О. О. Потєбни. Ч. 1. — Харків, 1922. — С. 70 — 75; Еще о Ягиче и Потєбне // Там же. — С. 76 — 79; Описание рукописей А. А. Потєбни // Там же. — С. 86 — 92; Потєбня і ми // Життя й Революція. — 1926. — Кн. 12. — С. 25 — 36; З листування О. О. Потєбни (До 35-ї річниці його смерті) // Україна. — 1927. — Кн. 1 — 2. — С. 164 — 182; Безсоновщина (З матеріалів до життєпису О. О. Потєбни) // Записки історико-філологічного Відділу ВУАН. — 1928. — Кн. 16. — С. 146 — 188; І. Манжура і Ол. Потєбня (Біографічний етюд) // Записки історико-філологічного Відділу ВУАН. — 1929. — Кн. 21 — 22. — С. 149 — 160.

І. Айзеншток редагував спільно з А. Ветуховим, П. Ріттером і А. Синявським четверте видання книги О. Потєбни "Мысль и язык" (Одеса, 1922).

З березня 1926 до квітня 1931 р. І. Айзеншток був ученим секретарем новоствореного в Харкові Інституту Тараса Шевченка (з кінця 1924 р. він входив до складу оргкомітету по створенню цієї науководослідної установи за зразком Пушкінського Дому в Ленінграді) — теперішнього Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. Крім наукової роботи, він приділяв багато уваги збиранню бібліотеки Інституту і збиранню рукописів. Сюди ж він подарував і власну невеличку колекцію автографів Т. Шевченка, П. Куліша, І. Манжури, Я. Щоголіва та ін.

У другій половині двадцятих років І. Айзеншток часто друкує наукові статті, публікації, рецензії, готує наукові видання класиків української літератури П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ'яненка, І. Котляревського, І. Манжури. Для Державного видавництва України він підготував три томи "Українських пропілєсів" — збірників творів маловідомих літераторів першої половини ХІХ ст. (вийшов у світ лише перший том, а другий і третій із великими вступними статтями і широкими коментарями лишилися в архівах видавництва).

У 1931 р., коли проводилося зміцнення партійного керівництва Інституту Тараса Шевченка, безпартійного І. Айзенштока було увільнено з посади ученого секретаря (до лав КПРС його було прийнято із тримісячним кандидатським стажем на фронті в 1942 р.), і він перейшов на роботу в Партвидав ЦК КП(б)У, а в 1934 р. на запрошення ленінградських учених-літературознавців переїжджає на роботу в Інститут російської літератури (Пушкінський Дім). Переселення сім'ї вченого і його величезної бібліотеки тривало аж до вересня 1937 р.

Автор цих рядків мав можливість ознайомитися із рідкісною бібліотекою І. Айзенштока у 1981 р. (через рік після смерті ученого) в його останній ленінградській квартирі на набережній ріки Мойки, 37. Про це колосальне зібрання книг, придбане в 1983 р. Академією наук України і яке тепер зберігається в Центральній науковій бібліотеці ім. В. І. Вернадського АН України, можна написати не одну наукову розвідку.

Архів ученого його вдова Ірина Володимирівна Арбузова — відомий знавець сербо-хорватської мови — подарувала відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. Особливо вражає це зібрання документів багатим листуванням із діячами літератури і науки, а також цінними архівними матеріалами (переважно в копіях) з історії української літератури ХІХ ст. Потєбніанські матеріали в архіві і бібліотеці І. Айзенштока займали особливе місце, адже, починаючи з 1916 р., майже все своє життя він збирав не лише відомості про О. О. Потєбню, а, по можливості, й архівні матеріали видатного вченого. Дещо він одержав свого часу від Марії Францівни Потєбни, але чимало зібрав завдяки своїм контактам із учнями мовознавця. І. Айзеншток мріяв завершити широку наукову біографію О. О. Потєбни, чого не зміг зробити, а точніше — просто не встиг оформити. Широта наукових інтересів І. Айзенштока, в якого, за свідченням О. І. Білецького, було "по крайній мері с полдесятка готовых докторских диссертаций", не дозволила опублікувати значну кількість навіть завершених своїх робіт. На жаль, в архіві збереглися не всі праці, бо, за браком паперу, І. Айзеншток не передруковував для себе авторського примірника, а передані до видавництва чи до редакції рукописи не з його вини іноді не з'являлися у світ.

Починаючи з 1917 р., І. Айзеншток надрукував близько шестисот наукових праць. Тільки список основних довоєнних публікацій (до 1941 р.) нараховує 120 позицій. Проте в архіві ученого залишилося ще понад двадцять великих за обсягом досліджень, і серед них — "Судьба літературного насліддя Потєбни" (таку назву, очевидно, мала ця стаття в чорновому варіанті, а в завершеному вигляді — "Из истории научного насліддя А. А. Потєбни"). Остаточний варіант статті не дотований. Але оскільки в згадуваній автобіографії середини сімдесятих років вказано її обсяг (4 друківаних аркуші), а іншої передрукованої статті в архіві ученого не виявлено, то є підстави твердити, що йдеться саме про це дослідження. Воно й пропонується увазі сучасного читача

поруч із статтею О. Розенберга "Поэтика А. А. Потевни", що зберігалася серед потевнянських матеріалів в архіві І. Айзенштока.

Науковий доробок І. Айзенштока дуже великий за обсягом і широкий за тематикою досліджень, але, на жаль, жодного збірника його праць досі не видано, їх можна упорядкувати за певними темами декілька, зокрема й книгу про О. О. Потевню. Щодо своїх творчих планів в останні роки свого життя І. Айзеншток зазначав: "В теченні багатьох років я працював, так сказати, "широким фронтом", постійно привлекая значительное количество архивных и рукописных источников, проводя раскопки в старых журналах и газетах, захватывая попутно и то, что в данный момент, непосредственно не имело отношения к задуманной или выполнявшейся работе, но могло бы пригодиться в будущем, — мне самому или другим лицам. После любой работы, после любого обращения к архивным или рукописным хранилищам оставались "заделы", иногда весьма значительные. С течением времени образовалась большая архив копий и выписок; он и на сегодня остается большим, несмотря на то что много людей, кроме меня, им пользовались и пользуются. В меру отпущенных мне судьбою лет и сил, хотелось бы еще большую или меньшую часть накопленных материалов использовать в печати, в будущих моих работах. Хотелось бы также собрать две-три книги из уже опубликованных некогда работ по истории украинской литературы, — от "Енеїди" до "Основы", — а также из истории украинско-русских литературных отношений. Полагаю, что и из моих работ, касающихся русской литературы, тоже можно было бы сделать книгу, небезынтесную для читателя, даже для "широкого". Хотелось бы наконец свести воедино мои многолетние разыскания о П. Гулаке-Артемовском и Квитке-Основьяненко, — на протяжении многих лет я писал о них неоднократно, но не исчерпал всего собранного и узнанного".

Публікація потевнянських матеріалів з архіву І. Айзенштока — це перший крок в освоєнні спадщини вченого після його смерті.

ИЕРЕМИЯ АЙЗЕНШТОК

ИЗ ИСТОРИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ А. А. ПОТЕВНИ

I

Научно-литературная деятельность А. А. Потевни продолжалась более тридцати лет, однако его имя, — имя большого, оригинального ученого-мыслителя, оставалось почти неизвестным современному интеллигентному, так называемому "широкому" читателю. Об этом с подчеркнuto полемическим возмущением писал В. И. Ламанский в развернутом вступлении к некрологу Потевни в "Журнале министерства народного просвещения". "Один из заме-

чательнейших русских ученых, — писал В. И. Ламанский, — для огромного большинства нашей публики он был одним из неизвестнейших наших писателей. Значительное большинство русских литераторов, ежедневно и ежемесячно из года в год будающих, поучающих и подымающих наш читающий мир, и разного рода покровители и любители бедного русского просвещения знавали профессора Потевню разве по имени: печатался в двух, трех не читасмых журналах, состоял по ведомству народного просвещения и в известные сроки получал соответственные званию никогда не являвшегося в Петербург провинциального профессора и приличные сему повышения и награды, на летнее время часто бывал увольняем в отпуски за границу".

И в другом месте: "Даже среди некоторых присяжных знатоков и так называемых специалистов по русской словесности, среди даже преподавателей высших заведений и членов ученых учреждений и среди огромного большинства наших педагогов-учителей русской словесности имя и труды профессора Потевни если пользовались, то лишь печальной известностью. Его называли буквоедом; про его сочинения замечали, что они темны, непонятны" ¹.

Полемическое (и, конечно, политическое) острие этих гневных инвектив обнаруживается без малейшего труда. Ламанский, — ученый прочно связавший свое имя с консервативными, панславистскими кругами, — воспользовался данным конкретным поводом для того, чтобы лишней раз свести счеты с прогрессивной русской интеллигенцией, которая, будто бы, пренебрегает родной — русской, славянской — наукой (в том понимании ее задач, какое сложилось в поздне-славянофильских, выразительно реакционных кругах), явно предпочитая ей науку передовую, "западную". Деятельность самого Потевни являлась в данном случае лишь удобным поводом, который никак нельзя было упустить.

Однако в своем утверждении относительно малой известности Потевни при его жизни за пределами очень узкого круга цеховых специалистов-филологов, относительно весьма слабого распространения замечательных его произведений — Ламанский был прав. Продолжая свое затяннувшееся вступление к некрологу Потевни, он писал еще: "Справок мы не наводили, но, думается, не ошибемся, если скажем, что исследования проф. Потевни о русском языке и русской народной поэзии в отдельных изданиях (а не в книжках воронежских «Филологических записок» и варшавского «Русского филологического вестника», считающих сотни три-четыре полубязательных подписчиков) разошлись в продаже едва ли более, чем в нескольких десятках экземпляров, и едва ли не добрая половина этих распроданных экземпляров пошла за границу" ². Как очевидец, могу засвидетельствовать, что даже много лет спустя после того как были написаны эти строки, когда посмертная слава Потевни, казалось, утвердилась повсеместно, обратившись, в конце 1916 г., по доброжелательному совету Н. Ф. Сумцова, к вдове Потевни, Марии Францовне, я нашел у

нее значительное количество нераспроданных его книг, далеко не в единичных экземплярах. Припоминаю сообщение М. Ф. Потебни о том, что ежегодный ее доход от продажи сочинений мужа не превышал 25 — 40 рублей...

В. Ягич вменял себе “во некоторую заслугу, что он в 1874 году осенью, уезжая через Петербург за границу, обратил внимание надлежащих кругов ... на значение исследований А. Потебни, бывших покрытыми мраком неизвестности вследствие того, что они печатались в провинциальных изданиях”³. Но и после того как “Записки по русской грамматике” Потебни получили Ломоносовскую премию, а их автор — избран членом-корреспондентом Академии наук, положение изменилось очень незначительно: по-прежнему скромный провинциальный профессор работал одиноко и уединенно, избегая возможных перемен в своем положении⁴. Едва ли не всего более при этом его привлекала установившаяся на протяжении многих лет возможность сосредоточенно трудиться над теми научными вопросами, какие в данный момент особенно его интересовали, относительно мало отвлекаясь чтением обязательных общих курсов в университете и другими служебными повинностями.

О характерных особенностях его преподавательской манеры хорошо рассказал один из внимательнейших и талантливых его слушателей конца 80-х годов, В. И. Харциев. “Я помню, — вспоминал он, — как начал свою первую лекцию А. А. Потебня. “Мне, — сказал он, — предписано читать лекции по учебнику Буслаева. Я не могу, мне трудно исполнить это предписание. Я никогда не читал того, что не составляло предмета моих занятий в данное время, и ничего не печатал без предварительного чтения своим слушателям. Грамматику Буслаева вы можете сами прочесть и по ней готовиться к экзаменам. А я в этом полугодии познакомлю вас с одним отделом истории русского языка, так как считаю такой путь введения вас в эту научную область более правильным”. “И мы потом убедились, что содержанием этого курса было известное, не опубликованное еще тогда исследование Потебни об изменении значений и заменах имени существительного, составлявшее продолжение его записок по грамматике”⁵.

По той же причине, — в целях наибольшего приближения своих университетских лекций к особенно занимавшим и волновавшим его научным проблемам, Потебня, по свидетельству того же В. И. Харциева, сознательно отказывался от “общих введений, составляющих обыкновенную принадлежность университетских чтений, хотя бы и посвященных частным вопросам”: “Профессор, как будто избегая траты времени, спешил ввести своих слушателей в круг намеченных им для предстоящего курса вопросов, и этот курс, как эпическая песня, начинался не *ab ovo*, не с сухих генеалогических подробностей, а прямо с середины”⁶.

Воспоминания В. И. Харциева, как сказано, относятся к концу 80-

х годов, когда Потебня, выслужив в университете положенный двадцатипятилетний срок и оставленный в качестве “заслуженного профессора” на дополнительное пятилетие, официально “выговорил себе условные читать предметы по своему выбору”⁷. Однако, судя по воспоминаниям других слушателей Потебни (Н. Ф. Сумцова, Ф. Г. Каменского и др.) можно заключить, что и в 70-х годах содержание читавшихся профессором курсов также было непосредственно связано с его текущей научной работой, хотя официально курсы именовались соответственно университетской программе⁸.

Близкая связь преподавательской деятельности Потебни с его научно-литературной работой, официальное его положение университетского профессора по кафедре русского языка объясняют между прочим также то обстоятельство, что при жизни он почти не публиковал работ по “теории словесности”, фрагментов и этюдов создававшейся им поэтики. Между тем, в автобиографической заметке, составленной по просьбе А. Н. Пыпина, для его “Истории русской этнографии”, он особо оговаривал, что “наиболее” его всегда интересовали “вопросы языкознания, понимаемого в Гумбольдтовском смысле: “поэзия и проза” (поэтическое и научное мышление) “суть явления языка”. В последние годы я читал несколько раз курс теории словесности, построенный на этом положении”⁹.

Говоря о внешних обстоятельствах, среди которых протекала научно-литературная работа Потебни, нельзя не коснуться еще двух вопросов.

Как известно, большая часть трудов Потебни была опубликована почти без пристрастия автора за очень сложным текстом, со множеством иноязычных цитат. Вольно и невольно редакторы изданий, в которых печатались статьи и исследования харьковского ученого, вносили в них казавшиеся им необходимыми свои “поправки”, — далеко не всегда на пользу дела. В письме к Адольфу Патере, 15 апреля 1866 г., посылая ему свои “книжки”, — очевидно, оттиски статей в “Древностях” и “Чтениях общества истории и древноведения “О мифическом значении некоторых обрядов и поверий”): “Посланные мною вам книжки печатаны без моей корректуры, а потому грубейшие опечатки в иностранных и даже русских словах должны быть приписаны не мне. Бодянский не поленился переделать по своему сербское и малорусское правописание, а не захотел поверять по рукописи при корректуре. Что будешь делать, когда нет средств печатать при себе. Наш университет состоит из людей практичных, которые более, как и следует, заботятся о своем благоустроении, чем о чести университета. При других университетах (Киевском, Казанском, Московском) издаются хоть плохие журналы (“Университетские записки”, “Ученые записки”), а у нас и этого нет. Один только поп издает “Духовный вестник”, да черт ли в нем?”¹⁰

В продолжение последующих двадцати пяти лет такое положение

очень мало изменилось. Варшавский “Русский филологический вестник” и воронежские “Филологические записки”, в которых публиковалась большая часть исследований Потебни 70 — 80-х годов, правда, как правило, присылали автору корректуры, однако правилась она всегда в жестокой спешке, а скудность типографских шрифтов и другие приводящие досадные обстоятельства — приводили к необходимости сопровождать едва ли не каждую новую книгу Потебни громадными перечнями опечаток (наиболее “досадных”!), дополнений, поправок и т. д. Да и самое печатание растягивалось иногда на многие годы: так, печатание исследования “Объяснение малорусских и сродных народных песен” продолжалось более пяти лет (в 1882 — 1887 гг.), хотя автор говорил о работе как о готовой к печати еще в конце 70-х годов.

Нельзя также не упомянуть о разного рода внешних помехах, тормозивших или ограничивавших научную деятельность А. А. Потебни. Среди этих помех следует назвать, например, слабое здоровье ученого. Еще в начале 60-х годов, находясь в заграничной командировке, он провел некоторое время в Риеке — не только для совершенствования своих познаний в сербохорватском языке, но также для того, чтобы пройти курс морских купаний¹¹. И позже ему приходилось серьезно лечиться, особенно в последние годы жизни. Когда в апреле 1887 г. В. Ягич обратился к нему от имени А. А. Шахматова и группы его товарищей, молодых лингвистов, с просьбой возглавить создание исторического словаря русского языка¹², Потебня ответил решительным отказом: “Что до моего личного участия, — писал он Ягичу 27 апреля 1887 г., — то, при всем моем сочувствии предприятию, я не могу принять на себя никаких обязательств, но буду рад, если косвенно принесу какую-либо пользу своими будущими работами (буде они увидят свет) по синтаксису и этимологии. К этим работам я хотел бы приступить при первом досуге”. И немного дальше: “Пока я занят более, чем мне позволяет здоровье”¹³.

Несколько последних лет Потебня хворал особенно много и тем более тяжело, что подтачивавшая его болезнь почек врачами своевременно не была распознана. “Уже в 1886 г., когда мне привелось с ним познакомиться, — вспоминал Б. М. Ляпунов, — он смотрел стариком”¹⁴. Борясь со смертельным недугом, ученый старался не оставлять любимой работы: он читал лекции на дому, по просьбе группы учителей прочитал им небольшой курс “лекций по теории словесности” — об отношении поэтических произведений к слову, впоследствии опубликованный по записи одной из слушательниц¹⁵; даже в последний год, по сообщению Б. М. Ляпунова, он, “не желая лишать студентов своих лекций, приглашал их к себе на дом и читал из 3-й части своих “Записок по русской грамматике”, хотя чтение уже заметно его утомляло”¹⁶.

Работа над т. III “Записок по русской грамматике” особенно

занимала Потебню. Один из близких его товарищей по университету, М. С. Дринов, 29 января 1891 г., сообщал В. И. Ламанскому: “Александр Афанасьевич в настоящее время очень занят приготовлением к печати 3-го тома “Записок по русской грамматике”, который желает непременно окончить к началу лета; к тому же он не совсем здоров, и доктора не позволили ему заниматься слишком много”¹⁷. Сам же Потебня в одном из писем к Ламанскому (25 апреля 1891 г.) с грустью замечал: “За вопрос о здоровье благодарю. Все плохо. По утрам кое-что ковыряю, как старуха чулок вяжет, при полном отсутствии интереса, спуская петли и роняя спицы. 3-ю часть “Записок” нужно еще раз переписать непременно самому; но она мне уже надоела, и я не знаю, когда я это сделаю”¹⁸. Последнее замечание необходимо будет припомнить несколько дальше, когда пойдет речь о подготовке к печати этого труда, — уже после смерти автора.

Нельзя, наконец, не остановиться коротко и еще на одной характерной черте научной биографии Потебни, хотя сама по себе черта эта к науке имеет весьма отдаленное отношение. На протяжении почти всей своей сознательной жизни ученый находился на сильном подозрении у правительства и местной администрации — в “подрыве устоев”, в личной политической неблагонадежности, в сочувствии всевозможным неправительственным выступлениям и мероприятиям, если не в прямом участии в них. Подозрения эти, сколько известно, ни разу не были официально сформулированы сколь-нибудь отчетливо и конкретно, однако это нимало не могло облегчить их тяжести и причиняемого ими беспокойства.

Подозрения эти возникли и оформились еще во время заграничной командировки Потебни, когда он, вскоре по приезде во Львов, был выслан оттуда австрийскими властями как русский агент (“барон Потебня”, по выражению некоторых немецко-австрийских газет), а затем, возвратившись до окончания срока командировки в Россию, подвергся инсинуациям охранительной прессы (более всего катковских “Московских ведомостей”) в том, что он будто бы являлся “польским агентом”. Последнее обвинение основывалось, конечно, на том, что два брата Потебни, Андрей и Николай Афанасьевичи, погибли в боях на стороне польских повстанцев¹⁹.

По поводу всех этих противоречивых, но в равной степени уязвимых для общественного положения начинающего ученого подозрений Потебня, тотчас же по возвращении в Харьков, выступил со следующим заявлением в печати:

“В июле этого (1863) года, на третий или четвертый день моего пребывания во Львове, тамошняя полиция, не объявивши причин, приказала мне немедленно оставить город. Вслед за тем в венской газете “Presse” появилась корреспонденция из Львова, в которой я назван шпионом русского правительства. Польские газеты (кажется, “Yazeta narodowa”, и др.), взявши это известие из “Presse” прибавили к нему от себя завершение, что оно совершенно справедливо.

Вскоре после этого, в 176 и 177 номерах "Московских ведомостей", доведено до сведения публики, что профессор одного из русских университетов, посланный за границу на казенный счет, был на днях во Львове в качестве польского агента и намерен продолжать свою польскую миссию, возвратившись в Россию к открытию учебных курсов.

Так как, сколько известно, из посланных за границу с ученою целью, только я один был недавно во Львове, и так как только я возвратился на место службы к началу лекций, то я должен принять это обвинение на свой счет.

Я не видел надобности опровергать первое из приведенных обвинений, полагая, что бессовестность австрийской и польских газет ²⁰ довольно известна в России, но чтобы молчанием своим не подать повода к неосновательным толкам, считаю нужным заявить, что и второе, противоположное первому, обвинение есть клевета.

Доцент Харьковского университета А. Потебня.

9 сентября 1863 г. ²¹

Официально было признано, что это письмо исчерпывает весь инцидент. Министр народного просвещения А. В. Головин поспешил уведомить Н. И. Пирогова, занимавшего пост руководителя молодых ученых, командированных за границу для подготовки к профессорской деятельности, что "магистр Потебня" "возвратился в Харьков и печатно опровергал возведенные на него австрийскими газетами клеветы" ²². Однако подозрения в полонизме, а позже — в украинофильстве, продолжали тяготеть над Потебней; иногда эти подозрения затихали и почти вовсе не проявлялись, иногда — вдруг разгорались и приобретали более или менее шумный резонанс.

С большой долей вероятия можно полагать, что именно эти политические подозрения испортили отношения Потебни с его университетским учителем П. А. Лавровским, много сделавшим для первоначального выдвижения и утверждения молодого ученого, а затем решительно от него отвернувшегося. Сам Потебня, правда, был склонен (по крайней мере, высказываясь перед сторонними людьми) объяснять этот разрыв причинами чисто научного и отчасти этического свойства. В большом письме к А. Патере 15 апреля 1866 г., рассказывая о своем полном разрыве с Лавровским ("я уже несколько месяцев не кланяюсь с П. Лавровским"), он далее сообщает: "Лавровский сердится на меня, если не ошибаюсь (потому что, с какой стати мне с ним объясняться), за неуважительные мои отзывы о Ганке, как человеке и ученом, и за мою статью о полногласии" ²³. Сочинения, представленного мною на степень доктора, уже после того как я разошелся с Лавровским, он не одобрил ²⁴. Я уверен, что он это сделал не потому, что оно плохо, а потому, что я ему не нравлюсь. Если б я год тому назад представил сочинение несравненно худшее, оно бы было принято. Ведь прежде он сам торопил меня подавать какое-нибудь сочинение" ²⁵.

Несмотря на то, что Потебня и в приведенной цитате, и в других местах большого письма настойчиво подчеркивал личный характер своих

расхождений с Лавровским, мы в настоящее время можем отчетливее, нежели это было доступно ему, разглядеть политическую основу внезапно возникшей ненависти профессора к своему ученику. Махровому реакционеру Лавровскому (черносогенцу, сказали бы о нем четыре-пять десятилетий спустя), конечно же, были крепко не по душе прогрессивные взгляды, — и в науке, и в политике, — молодого доцента, который не сдался, не поспешил отречься от них даже после начальственного окрика со столбцов влиятельных "Московских ведомостей".

И не следует преуменьшать значения этих разногласий с Лавровским в биографии Потебни-ученого ²⁶. В середине 60-х годов Н. А. Лавровский пользовался в Харьковском университете громадным влиянием, всего более по своим высоким связям, которые вскоре затем дали ему возможность "сделать карьеру", — променять положение провинциального профессора на несравненно более заметные и перспективные посты сперва ректора Варшавского университета, а потом попечителя Одесского и Оренбургского учебных округов. Разрыв с ним привел Потебню (в 1868 г.) даже к решению покинуть вовсе Харьков, перейти в незадолго перед тем основанный Новороссийский (Одесский) университет ²⁷.

В 70-е годы блестящий докторский диспут Потебни, Ломоносовская премия, избрание членом-корреспондентом Академии наук, — все это как будто устранило официальную подозрительность, однако лишь на относительно непродолжительное время. На протяжении 80-х годов, по многим и разным поводам, а всего пуще — по многочисленным, письменным и устным, доносам профессора П. А. Бессонова (который был привлечен к преподаванию в Харьковском университете главным образом благодаря хлопотам Потебни) имя Потебни неоднократно стало упоминаться в различных документах как имя "крайнего украинофила", убежденного "врага России" и т. д. Не останавливаясь сейчас на отдельных эпизодах этой систематической и подлой травли выдающегося ученого, отнимавшей у него массу сил и здоровья, безмерно затруднявшей самую возможность для него плодотворно работать, — мне приходилось уже специально писать о некоторых выступлениях Бессонова, направленных против Потебни и его учеников ²⁸, — упомяну о нескольких фактах, в свое время не попавших в поле моего зрения.

5 июня 1884 г. И. С. Аксаков сообщал М. Ф. Де-Пуле: "На днях был здесь в Москве Бессонов и нарасказал то об университете, от чего волосы становятся дыбом. Харьковский университет стал каким-то центром польской интриги и украинофильства. Сам Потебня действует как-то странно" ²⁹.

В начале следующего, 1885 г. студенты освистали на вступительной лекции профессора русской истории П. Н. Буцинского, диссертация которого ("О Богдане Хмельницком", Харьков, 1882) за два года перед тем была отклонена факультетом и который, защитив ее — не без

внушительного нажима сверху — в другом университете, был все же назначен профессором по “предложению” министра народного просвещения. Как писал Н. Ф. Сумцов редактору “Киевской старины” Ф. Г. Лебединцеву, “в подстрекательстве обвиняют Потебню, меня, Багалея, Эварницкого. Никто из нас нимало не повинен”³⁰. И в другом письме: “Потебню не на шутку обвиняют в подстрекательстве студентов к освистанию Буцинского и он даже ждет официального запроса — это Потебню, человека строго нравственного, до суровости, кабинетного труженика. Времена!”³¹. И в данном случае закулисная “деятельность” Бессонова, его доносы попечителю Харьковского учебного округа и министру народного просвещения — не являлись секретом...

“Деятельность” Бессонова и его единомышленников, а также тех, кто прислушивался свыше к распространявшимся ими инсинуациям, подчас давала совершенно неожиданный резонанс: ей, в большей или меньшей степени, поддавались даже люди, вообще говоря, доброжелательно относившиеся к Потебне. Так, В. Ягич, обсуждая в переписке с А. А. Шахматовым проект исторического словаря русского языка и возможность участия в нем Потебни, неожиданно писал (25 декабря 1886 г. с.с. — 6 января 1887 г. н.с.): “Вполне согласен с Вами, что не следует обойти Потебню, но у меня был недавно Флоринский — один из менее увлекающихся учеников Ламанского — и передавал мне о своей встрече с Потебней осенью в Праге в таком виде, что из его слов следовало бы выводить высокую степень раздражительности и нерасположения Потебни ко всему — общерусскому. Неужели это так?”³².

Зная политическую физиономию Т. Д. Флоринского, бывшего, — вопреки поблажливой характеристике Ягича, — одним из столпов реакции в Киевском университете и в русском славяноведении, весьма не брезговавшего и потаенными пошептами и прямыми доносами, яростного врага украинофильства, можно себе представить, что и как мог он рассказать Ягичу о Потебне. И, что особенно существенно, — часть сообщенного им запала Ягичу в душу настолько, что и месяц спустя (7 февраля 1887 г.) он снова напоминал о нем тому же Шахматову. “Относительно Потебни, — писал он, — я написал Григорьеву³³ предварительно изучить его расположение к таким общерусским предприятиям, не заразился ли он чересчур сепаратизмом, в чем конечно были бы виноваты “казенные” представители, рассеянные по Киеву, Харькову, Одессе, вызывающие своим презрением всего провинциально-бытового раздражение и недовольствие, приблизительно так, как славянофилы вызвали подозрительность со стороны “братьев”. Когда и если Григорьев мне ответит, тогда только я обращусь к Потебне прямо. Неприятно было бы мне “sich einen Korb abholen”³⁴.

Несмотря на вторую половину цитаты, которая, очевидно, должна была в глазах Ягича несколько смягчить подозрительную настороженность первой, весь этот эпизод не может не оставить тягостного впечатления, особенно потому, что его основным участником оказался Ягич,

довольно хорошо знавший (хотя только по переписке) Потебню, высоко ценивший его как образец ученого, написавший много лет спустя, что харьковского ученого “отличало прекрасное свойство беззаветного служения науке как священному делу, не допускающему субъективного произвола, а требующему абсолютного преклонения перед истиной, перед логикой фактов”³⁵.

II

Смерть Потебни (29 ноября 1891 г.), несмотря на предшествовавшую ей долгую, мучительную болезнь, показалась всем и неожиданной, и невероятной; ученый мир с болезненной остротой осознал огромную тяжесть потери. В. И. Ламанский, в уже цитированной поминальной статье своей, отмечал, что “глубокомысленный, оригинальнейший исследователь русского языка, А. А. Потебня принадлежал к весьма малочисленной, наперсчик известной плеяде самых крупных, самобытных деятелей русской мысли и науки. На его имя и труды будут у нас со временем указывать при часто предьявляемом России вопросе — что внесено ею в сокровищницу человеческого знания”³⁶. В. Ягич в которой некрологической заметке, говоря о роли Потебни в истории филологической науки, особенно подчеркнул, что “seine tiefsinnigen syntaktischen Forschungen, die sich über alle slavischen Sprachen erstreckten, ohne leider zu Ende geführt werden zu sein, überragen an Fülle und Feinheit der Beobachtungen alles, was die slavische Sprachwissenschaft auf diesem Gebiete aufzuweisen hat”³⁷.

Наконец, Д. Н. Овсянко-Куликовский, констатируя принадлежность Потебни “к числу первоклассных ученых нашего века”, в заключение пространной характеристики ученого как “языковед-мыслителя”, на основании только двух его сочинений — “Мысль и язык” и “Из записок по русской грамматике” — приходил к выводу о европейском значении его научного наследия. В первой из названных работ, по словам Овсянко-Куликовского, Потебня “установил некоторые из тех положений или точек зрения, которые впоследствии были вновь установлены в Германии как нечто совершенно оригинальное”.

Что же касается “Записок по русской грамматике”, то в них, говорит Овсянко-Куликовский, Потебня проник в психологию и эволюцию языка так глубоко, как никогда еще не проникал ни один ученый, даже сам Як. Гримм, и результатом этого проникновения было открытие изменяемости предложения, определение того пути, по которому идет мысль человеческая, и направления, в котором она движется, именно — в сторону все большего развития глагольности сказуемого и ограничения категории субстанциональности”.

“Это открытие, — заканчивает свою мысль Овсянко-Куликовский, — так велико, что — если бы Потебня писал, напр., по-

немецки, — его имя давно уже стояло бы рядом с именами великих ученых XIX века, и возникла бы целая литература комментариев, популяризации, приложений его открытий к различным смежным сферам знания и т. д.”³⁸

Острое сознание громадной тяжести утраты, постигшей отечественную науку, побудило товарищей покойного, его слушателей, родственников задуматься о насущной необходимости издания его научно-литературного наследия, в первую очередь — рукописного. Харьковское Историко-филологическое общество, бессменным председателем которого на протяжении двенадцати лет (1879 — 1890 гг.) был Поттебня, через несколько дней после его смерти, 4 декабря 1891 г. заявило семье покойного “о желании Общества оказать всякое содействие в собирании материалов для биографии А. А. Поттебни и в издании его многочисленных научных трудов, оставшихся в рукописях”³⁹. Несколько позже, 16 января 1892 г., была избрана и особая комиссия — “для обсуждения всех относящихся сюда вопросов и редактирования”; в состав комиссии вошли М. С. Дринов, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, М. Е. Халанский и Б. М. Ляпунов⁴⁰.

Однако непосредственное участие в работе над рукописным наследием Поттебни из перечисленных лиц принял только Б. М. Ляпунов. М. С. Дринов по роду своих занятий и научных интересов был далек от тех вопросов, которыми занимался А. А. Поттебня; М. Е. Халанский оказался перегруженным обязанностями по университету и печатаньем своей докторской диссертации о Марке-Кралевице. Что же касается Д. Н. Овсяннико-Куликовского, то, как мне сообщил в 1935 году В. И. Харциев, его очень неодолюбливала М. Ф. Поттебня, “предполагая, что он исползует труд А. А. для своих работ. Таким образом, крупный сотрудник и человек «понимающий» выпал»⁴¹. Вся черновая работа по разборке рукописей и приведенню в ясность того, что осталось, легла на плечи уже названного Б. М. Ляпунова, четырех вечерашних студентов-слушателей Поттебни (В. И. Харциев, Р. И. Каширенинов, В. А. Лезин, А. В. Ветухов), М. Ф. Поттебни и М. В. Багaley (жены профессора Харьковского университета Д. И. Багaley). Довольно быстро получилось так, что основная и главная тяжесть многосложно трудной работы пришлось на долю В. И. Харциева, которого сам Поттебня заметно выделял среди немногих своих слушателей последних лет.

12 марта 1892 г. В. И. Харциев сделал в заседании Харьковского Историко-филологического общества сообщение «О бумагах покойного проф. А. А. Поттебни»⁴². В расширенном печатном варианте это сообщение на многие годы явилось основным источником сведений о рукописном наследии ученого⁴³, — это оправдывает те выдержки из нее, которые будут сделаны ниже.

«Девять десятых рукописного материала, заключающегося в двадцати объемистых папках, — писал В. И. Харциев, — представляют ни

что иное, как заметки для себя, в которых намечены лишь веши для будущих работ по изучению русского слова с насоро, кое-как распределенным материалом. На всем лежит печать недоконченности, внезапного перерыва, не исключая и III тома записок по русской грамматике. (...) Общее впечатление от просмотра бумаг таково, что мы с полным правом можем сказать об Ал. Аф. то же, что сказано им было когда-то по поводу смерти даровитого филолога (...) Ал. Вас. Попова: «вечеронька на столі, а смерть за плечима», с тою только разницей, что там были широкие планы, намерения и научная сила сгубла в самой завязи, а здесь — целый ряд вопросов, интереснейших по своей новизне и строго-научному решению, вопросов порешенных уже, но ждавших только последней отделки...”

Подробно остановившись на содержании четырех папок с рукописью третьей части “Записок по русской грамматике”, которые, по убеждению докладчика, правильнее было бы назвать “Историей русского мысли под освещением русского языка”, В. И. Харциев характеризовал работу по подготовке к печати этой, едва ли не единственной более или менее обработанной самим автором рукописи. Оказалось, что “отделка этого труда далеко еще не была закончена, что работа мысли остановилась на всем течении. Среди переписанных набело рукою покойного листов вдруг попадаются то там, то сям листочки или целые пачки их с заметками и выписками, не приуроченными к определенному месту, с черновым, неотделанным материалом, из которого не все еще было извлечено. Кроме того, повсюду встречаются приписки на полях без указания, куда их отнести. Кто знаком с характером исследований А. А., с его приемами анализа и распределения фактов не механически, по внешним признакам, а по внутренней психической связи, причем не упускаются из виду самые неуловимые оттенки мысли и делаются часто кажущиеся отступления в сторону, — тот поймет, как трудно теперь, когда дух его отлетел, разобраться с этими приписками, вставками и т. п. Правда, в них большею частью приводятся факты, но последние нельзя понимать как нечто бросающееся в глаза: в научном факте остается лишь то, что имеет отношение к соответствующим законам и обобщениям. При наличии внешней классификации, по времени, формальным особенностям приводимых фактов, всегда надо иметь в виду эти обобщения, которые часто не даются Поттебней, а иллюстрируются только конкретными явлениями, типичными образцами. Простая аналогия тут не поможет; каждый факт, не занесенный под определенную рубрику, придется будущей редакции разложить про себя, чтобы потом приурочить его к той или другой группе фактов”.

Других законченных работ, говорил В. И. Харциев, в бумагах Поттебни не было обнаружено, “если не считать вполне приготовленного к печати, но нигде не напечатанного ответа Н. Лавровскому на его разбор диссертации “О мифическом значении некоторых обрядов”; внимательное ознакомление с рукописью, в 1916 — 1917 гг. убедило

меня в том, что ответ этот, в том виде, как он сохранился в бумагах Потевни, далеко не был "приготовлен к печати" и для самого автора не вышел из стадии черновой работы над ним, оборванной, как отмечалось выше, по не вполне ясным причинам.

Три папки, продолжал свое описание В. И. Харциев, заняты материалами по "теории словесности". Содержание этих папок, "в общей массе", производило на докладчика "впечатление заметок для себя, хотя в некоторых местах начата была уже обработка черновых набросков". К сожалению, заметки, выписки, разрозненные записки — располагались в ином порядке, нежели весь этот материал излагался в университетских курсах Потевни, — "насколько можно судить об этом по имеющимся студенческим запискам и двум конспектам этих курсов, относящимся к разному времени. Один из них составлен довольно полно самим А. А. -чем, другой, очевидно, одним из его слушателей и находится среди разных черновых заметок, еще не рассмотренных".

Заслуживают большого внимания выводы В. И. Харциева относительно принципов опубликования этих "записок", требующих предварительного "основательного изучения, без которого приступить к изданию невозможно". "Здесь придется иметь дело просто с черновым материалом. Но при обработке его могут принести некоторую пользу отчасти студенческие записки, отчасти упомянутые конспекты и, наконец, записанные некогда стенографически и проверенные самим А. А. -чем 10 частных лекций, посвященных вопросу об отношении поэтических произведений к слову". Эта мысль, — о возможно более широком использовании при подготовке "записок по теории словесности" к печати живых студенческих записей университетских курсов Потевни, — представляется мне чрезвычайно плодотворной, хотя практически она, из-за категорического противодействия М. Ф. Потевни, почти не была осуществлена.

Содержание остальных папок и нескольких пачек отдельных, разрозненных заметок В. И. Харциев условно делил на три группы. Первую, по его определению, составляли "материалы для этимологии (словаря), для грамматики и записки смешанного характера". "Весь собранный здесь материал по своему характеру напоминает обнаруженное уже в печати, в 4 выпусках "К истории звуков" и в недавних еще заметках в "Живой старине" ⁴⁴. Словам, например, со звуком х предшествует фонетическая заметка об изменении этого спиранта на почве русского языка; в других случаях, кроме бытовых объяснений, встречаются и историко-литературные; а некоторые выписки напоминают издающиеся в настоящее время "Материалы для древнерусского словаря" Срезневского" ⁴⁵.

Вторую группу составляли несколько папок с материалами по русской грамматике. Наиболее обширны (четыре папки!) "материалы о глаголе", которые должны были, по-видимому, лечь в основу четвертой части записок по грамматике. В других папках были заметки о

склонении существительных, прилагательных, заметки о члене в русском и других славянских языках и об именных суффиксах, о категориях родительного падежа, о местоимении, частицах, союзе, о превращении местоимения в союз и наречие, о предлоге и т. д. ⁴⁶ Особую папку заполняли "материалы об ударении в именах по склонениям, в глаголах по разрядам и формам, о влиянии предлогов на ударения и пр. Отдел об ударениях находится в более обработанном виде, чем другие".

В последнюю группу рукописей входили заметки и наброски, по определению В. И. Харциева, "смешанного содержания". Две папки были заняты материалами по "народной поэзии, народнопозэтическим и мифическим образам", а в одной заключены наброски статей, лекций, докладов по вопросам художественной литературы (Тютчев, Л. Толстой, Достоевский, В. Одоевский), о народности и задачах языкознания, о диссертации А. И. Соболевского. К этой же группе рукописей отнесены фрагменты перевода "Одиссеи" на украинский язык. "Есть, наконец, еще пачки бумаг нерассмотренных, которые не представляют ничего целого. Это — отчасти конспекты лекций, отчасти обрывки "научного дневника" (по выражению покойного) с заметками и выписками из читанных им книг".

Повторю еще раз: я уделил много места изложению статьи В. И. Харциева и выпискам из нее, так как, вплоть до настоящего времени, это — единственный обзор рукописного наследия Потевни. Особая его ценность, кроме того, — в том, что он фиксировал то расположение рукописей по папкам, каким оно было в момент смерти ученого. Очень скоро этот порядок нарушился: отдельные рукописи и части их перекладывались из одной папки в другую, зачастую после просмотра и переписки не возвращались на свое место. В конце 1916 г., когда я познакомился с М. Ф. Потевней и стал у нее бывать, рукописное наследие ученого было беспорядочно сложено в ящиках письменного стола (в папках и связках), в бельевой корзине и т. д.; даже сама М. Ф. находила нужную папку или связку лишь после более или менее длительных поисков.

Статья В. И. Харциева ценна для нас также тем, что в ней отразились первоначальные предположения относительно издания научно-литературного наследия Потевни. К сожалению, этим предположениям суждено было осуществиться лишь в очень слабой степени.

Вскоре после смерти ученого был переиздан один из основных его трудов "Мысль и язык", сделавшийся к тому времени библиографической редкостью; вслед за ним, в 1894 г., появилась в свет та запись домашних лекций Потевни, о которой упоминалось выше. В следующие два года в журналах появились еще две работы Потевни, и только в 1899 г. увидел свет третий том "Записок по русской грамматике". На причинах такой медлительности, далеко не соответствовавшей большим и широким первоначальным планам, необходимо остановиться подробнее.

Харьковское Историко-филологическое общество очень искренно и серьезно было озабочено возможными мерами по увековечению памяти Потебни, по опубликованию его научного наследия в частности. В день смерти ученого, 29 ноября, почти ежегодно устраивались заседания Общества, посвященные его памяти; принимались решения о том или ином способе почтить эту память⁵¹. Так, 29 ноября 1896 г., после того как М. Е. Халанский «познакомил Общество с содержанием трех писем А. А. Потебни, написанных им во время пребывания его в Берлине»⁵², было «предложено издать их в извлечениях и постановлено собрать сведения о переписке А. А. Потебни вообще и о предполагавшемся издании 3 т. «Записок по русской грамматике» и «Теории словесности»⁵³. 7 мая 1903 г. было заслушано предложение Н. Ф. Сумцова об основании музея в память Потебни. Как гласит соответствующая протокольная запись, «Общество решило образовать при историческом архиве музей в память проф. А. А. Потебни; в музее будут собраны все предметы, имеющие отношение к личности знаменитого ученого, могущие дать материал для его характеристики как ученого человека, для уяснения его творчества, его обстановки, его сочинения, рукописи, письма его и письма других, адресованные к нему, критические исследования его трудов, портреты его родителей, близких к нему лиц, предметы его обстановки и т. п.» Общество, — записано в протоколе далее, — «обращается с покорнейшей просьбой о помощи ему в устройстве музея — пожертвованиями предметов, имеющих отношение к личности А. А. Потебни»⁵⁴.

Материальные средства Общества были чрезвычайно ограничены, если не сказать — скудны; в частности, издательские возможности целиком исчерпывались выпуском очередных томов «Сборников». Участие Общества в издании сочинений Потебни таким образом ограничивалось на первых порах — организацией (как мы бы сейчас сказали, на общественных началах) переписки рукописей, намеченных к изданию⁵⁵, а также выдачей разрешений на печатание отдельных книг, — Общество, по уставу своему, пользовалось правом издания научных книг без представления их в общую цензуру. Именно по цензурным разрешениям Общества и были выпущены в свет все отдельные издания сочинений Потебни в 90-х и начале 900-х годов, — вплоть до «Записок по теории словесности» (Харьков, 1905)⁵⁶. Ничего большего Общество, при всем желании его руководителей и членов, не было в состоянии сделать.

В конце 1894 г. М. Ф. Потебня повезла часть переписанных рукописей Потебни в Петербург, надеясь добиться помощи Академии наук в их опубликовании. С ее намерениями почти исчерпывающе полно знакомит нижеследующее обращение:

«В императорскую Академию наук.

По смерти мужа моего, члена-корреспондента императорской Академии наук, профессора Харьковского университета Александра Афанасьевича Потебни, остался ряд черновых тетрадей, частью служивших покойному для чтения специальных его курсов по теории словесности, частью подготавливавшиеся им для печати записки по грамматике, должествовавшие составить третью часть грамматики, обнимающую собою синтаксис. Вышеозначенные черновые переписаны и приведены в порядок и могут быть напечатаны, подобно тому как в настоящем, 1894 г. мною напечатан был ряд лекций, трактующих о «басне, пословице и поговорках». Кроме того, имеется еще объемистое исследование «глагол», словарный материал и заметки по грамматике и теории словесности.

Независимо от того, что опубликование оставшегося материала является для меня выполнением долга к памяти покойного, труды эти, по отзыву лиц компетентных, которые имели случай с ними познаться, представляют немаловажный интерес для науки. Но ограниченность средств моих не позволяет мне продолжать начатого уже мною, на собственный счет, предприятия, а потому, представляя на просмотр императорской Академии наук ряд тетрадей переписанного исследования по синтаксису и по теории словесности, прошу Академию, если она признает в прилагаемых трудах интерес для науки, не отказать мне в содействии по исходатайствованию от министерства народного просвещения денежного пособия для напечатания посмертных трудов мужа моего.

Вдова статского советника Мария Владимировна Потебня.

1 декабря 1894 г.»⁵⁷

3 декабря 1894 г. Отделение русского языка и словесности, заслушав это письмо, постановило поручить А. Н. Веселовскому рассмотреть рукописи, касающиеся теории словесности; тетради же «филологического и лингвистического содержания» должны были быть переданы на рассмотрение А. А. Шахматову, как только он будет утвержден в должности адъюнкта Академии. Одновременно решено просить «соизволения» президента Академии, великого князя К. К. Романова, «на возбуждение ходатайства Академии ... о назначении г-же Потебне денежного пособия для напечатания ... ученых трудов покойного А. А. Потебни»⁵⁸.

А. Н. Веселовский и А. А. Шахматов быстро выполнили поручение Отделения; их отзывы были выслушаны в первом же, январском, заседании следующего, 1895 года.

Первый из рецензентов, несмотря на предельную краткость своего суждения, высказал очень здравую и конструктивную мысль о необходимости максимальной расшифровки для читателей конспективных записей и набросков Потебни. «А. Н. Веселовский, — читаем в протоколе заседания, — находя, что бывшие у него на рассмотрении труды

г. Потемби по теории словесности, хотя и представляют собою ценный и искусно подобранный материал вообще, но еще окончательно не обработанный, а потому было бы желательно для придания ему возможной связности и систематичности, чтобы кто-либо из бывших слушателей покойного профессора восстановил недостающую связь между отдельными частями сочинения, очевидно создававшегося на основе университетских чтений”.

Более пространным и безоговорочно положительным был отзыв А. А. Шахматова. Он прочел следующую записку, целиком внесенную в протокол: “Представленные во Второе отделение императорской Академии наук вдовую покойного профессора Харьковского университета А. А. Потемби бумаги заключают в себе материалы для 3-й части изданного Потембию труда под заглавием “Из записок по русской грамматике”. Труд этот явился в печати в 1874 г.: первая часть, содержащая общее введение в исторический синтаксис русского языка, была напечатана в “Филологических записках”, а вторая — о составных членах предложения и их заменах — в “Записках императорского Харьковского университета”. В 1889 году А. А. Потембя выпустил 2-е издание своего труда отдельным томом, значительно исправив и дополнив его (издание принадлежит Харьковскому книжному магазину Полуктова). Содержание третьей части “Записок по русской грамматике” тесно примыкает к содержанию двух первых частей. Мы находим здесь развитие тех положений, к которым пришел автор в результате своих исследований по истории русского синтаксиса. Целый ряд глубоких и остроумных наблюдений привели его к следующим выводам, изложенным в конце второй части названного сочинения: в исторической жизни русского и других языков заметно увеличение противоположности имени и глагола, и притом увеличение именного характера языка по направлению к прошедшему и глагольного по направлению к настоящему, увеличение разницы между существительным и прилагательным, ограничение области согласуемости (аттрибутивности) целым рядом новых синтаксических явлений. Развитию этих выводов и посвящена третья часть сочинения Потемби. В целом ряде блестящих очерков автор излагает ход вышеуказанных синтаксических процессов в истории русского языка. Не ограничиваясь простым изложением относящихся сюда явлений, он останавливается на общих вопросах о происхождении языка, о значении так называемых корней слов и появлении в языке различных по значению категорий слов, освещая их глубоко-мысленными соображениями и талантливо гипотезами. С этой стороны разбираемое сочинение, в составе как двух первых, уже изданных, так и настоящей третьей части, является несомненным вкладом в науку о языке; но главный предмет труда — освещение исторических судеб русского языка — дает ему настолько видное и почетное место среди исследований по русскому языку, что выход третьей части его будет встречен приветствиями со стороны всех

занимающихся родным языком, и притом не одних только профессиональных ученых, но также преподавателей русской словесности в наших учебных заведениях: для лучших из них “Записки по русской грамматике” стали давно настольною книгою. Все они убедятся, что каждая страница этой третьей части сочинения Потемби является обогащением науки о родном слове: подбор фактов из истории русского языка в значительной степени увеличит наше знание в этой области, а научный взгляд автора на исследуемый предмет расширит понимание общих грамматических явлений языка. Нельзя упускать из виду, что в третьей части своего труда Потембя нередко исправляет положения, выставленные им в предшествующих двух частях: скорейший выход этой части тем более необходим, что может предостеречь от некоторых неправильных толкований и выводов из таких отвергнутых самим автором положений. Большинство очерков, составляющих материалы третьей части, соединены между собою общим содержанием; некоторые из них (напр., главы о грамматическом роде, о безличных предложениях) представляются отдельными этюдами в области русского синтаксиса. Все эти очерки, за самыми ничтожными исключениями, оказываются в представленных рукописях готовыми к печати. В силу всего вышеизложенного, скорейшее, и притом возможно точнее передающее оригинал, издание третьей части “Из записок по русской грамматике” Потемби представляется весьма желательным в интересах русской науки и отечественного просвещения”⁵⁹.

Выслушав оба отзыва, Отделение постановило “обратиться к министру финансов с ходатайством о назначении г-же Потембе некоторой суммы на издание представленных ныне сю в Отделение ученых трудов ее мужа”. Это решение однако тотчас же было заменено другим: в начале 1895 г. Академии наук был передан так называемый “капитал имени императора Николая II” и образована особая “Комиссия для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам”, назначением которой было — конкурировать с общественным Литературным фондом и поддерживать правительственными средствами “благонадежных” литераторов, прикармливать некоторых из них и т. д. На первых порах реакционные, “репгильные” свойства “капитала” еще не были распознаны” на него могли возлагаться (и действительно возлагались) кое-какие надежды в случаях, подобных возбужденному М. Ф. Потембей. Поэтому, на уведомление Академии наук о том, что ее ходатайство передано Непременному секретарю “для приобщения к другим поступившим в Академию”⁶⁰, М. Ф. Потембя ответила большим и очень характерным для нее письмом, адресованным председательствующему Отделению русского языка и словесности акад. А. Ф. Бычкову:

“Ваше высокопревосходительство, милостивый государь

Афанасий Федорович!

С искреннейшей благодарностью за внимание к моему ходатайству, спешу уведомить Вас, что рукописи получены мною 4-го февраля; за болезнью не могла известить об этом немедленно.

В ожидании возможности начать печатание бывших у Вас рукописей, понемногу переписываем из материала, еще не приведенного в порядок. К сожалению, молодые люди, — все беднота, — до сих пор помогавшие в разборе и переписывании, теперь разместились по местам, дающим им хлеб насущный. Приходится управляться собственными силами. Рукописей порядочное количество; а так как они написаны часто с сокращениями слов, и притом таким мелким почерком, что нередко приходится прибегать к лупе, то это делает невозможным пользование переписчиками, даже и из студентов не филологов.

Часто слышала от мужа, а со смертью его и сама убедилась, как мало интересуются у нас, хотя бы и выдающимися трудами умерших ученых, особенно в провинции; при этом, зная, сколько здоровья и сил положено покойным в его работы, и как он, в минуты оскорбленного самолюбия, успокаивал себя надеждой на оценку в потомстве, считаю свою дорогою обязанностью поспешить, пока есть силы и здоровье, сделать возможное для увековечения памяти дорогого человека.

Весною, вероятно, буду в Петербурге, тогда позволю себе смелость обратиться к просвещенному вниманию вашего высокопревосходительства за советом, как поступить с некоторыми материалами, между прочим и довольно большим словарным материалом, который буду иметь честь Вам представить.

С глубоким уважением к вашему высокопревосходительству имею честь быть готовой к услугам М. Потебня" ⁶¹.

В связи с этим письмом уместно несколько задержаться на самой личности его автора. Как сказано выше, я познакомился с М. Ф. Потебней в самом конце 1916 г. Она отнеслась к зеленому шестнадцатилетнему юнцу-студенту очень благожелательно, снабдила меня не только теми книгами, которые мне хотелось купить, но также некоторыми изданиями, считавшимися распроданными, на возможность приобретения которых, казалось бы, невозможно было рассчитывать. По ограниченности моих денежных средств, приобретение книг пришлось растянуть на несколько недель; при каждом моем посещении М. Ф. много и, по-видимому, охотно рассказывала о покойном муже, о своих издательских предприятиях, показывала рукописи Потебни, которые продолжала исподволь переписывать. Постепенно к этой работе она привлекла и меня: я взялся за расшифровку и переписку «Ответа П. Лавровскому», а затем и некоторых других рукописей. Университетские занятия, служба, сложные обстоятельства гражданской войны на Украине и смены властей в Харькове, — все это не делало наши встречи ни систематическими, ни частыми, хотя

встречались мы на протяжении нескольких лет, — почти до самой смерти М. Ф., летом 1920 года.

Жила М. Ф. в это время в болезнях, нужде и лишениях, вдвоем с какою-то преданной ей старухой, домашней работницей. Из сыновей ее — старший, Александр Александрович, был профессором Томского технологического университета и перебрался в Харьков уже после смерти М. Ф., кажется, в 1921 г.; младший сын, Андрей Александрович, профессор-ботаник Харьковского университета, умер, если не ошибаюсь, в самом начале 1917 г. Посетителей я у нее никогда не встречал; мне казалось, что она и не стремилась к общению, например, с университетской средой. Когда я, случалось, расспрашивал ее об отношениях Потебни с тем или иным из старых профессоров (расспрашивал я ее много и о многих, так как интересовался прошлым Харьковского университета, а вскоре — вознамерился писать биографию Потебни и позднее действительно написал ряд глав из нее; некоторые из них были опубликованы), она отвечала охотно и обстоятельно, с явственной впрочем тенденцией всячески преуменьшать научное значение тех, о ком я спрашивал, — за счет возвеличения самого Потебни. Позднее я установил, что в ряде случаев при этом Потебне приписывались взгляды, оценки и суждения самой Марии Францовны.

Из слушателей и последователей Потебни Мария Францовна выделила одного только В. И. Харциева; об остальных отзывалась с большим пренебрежением. Многократно подчеркивала собственную роль — переписчицы и издательницы сочинений мужа. Однако, даже по тогдашним моим примитивным текстологическим представлениям и еще слабому знанию трудного почерка Потебни, было очевидно, что его рукописи Мария Францовна читает далеко не безупречно, а сделанные ею копии изобилуют неточностями и прямыми ошибками, хотя от переписчиков она, по ее же словам, требовала «буквальной точности» ⁶².

Все это следует иметь в виду при оценке как приведенного выше письма М. Ф. Потебни к А. Ф. Бычкову, так и тех ее писем к А. А. Шахматову, которые в извлечениях будут приведены ниже. Замечание о том, что «приходится управляться собственными силами», необходимо отнести к отдельным наброскам и заметкам; что касается «Записок по русской грамматике», то этот труд к тому времени уже был закончен перепискою. Неточно приведено высказывание Потебни о трудах умерших ученых, не говоря уже о том, что самый характер этого высказывания не слишком был ему свойствен, можно думать, что М. Ф. Потебня в данном случае процитировала по памяти, очень неточно и в собственной интерпретации, слова А. А. Потебни на письме к В. И. Ламанскому 7 февраля 1891 г., опубликованного в составленном последним некрологе ученого. В письме высказывание имело иной смысл. Потебня писал: «Печальная судьба филологических знаний в России. Порою кажется, что мы идем не вперед, а назад. У нас в этом году на 1005 — 32 филолога, в том числе по славянорусскому отде-

лению может быть человек 5 — 6, да и то не по призванию, а ради хлеба»⁶³. При этом имелись в виду собственно мрачные результаты «толстовской» гимназической и университетской (устав 1884 г.) «реформ», а вовсе не то старческое брюзжание, какое приписывала мужу М. Ф. Потебни.

Ходатайство М. Ф. Потебни разрешилось совсем неожиданным образом. Оказалось, что Постоянная комиссия для пособия нуждающимся ученым, литераторам и публицистам, по утвержденному положению, имела право тратить свои средства исключительно на выплату «пособий по бедности». Поэтому 24 мая 1895 г. председатель Комиссии акад. Л. Н. Майков известил А. Ф. Бычкова об отклонении ходатайства Отделения русского языка и словесности, так как в распоряжении Комиссии не было «средств для выдачи пособий на издание сочинений, хотя бы таковые и заслуживали вполне печати»⁶⁴.

Несмотря на эту неудачу, члены Отделения, — в первую очередь, А. А. Шахматов, а затем и А. Ф. Бычков, который, по словам М. Ф. Потебни, весьма сочувственно относился к проекту издания сочинений А. А. Потебни Академией наук, — продолжали изыскивать возможные денежные средства для осуществления этого предприятия. В конце концов, выход был найден; о нем, в протоколе 27 января 1896 г. записано так:

«Отделение, вновь подвергнув обсуждению вопрос об оказании вдове члена-корреспондента Отделения А. А. Потебни, М. В. Потебне поддержки для издания трудов ее покойного мужа, хотя бы на первый случай законченной и приготовленной к печати III-й части «Из записок по русской грамматике», определило от остатков прошлого года отделить для издания вышеупомянутого труда от 1300 до 1400 руб. на покрытие издержек по покупке бумаги, печатанию и плате за чтение корректур, о чем и сообщить М. В. Потебне для того, чтобы, в случае ее согласия, внести г-жу Потебню в список кредиторов казны на указанную выше сумму»⁶⁵.

Рассматривая это постановление сегодня, так сказать, в исторической перспективе, зная уже все дальнейшие этапы публикации литературного наследия Потебни, невозможно отделаться от убеждения, что будь оно в свое время реализовано, научная общественность познакомилась бы с трудами замечательного ученого значительно быстрее и с неизмеримо меньшими трудностями, по сравнению с тем, какие имели место в действительности; не говорю уже о том, что полиграфический и научный уровень изданий был бы значительно выше. Правда, при этом оказалась бы существенно ограниченной роль самой М. Ф. Потебни; она не смогла бы быть полной и единственной распорядительницей, хозяйкой изданий, главным и единоличным вершителем их судеб. Именно с этим она не могла примириться и, выехав в Петербург, заявила, при личной встрече с А. Ф. Бычковым о своем решительном отказе от «подачки»⁶⁶. Вслед за тем она написала на имя А. Ф. Бычкова следующее письмо, в котором явственно зву-

чали ноты раздражения, досады, оскорбленного самолюбия:

«Домашние обстоятельства, — писала она, — помешали мне отвечать немедленно. Теперь же спешу уведомить, что от предложения (...>... выдать мне 1300 — 1400 руб. на издание сочинений покойного мужа моего, я, как имела уже честь сообщить вашему высокопревосходительству лично, отказываюсь. Покорнейше прошу ваше высокопревосходительство доложить об этом официально Отделению Академии наук.

Я решилась беспокоить Отделение русского языка Академии наук, побуждаемая, как видно, преувеличенным взглядом на важность значения трудов покойного, что, надеюсь, не поставится мне в вину, как лицу, близкому к нему; тем более, что мнение это было вызвано и поддерживалось во мне как отзывами русских ученых, так и иностранными славистами, выражавшими свое уважение и при личном свидании, и в многочисленных к нему письмах, находящихся в моих руках, между прочими и письмами академика Ягича, которые я храню как материал для будущей его биографии.

Все вышесказанное дало мне повод думать, что заслуги покойного для науки немаловажны, что Академия не сочтет нестоящим ходатайствовать где нужно о выдаче просимого мною пособия в размере 6000 руб., которые дали бы мне возможность приступить немедленно к печатанию как оставшихся рукописей, так и прежде напечатанных, но уже разошедшихся его сочинений, что по отзыву господина Шахматова и других специалистов составило бы ценный вклад в русскую науку. Сумма же, от которой я отказываюсь, не дала бы мне возможности исполнить это намерение.

Буду надеяться, что при помощи кредита или продажи имущества мне удастся исполнить свое сердечное желание издать сочинения покойного и тем, быть может, хоть в будущем, способствовать признанию его ученых заслуг»⁶⁷.

Горечь обиды и раздражения, пронизывавшая это письмо, ощущалась М. Ф. Потебнею и позже, даже спустя двадцать лет. Умная и волевая женщина, она каждый раз, когда касалась в беседе этого эпизода, склонна была совсем «по-дамски» винить всех и вся, не признавая только очевидной собственной своей ошибки. Она не переставала твердить о «ненависти» и «зависти» Академии наук к научному наследию Потебни, упорно отказывалась от любых видов содействия ее издательским трудам, которые исходили бы от высшего ученого учреждения страны. После выхода в свет третьей части «Из записок по русской грамматике» А. А. Шахматов предполагал присудить книге одну из почетных академических премий, но и эта, казалось бы, самая достойная форма общественного содействия была отвергнута. 21 февраля 1990 г. Б. М. Ляпунов сообщал А. А. Шахматову: «По возвращении из поездки в Петербург и Москву я был у М. Ф-ы Потебни и говорил ей о представлении 3-го т. «Записок» на премию, но она решительно отказывается представлять. Не найдет ли возможным

Отделение увенчать этот труд без представления со стороны издательницы?"⁶⁸

А когда в 1903 году в газетах появились сообщения о предстоящем выходе в свет "Записок по теории словесности", якобы при содействии Академии наук, В. И. Харциев, по настоянию М. Ф. Потебни, опубликовал следующее письмо:

"В № 192-м "Русских ведомостей" напечатана корреспонденция из Харькова об издании М. Ф. Потебней трудов профессора А. А. Потебни. В корреспонденции сообщается, будто бы Академия наук предлагала издать эти труды на свой счет и что в настоящее издание войдут разнообразнейшие статьи, отрывки, лекции "Вдохновение", "Народная поэзия", "Л. Толстой", "Достоевский", "Гоголь" и множество мелких статей по теории словесности. В целях восстановления истины считаем долгом сообщить, что такого предложения со стороны Академии наук об издании печатаемых "Записок по теории поэзии" М. Ф. Потебня не получала. Печатаемая книга представляет не отрывки и много мелких статей, а целый курс теории поэзии и прозы (искусства и науки), читанный несколько раз студентам-филологам харьковского университета и разработанный в духе того научного направления языкознания, которому посвящена была вся ученая деятельность А. А. Потебни. Вслед за критикой устаревших, но не устаревших эстетических взглядов дана стройная лингвистическая система творчества поэтического и научного (прозаического), теории поэтического, научного и мифического мышления. "Отрывки" и "мелкие статьи" войдут в качестве приложений к книге"⁶⁹.

IV

Поездка М. Ф. Потебни в Петербург в начале 1896 г., кроме чувствительнейших огорчений, внушила ей и некоторые надежды — на возможность публикаций в журналах отдельных, оставшихся в рукописях, произведений Потебни. А. А. Шахматов, ознакомившись с частью привезенных ею рукописей, предложил опубликовать кое-что в возобновленных "Известиях Отделения русского языка и словесности", а несколько работ, имевших более широкое общественное значение, согласился рекомендовать другим научным и литературно-общественным журналам. Организация переписки отобранных рукописей и непосредственное участие в ней заняли все ее время, пока оформлялся заем в банке, который должен был помочь изданию такого громоздкого труда, как третья часть "Записок по русской грамматике"⁷⁰.

В первом же письме к А. А. Шахматову М. Ф. Потебня подробно рассказывала о своих попытках привести в порядок и подготовить к печати отзыв Потебни о диссертации А. И. Соболевского⁷¹. Попытки эти оказались не вполне удачными: как известно из приведенных выше писем Б. М. Ляпунова к Шахматову, уже в корректуре пона-

добилась дополнительная, весьма значительная притом работа. Это обстоятельство должно быть отмечено как весьма характерное для постертных публикаций литературного наследия Потебни.

Невозможно в настоящее время с полной достоверностью установить путь и лиц, связавших М. Ф. Потебню с редакцией "Вестника Европы", где, как указывалось, была опубликована статья "Язык и народность"⁷². Возможно, помогая рекомендация А. А. Шахматова — через кого-либо из товарищей по Академии, близких к журналу, возможно, сыграло роль участие в этой публикации Д. Н. Овсяннико-Куликовского, преодолевшего на сей раз настороженно-враждебное отношение к себе М. Ф. Потебни, либо, наконец, благожелательное содействие А. Н. Пыпина. Во всяком случае, М. Ф. Потебня имела на журнал дальнейшие виды и готовилась дать туда же еще несколько публикаций ("Условия процветания и падения поэзии", вступительную лекцию по языкознанию, в которой, по словам М. Ф., содержались "интересные и интересно сгруппированные выписки из Тэна", "Язык и языки", по поводу статей Макса Мюллера). "Переписываю, — сообщала она А. А. Шахматову, — еще статью, сюда же относящуюся, по поводу статьи (Rüdiger Ueber Nationalität"; во всех, конечно, видна неоконченность и даже отрывочность. Не знаю, как отнесется редакция «Вестника Европы». Хотелось бы там напечатать, так как этот журнал более других читается серьезной публикой"⁷³. Ни одна из перечисленных работ в «Вестнике Европы» не появилась; года два спустя возникла мысль издать эту группу статей и набросков отдельной брошюрой, было даже получено цензурное разрешение Харьковского Историко-филологического общества (см. выше, прим. 56), но это намерение не осуществилось.

Наконец, в 1899 году увидел свет в тяжких муках рождавшийся т. III «Из записок по русской грамматике». Выход книги не привлек к себе того внимания научной общественности, какого он, по всей справедливости, заслуживал, на какой рассчитывала издательница. В печати появились всего лишь два пространных отзыва; оба были написаны бывшими слушателями Потебни и содержали не столько научную критику, сколько популярное, сжатое изложение громадного материала, заключававшегося в большой книге⁷⁴. Высокая цена книги (6 рублей) также мало способствовала быстрой ее распродаже.

Лишь несколько лет спустя М. Ф. Потебня почувствовала материальную возможность продолжить издание трудов мужа, — на этот раз тома черновых материалов, получивших впоследствии общее название «Из записок по теории словесности». Том этот очень медленно и постепенно оформлялся; самое печатание его растянулось на несколько лет. Только в сентябре 1903 г. М. Ф. Потебня известила А. А. Шахматова: «Наконец то удалось мне приступить к печатанию записок по теории словесности, оставшихся после смерти мужа моего. Пробные листы посылаю Вам, зная, как сочувственно относитесь Вы к работам покойного».

В письме подробно рассказывалось о ходе подготовительных работ по изданию «Записок», о сложном процессе формирования и обработки материала. Как признавала в письме М. Ф. Потепня, «это почти наброски, но, может быть, и в таком виде этот труд окажется бесполезным. Я уже отчаивалась увидеть эти записки в печати, так как не находилось лица, кто мог бы редактировать их. Учитель гимназии Харциев, наиболее для этого пригодный, жил от меня далеко и, кроме того, обремененный большой семьей, а поэтому и большим количеством уроков, до сих пор, при всем сочувствии к труду своего бывшего учителя, не мог приняться за это дело. Теперь же, к моему удовольствию, он нанял квартиру рядом с моим домом; благодаря этому, дело двинулось вперед. Как видите, мы довели уже печатание до 2-го отдела — стилистики. 3-й отдел... будет миф и, наконец, — приложения, куда войдут конспективные наброски по поводу сочинений Л. Н. Толстого, Достоевского, Одоевского и что найдется еще. Я было думала, не присоединить ли сюда и те несколько песен из «Одиссеи», переведенные на малорусский язык, я помню, Вы их просматривали и одобряли. Не знаю, будет ли это кстати? Очень была бы рада узнать Ваше мнение по поводу этого и вообще, не ошибаюсь ли я, придавая такое значение печатаемому труду»⁷⁵.

Изложенный в этом письме план книги был, в буквальном смысле слова, планом «аварийным», — возникшим после того, как были отвергнуты чрезвычайно разумные и, пожалуй, единственно приемлемые проекты В. И. Харциева — по возможности прояснить читателям записи, конспекты и наброски А. А. Потепни, как правило, возникавшие на протяжении без малого тридцати лет, в процессе подготовки к университетским лекциям.

В отличие от грамматических трудов Потепни, которые в его творческом воображении складывались в стройную систему и уже обретали ощутительно законченные очертания на бумаге, — работы по поэтике для самого ученого не выходили, в сущности, из стадии предварительных размышлений и подготовительных заметок. То, что удавалось ему напечатать, — в отзыве на сборник песен Головацкого, в выросшем из этого отзыва двухтомном труде «Объяснение малорусских и сродных народных песен», — было лишь дальними подступами к большому и сложному комплексу тем, притом подступами относительно частного характера. Шире и глубже разрабатывал Потепня вопросы поэтики в своих университетских лекциях, однако в его бумагах лекции эти сохранились почти исключительно в виде общих конспектов, подобранных выписок, иногда перемежавшихся тезисно сжатыми замечаниями самого лектора, исследователя, — замечаниями, которые получали значительно более полное свое раскрытие непосредственно в аудитории, в процессе живого общения со студентами-слушателями.

Особенности данной категории рукописного наследия ученого естественно требовали при подготовке к изданию его поэтики пред-

варительного (и очень четкого притом) решения ряда сложных текстологических проблем. Необходимо было, например, разграничить (насколько это возможно) высказывания разных лет, — избежать того положения, какое, в конце концов, и сложилось, когда все вообще высказывания Потепни в области поэтики оказались, так сказать, спроецированными на плоскость, лишенными существеннейшей координаты — координаты времени.

Сделать это не всегда возможно, так как большинство рукописей Потепни начисто лишено каких бы то ни было точных календарных, хронологических помет и признаков. В ряде случаев однако хронологическое приурочение заметок и высказываний может и должно быть сделано. Так, по почерку можно довольно точно отделить записи 60-х годов от набросков 70-х и, особенно, 80-х годов, когда почерк Потепни стал особенно угловатым и, так сказать, разорванным; рукописи последних лет выделяются, кроме того, другими чернилами (черно-зелеными, ализариновыми — в отличие от рыжевато-бурых, характерных для более раннего времени). Кроме того, в некоторых случаях установление датировки высказываний содействуют различные побочные намеки (а иногда и прямые указания), привязывающие их к определенной книге или статье, позволяющие каким-нибудь иным способом приурочить их к соответствующему университетскому курсу Потепни.

Еще существеннее — осмыслить рукописи Потепни по поэтике («теория словесности») не как сумму отдельных высказываний, выписок, конспектов и наблюдений, но — в целом, в наибольшем к нему приближении, т. е. по возможности в том виде, в каком весь этот материал сообщался слушателям. Сделать это было не трудно (хотя и очень сложно) в первые годы после смерти Потепни, — когда еще сохранялся естественный порядок расположения отдельных групп заметок, когда в памяти слушателей еще были живы лекции профессора, когда, наконец, очень нетрудно было разыскать и собрать сохранившиеся студенческие записи разных лет, начиная с 70-х годов. Внимательное изучение этих записей, даже принимая во внимание обычные дефекты, свойственные источникам подобного рода (неполнота, пропуски отдельных, иногда важных, положений, неточность цитат и библиографических ссылок, путаница в именах собственных и т. д.), во-первых, содействовало бы датировке высказываний, во-вторых, — и самое главное, — дало бы возможность установить естественное и логичное для самого Потепни распределение материала, проследить весь ход его мысли, во всем объеме, во всех подробностях и на всем протяжении.

К сожалению, издательница «Записок по теории словесности» решительно отказалась от какого бы то ни было осмысления и расшифровки публикуемого материала. Как разъяснялось в коротком предисловии к книге (подписанном В. И. Харциевым, но составленном по прямым и точным требованиям М. Ф. Потепни), в ней были «собра-

ны и сгруппированы по рубрикам заметки А. А. Потевни по теории мифа, поэзии и прозы, которыми он пользовался при чтении специальных курсов теории поэзии". При издании этих материалов, указывалось далее, издательница руководствовалась следующими соображениями:

а) издать по возможности все в таком виде, как оно оставлено было покойным профессором,

б) обработку материала ограничить его группировкой по отделам и рубрикам,

в) в виду разнообразия статей и заметок составить небольшой предметный указатель,

г) в приложении поместить наброски, хотя и тождественные по содержанию со статьями, напечатанными в одном из трех отделов, но отличающиеся иной группировкой материала — некоторыми обобщениями⁷⁶. Таким образом, тексты Потевни публиковались как отдельные, разрозненные высказывания, как "статьи" и "наброски" (хотя статей-то среди них как раз почти не было); издательница заранее отказывалась от любых попыток раскрытия, расшифровки этих высказываний, от приведения их в какую-либо систему, хотя бы установленную самим Потевнею, — читавшимися им университетскими курсами.

О спорах, которые предшествовали такому решению М. Ф. Потевни, так рассказал в письме ко мне 22 октября 1935 г. В. И. Харциев: "Печатать в том виде, как сохранились эти заметки, наброски для чтения лекций нельзя. Мною предложен был такой план: текст этих заметок, намсков, буквально загадок вставить в рамки связного изложения, пользуясь записками студентов, главным образом моими, которые и сейчас сохранились. Я сделал опыт и представил М. Ф., которая широко пользовалась советами окружного инспектора П. Б. Лукьянова. (...< Нашли: хорошо, лучше, чем только текст заметок, только стиль не А. А. И еще: если бы это было так, как с Гюйо, посмертные записки (того по социологии искусства обрабатывались учителями Гюйо, но этого нет, а потому... печатать так, т. е. выпускать А. А. без галстуха, в одних кальсонах"⁷⁷.

Последние слова, конечно, продиктованы раздражением, не выветрившимся даже спустя тридцать-тридцать пять лет⁷⁸, однако, вдумываясь в них сейчас, нельзя не признать за ними известной (и притом значительной) доли справедливости. Стремление М. Ф. Потевни к по возможности буквальному воспроизведению рукописного наследия А. А. Потевни сплошь да рядом приводило к вопиющему нарушению самого существа того, что, собственно, имел в виду ученый. Ставши на путь отрыва публикуемых набросков и фрагментов от той обстановки, в которой они зародились и оформлялись, совсем уже не трудно было перекомпановывать отдельные абзацы, загонять их в подстрочные примечания и т. д. — в целях достижения элементарной понятности публикуемого.

Так, например, помещая на с. 309 — 340 в качестве набросков о "Басне" и "Пословице", — подготовительные материалы для "частного курса лекций, читанных на дому", издательница "Записок" лишь в подстрочном примечании указывает на эту конкретную предназначенность данных высказываний и, в примечании же, приводит конспект начала первой лекции: "Отношение поэтического произведения к слову. Начать с басни для методологического удобства. Условия правильного наблюдения: устранить по возможности предрассудки. Примеры предрассудка в науке: перенесение прежних обобщений в новое исследование (миф в науке). Пример из зоологии: неизменяемость видов и Дарвин. В приложении к басне — что есть отвлеченность?".

Стоит только сопоставить этот конспективный набросок со слушательской записью самой лекции⁷⁹, чтобы убедиться, насколько важно все это вступление для последующего изложения предмета, для объяснения самого подбора материала, насколько неразрывно оно со всем тем, что говорится далее в набросках о басне. Ведь не басня и пословица сами по себе занимали Потевню, — на данном материале ученый решал перед своими слушательницами вопрос об отношении поэтических произведений к слову, — основной вопрос разрабатывавшейся им поэтики.

Произведенная мною некогда сверка с рукописями Потевни значительной части материала, вошедшего в книгу "Из записок по теории словесности", позволила установить, что провозглашенный М. Ф. Потевней принцип — издавать все по возможности в таком виде, как оно оставлено было покойным профессором — практически не было ею осуществлено. Сплошь да рядом этот принцип нарушался, например, вставками из других фрагментов — по родству мыслей, усугублявшимися переписчиками и редакторами, но отнюдь не самим автором⁸⁰. Примечания на полях рукописи, либо внизу страницы, во многих случаях безо всяких оговорок вводились в текст, и наоборот: части текста превращались в подстрочные примечания. Очень непоследовательно обращались переписчики и составители "Записок" с довольно многочисленными вычеркнутыми в рукописи абзацами и даже целыми страницами: иногда текст этих вычеркиваний использовался в примечаниях или вводился в самый текст, большею же частью — подвергался полному исключению.

Формально последнее как будто не должно вызвать возражений. Конечно же, самому автору надлежит решать конечную судьбу тех или иных своих мыслей, положений, формулировок, хотя бы они занимали целые абзацы и страницы. Однако, при внимательном изучении рукописей Потевни, особенно рукописей, являвшихся материалами его университетских курсов, публичных лекций, докладов и т. п., бросается в глаза одно немаловажное обстоятельство. Как правило, вычеркивания (двумя прямыми линиями накрест) обозначают не полную отмену автором того, что зачеркнуто, не отказ от выска-

занной мысли или примера, но — отказ от использования его в данной лекции, в данном случае⁸¹. Публикуя посмертное литературное наследие Потевни, невозможно пренебрегать этими вычеркнутыми местами (само собою разумеется, отмечая, — то ли в примечаниях, то ли в самом тексте, прямыми скобками, — факт вычеркивания), которые очень часто содержат глубокие и интересные мысли. Вот несколько иллюстраций к только что сказанному.

Раздел "Отношение язычества к христианству, веры к знанию. Заговоры" ("Из записок по теории словесности", с. 606 — 615) в рукописи открывается следующими размышлениями, целиком сохраняющими ценность, несмотря на то, что автор как будто исключил их из данного контекста:

"Жалобы на медленность, с которою происходят действительные улучшения в жизни общества, имеют место тогда, когда мы сравниваем настоящее с желанным будущим. Но, оглядываясь на расстояние, отделяющее нас от недавнего прошедшего, мы должны сознаться, что, по крайней мере, на поверхности общества заметно довольно быстрое течение.

Как посправить да посмотреть
Век нынешний и век минувший, —
Свежо предание, а верится с трудом.

Даже и предание не может быть свежо, в том смысле, что оно сохраняется преимущественно благодаря письменности.

В некоторых отношениях жизнь простого народа представляет почти противоположное явление. Мы живем, глядя вперед, на носящийся перед нами образ лучшего будущего. Одно из самых прочных верований лучших людей общества есть вера в неизбежный прогресс; одно из заветных желаний есть нежелание регрессивных примесей, то есть насильственного возобновления форм, которые не годятся для нашего содержания. Народ живет, оглядываясь назад, на фантастический образ золотого прошедшего, стремление к лучшему находится в нем в непримиримом противоречии с убеждением, что свет идет к худшему, не в одном каком-нибудь отношении, напр., не в том, что положим, была некогда воля, а потом настало крепачество, а во всех: теперь хлеба меньше и люди меньше, слабее и недолговечнее, нравственности меньше, правда заржавела. Подобно тому как к высших слоях твердая уверенность в превосходстве настоящего перед прошедшим связана с быстрыми изменениями жизни, так и в низших слоях мечтательно-любтивное отношение к прошедшему находится в связи с относительной неподвижностью формы. Мы обращаем здесь внимание только на поразительную живучесть народных верований".

Немного дальше, снова встречается вычеркнутый отрывок. Второй абзац на с. 607 "Записок по теории словесности" первоначально имел

следующий вид:

"Из сравнения скудных сведений о языческих богах и празднествах, переданных нам нашею старинною письменностью с неисчерпанным до сих пор богатством изустных преданий мы выводим такое заключение. Если духовные писатели считали излишним говорить подробно о враждебной христианству поганой вере, то народ находит интерес и нужду в сохранении этой веры. Мы стараемся напомнить то, что нам интересно и нужно. Оказывается, эти поверия, предрассудки, сказки нужны народу. Зачем?"

Прежде чем отвечать, обратим внимание еще на один общеизвестный факт. Старинная письменность передала нам лишь скудные известия о языческих богах и игрищах, между тем как богатство изустных языческих преданий до сих пор еще не исчерпано".

Несколько значительных и любопытных вычерков обнаруживается в заметках А. А. Потевни по поводу статьи Макса Мюллера "Язык и языки" ("Из записок по теории словесности", с. 623 — 630). Так, последний абзац на с. 627 первоначально начинался следующим полемическим выпадам, немаловажным для лучшего понимания дальнейшего:

«Он (М. Мюллер) говорит, что это вопль разума, вызываемый видом могущества царства неразумия; вопль жреца истины, предпочитающего благо потомства удобству современников; вопль, направленный против жрецов лжи, скрывающих низкие цели под личиной любви к отечеству. Он говорит это как человек крепкой веры в свою правоту; но такая вера мешает исследованию. Она заставляет автора преувеличивать свое одиночество, она помешала ему увидеть, что всякое правое верование провозглашает еретическими все остальные учения, что, на деле, как упомянутым выше, еще рано испускать победные клики, так и М. Мюллеру нет оснований считать себя проповедником в пустыне» и т. д.⁸²

Приведенные примеры, думается, самым убедительным образом свидетельствуют о том, что в настоящее время, строго говоря, нет сколько-нибудь существенной разницы между вычеркнутыми страницами и абзацами в рукописном наследии Потевни (подчеркиваю, что речь идет именно о фрагментах, содержащих законченные мысли или конкретные высказывания) и, скажем, теми начатыми статьями, которые, по различным причинам и обстоятельствам, остались без продолжения и окончания. И те, и другие содержат фрагменты положений и наблюдений замечательного ученого, интересные для нас сами по себе и будящие мысль исследователя даже в том незавершенном виде, в каком они сохранились.

Ведь, строго говоря, все выступление Потевни по поводу статьи Макса Мюллера в "Deutsche Rundschau" не было закончено автором, осталось неопубликованным в его бумагах, т. е. как бы целиком отвергнуто, зачеркнуто (хотя и сохранено — возможно, для того, чтобы позднее, при случае, в другой связи использовать написанное в качестве

своего рода заготовки). Подобной же заготовкой является и публикуемый в приложении к настоящей статье отрывок из незаконченной рукописи Потевни, относящейся к концу 60-х — началу 70-х годов; ученый имел в виду продолжить и развить некоторые взгляды, изложенные в “Двух исследованиях”, и, в качестве подхода к теме, излагал некоторые интересные его общие положения. Эти общие положения сохраняют интерес и сегодня, несмотря на то, что задуманная работа автором не была осуществлена, а начатая рукопись — осталась незаконченной.

Все сказанное имеет непосредственное отношение к тому “Записок по теории словесности”, к подготовительной работе над ним, которая легла уже почти исключительно на плечи одной только М. Ф. Потевни. Не владея специальными навыками, не обладая необходимыми знаниями, с настороженной враждебностью относясь едва ли не к любым советам и рекомендациям сторонних лиц, она на каждом шагу допускала вольные и невольные ошибки, вроде тех, какие были приведены выше. Неоднократные упоминания в печати о том, что книга, якобы, была подготовлена к печати В. И. Харциевым, следует признать весьма неточными, даже неверными по существу: как сообщил мне В. И. Харциев, его участие ограничилось чтением корректур готовой книги, составлением предисловия и “указателя”.

“Уже в 1905 году, — писал В. И. Харциев, — я был в Екатеринославе, получаю письмо М. Ф. о том, что она приступила к печатанию сама и просит меня принять участие в корректуре. (...) Участие в корректуре неблагоприятное для меня. Приходилось вместе с корректурой посылать просьбы — проверить по рукописи (могли быть описки самого А. А., переписчиков), проверить цитаты, переставить вставленные некстати фрагменты. Одним словом, мука, а не корректура. Но я рад был, что рукопись будет спасена, хотя закрадывались сомнения, что М. Ф. что-то затеряла, что, помнится, было. Был и такой курьез. Я, подражая А. А., закончил перевод некоторых песен «Одиссеи», пользуясь черновыми материалами А. А. и его методом (пользоваться народно-песенными выражениями), и свои «окончания песен» в рукописи карандашом писал. Русов А. А., которому М. Ф. поручила написать предисловие⁸³, навел чернилами мои карандашные «окончания» песен, приняв их за работу самого А. А. Пришлось в корректуре вычеркнуть, рассказав М. Ф. в письме, что это моя работа, а не А. А. Опечаток, конечно, масса была, но их «не успели» приложить, книга вышла «за семью печатями», для посвященных только”⁸⁴.

Отмеченные особенности книги (к ним следует присоединить также непомерно высокую ее цену — 5 рублей! — лишившую массу студентов и учителей-словесников возможности приобрести ее) привели фактически к очередной неудаче предприятия: на “Записки по теории словесности” не появилось, сколько известно, ни одной журнальной рецензии, о книге, при случае, отзывались с почтением, но читали

ее мало; книга, по удачному выражению В. И. Харциева, действительно оказалась “за семью печатями”, разошлась по трудам исследователей отдельными цитатами, наблюдениями, формулировками.

Издание “Записок” были, в сущности, закончены попытки систематического разбора и издания рукописного наследия А. А. Потевни, наметившиеся тотчас после его смерти и осуществлявшиеся М. Ф. Потевней — сперва совместно с небольшой группой энтузиастов, затем — почти самосильно. Отсутствие сколько-нибудь определенной и твердой материальной базы, необходимость безоговорочно подчиняться во всех возникавших текстологических и теоретико-литературных вопросах единоличным решениям М. Ф. Потевни, как бы далеко подчас не уводили эти требования в сторону от науки и даже от здравого смысла, — все это привело к постепенному отходу заинтересованных лиц от близкой им работы, а затем — к почти полному прекращению дальнейших общественных попыток разбора и переписки рукописей, дальнейших работ по воссозданию и публикации неосуществленных замыслов Потевни. В течение почти десяти лет М. Ф. Потевня сама, без чьей-либо помощи, продолжала переписку рукописей, уповая на какие-то возможности и по-прежнему упорно отвергая все просьбы и предложения опубликовать даже отдельные фрагменты и наброски.

Характерно в этом отношении большое письмо М. Ф. Потевни к А. А. Шахматову (недатировано; относится, по-видимому, к 1912 — 1913 гг.), написанное после перерыва в несколько лет. Сообщив, что после А. А. Потевни “остались конспекты его публичн(ых) лекций, из которых о Достоевском он прочел, а о Толстом собирался прочесть”, М. Ф. Потевня продолжала:

«Давно подумывала напечатать их, даже (...) хотела приложить к »Теор(ин) словесн(ости)«, и не решилась, боясь сделать неловкость по отношению покойного Ал. Аф.; посоветоваться же, откровенно говоря, не нашла никого подходящего здесь. Между тем, меня осаждают бывшие слушатели и почитатели покойного, знающие о существовании этих набросков. Некоторые даже просили дать их им для напечатания, чего я никак бы не сделала. Как я ни малосвдуща в научных делах, за мной то преимущество в данном случае, что мне близко знакомы наиболее тонкие черты характера и души покойного, вообще человека не экспансивного к посторонним».

Далее М. Ф. Потевня излагала принципы своей текстологической работы. «Я строго держалась, — писала она, — заметки, выписывала из соч(инений) Толстого то, что отмечено было карандашом рукою А. А.; то же и в соч(инениях) де-Вогюэ. Вогюэ я вынуждена была перевести сама с франц(узского), т. к. ни в одном магазине не могла не только найти перевода, но даже узнать, существует ли таковой на рус(ском) яз(ыке). У меня есть книжонка перевода, но там переведены только отрывы о »В(ойне) и м(ире)« и »Ан(не) Карен(иной)«. Не найдя, решила сделать сама; не знаю, годится ли»⁸⁵.

В 1913 г. М. Ф. Потевня издала новое, третье издание “Мысли и язык” (с присоединением статей “Язык и народность” и “О

национальности"); книга, как сообщала она Шахматову, "пошла, против ожидания, очень хорошо", и ее успех дал материальную возможность одну за другой выпустить еще две книги: "I. О некоторых символах в славянской народной поэзии. II. О связи некоторых представлений в языке. III. О купальских песнях и сродных с ними представлениях. IV. О доле и сродных с нею существах" (Харьков, 1914) и "I. Слово о полку Игореве. Текст и примечания, с дополнением из черновых рукописей "О Задонщине". II. Объяснение малорусской песни XVI века" (Харьков, 1914). Вслед за переизданием этих работ предполагалось напечатать и кое-что из разошедшихся лингвистических работ Поттебни, — в первую очередь "Два исследования о звуках русского языка", которое редактировать соглашался А. А. Шахматов⁸⁶, однако разразившаяся война и резкое вздорожание типографских расходов и бумаги вынудило М. Ф. Поттебню вообще отказаться от дальнейшей издательской деятельности.

Она продолжала работать над перепиской рукописей А. А. Поттебни⁸⁷, но делала это уже больше по привычке, без всякой уверенности в том, что ей удастся опубликовать еще что-нибудь из рукописного наследия мужа. В одном из цитированных уже писем к А. А. Шахматову (1914 г.) она с грустью писала: "Хотелось бы, пока могу, пока жива, побольше переписать. Что останется после меня не переписано, вряд ли увидит свет. Не найдется охотников портить зрение за трудной перепиской. А будет переписано, то и после меня напечатать будет легко".

Я попытался с наивозможной полнотой охарактеризовать сложную, — безмерно самоотверженную и вместе с тем даже сейчас, много лет спустя, вызывающую иногда досадливое недоумение, — деятельность М. Ф. Поттебни по изданию научного наследия своего знаменитого мужа. Несмотря на очевидную причудливость ее издательских планов и предположений, громадная заслуга М. Ф. Поттебни несомненна; ее имя всегда будет упоминаться с признательностью историками отечественной филологической науки.

Изложенные в настоящей статье факты и эпизоды, при всем своем неповторимом, индивидуальном свособразии, думается, характеризуются вместе с тем рядом черт, которые с полным правом можно назвать типическими для истории нашей науки. Типично, например, глубоко личное отношение М. Ф. Поттебни к наследию мужа, ее убежденное, совершенно искреннее непонимание громадной общественной значимости этого наследия (хотя об этой значимости она очень охотно и подробно распространялась), стремление основываться во всех своих начинаниях исключительно на собственных симпатиях и антипатиях, которые сплошь да рядом выдавались ею за симпатии и антипатии самого ученого. Типично также дилетантское, узко собственническое отношение к рукописям, предвзято скептическое (и также глубоко личное) отношение к мнениям тех, кто действительно мог и хотел бы помочь делу, которое М. Ф. Поттебня склонна была считать делом всей

своей жизни, пренебрежение к тем, кто не обладал в ее глазах достаточно солидными чинами, дипломами, учеными степенями и званиями; а наряду с этим — настойчивое желание добиться любого, — пускай самого незначительного и общего, — поощрения или совета от тех, кто обладал всеми подобными достоинствами...

Издательская деятельность М. Ф. Поттебни прекратилась почти накануне Великой Октябрьской социалистической революции. В 1920 г., готовясь отметить тридцатую годовщину смерти Поттебни, Наркомпрос УССР создал особый Редакционный комитет для издания сочинений А. А. Поттебни⁸⁸. Комитет этот просуществовал несколько лет, разработал план многотомного собрания сочинений Поттебни⁸⁹, подготовил к печати и сдал в издательство несколько томов, но, не сумев преодолеть многочисленных типографских, издательских, организационных трудностей, прекратил свое существование.

Публикации той части научного наследия замечательного ученого, которая до сих пор остается неопубликованной, переиздание ряда его трудов, давно уже сделавшихся в подлинном смысле библиографическими редкостями, реконструкция и издание — по рукописным наброскам, конспектам и студенческим запискам — "Поэтики" Поттебни, — все это остается и на сегодня одною из существенных задач советской науки, умеющей беречь и творчески развивать положительный опыт прошлого⁹⁰.

¹ Ламанский В. И. А. А. Поттебня. Некролог // Журнал министерства народного просвещения. — 1892. — № 1. — отд. 4. — С. 55, 56.

² Там же. — С. 58.

³ Ягич И. В. История славянской филологии. — СПб, 1910. — С. 551.

⁴ После смерти И. И. Срезневского (9 февраля 1880 г.) кандидатура А. А. Поттебни на его место серьезно обсуждалась не только в узко академических кругах. П. А. Гильдебрандт, например, отметил в некрологе Срезневского, что "это был столп науки, а столп должен быть заменен столпом, а не какою-нибудь подпоркою", прямо называл имя желательного, по его мнению, кандидата в академики. "Лучше всего, — писал он, — заменить Срезневского может харьковский профессор г. Поттебня; нам думается, что он с честью может продолжать дело покойного Измаила Ивановича как в университете, так и в академии, куда он введен Срезневским, впрочем, пока одною только ногою" (Древняя и новая Россия. — 1880. — № 2. — С. 394; ср. также статью некоего В. Г. "Кандидаты на кафедру славянских наречий" // Новое время. — 1880. — № 1446, где обсуждались кандидатуры А. А. Поттебни и В. Ягича). Мысль о более близком привлечении А. А. Поттебни к деятельности Академии наук настолько "носила в воздухе", что в апреле 1880 г. М. Ф. Поттебня писала своей сестре Е. Ф. Штейн, выражая, по-видимому, не только свое личное настроение: "Ты спрашиваешь, какое влияние на судьбу нашу будет или может иметь смерть Срезневского? Думаем, что никакого. Первое, хотя и говорят, что заменить его почти нечем, помимо Ал(ександра) Аф(афнасьевича), но в Академии все немчуки, они из ничего выдумают свою креатуру. Второе, если бы даже Ал. Аф. и был избран, то, по всей вероятности, отказался бы от действительного членства, т. е. не перешел бы в Петербург, так как при его свойствах, кроме потери здоровья от вашего прекрасного климата, ничего бы не выиграл. На этом месте можно получать очень много, и можно

ограничиться тем, что получается и здесь. Чтобы получать много, нужно совершенно переделать себя, бегать по разным комиссиям, преподавать в разных местах, что и делал Срезн., получая при такой работе до 16-ти тысяч. Хотя это очень заманчиво, но выше ушей не прыгнешь" (ИРЛИ, фонд В. И. Штейна, письма, 1880, № 102). Глухая ссылка в письме на «немчуков» раскрывается упоминанием в одной из бесед М. Ф. Потебни с автором настоящей статьи о том, что главным и решительным противником избрания А. А. Потебни в действительные члены Академии наук был Я. К. Грот, пользовавшийся в то время громадным личным влиянием и авторитетом. На место И. И. Срезневского, как известно, был избран В. Ягич; показательно однако, что и он, не отказываясь от выставления своей кандидатуры, считал более вероятной и подходящей кандидатуру Потебни. «Если Вы и прочие близко стоящие к этому вопросу, — писал он 12/24 марта 1880 г. В. И. Ламанскому, — действительно убеждены в том, что я мог бы удачнее действовать в качестве Вашего друга и товарища, чем, положим, Потебня, — по моему, о нем только и может быть речь, если не остановиться на моем избрании, — тогда, заручившись согласием (предварительным) своих товарищей, узнайте, пожалуйста, какие мнения Академии наук насчет моего избрания» (Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 1, № 1615). Заслуживает быть приведенным здесь также отрывок из письма А. И. Кирпичникова к А. Н. Веселовскому 9 февраля 1881 г. Характеризуя своему корреспонденту научно-общественную жизнь в Харькове, Кирпичников писал: «Никто, кроме Потебни, кругом не работает, а Потебня работает как-то скрытно и для других не поощрительно» (ИРЛИ, архив А. Н. Веселовского).

5 Харцьев В. И. А. А. Потебня. 1891 — 29XI — 1911. — Утро. — (Харьков) 1911. — № 1509. — 29 нояб.

6 Харцьев В. И. Воспоминания об Александре Афанасьевиче Потебне // Славянское обозрение. — 1892. — № 5 — 6. — С. 120.

7 Харцьев В. И. Воспоминания об Александре Афанасьевиче Потебне. — Славянское обозрение. — 1892. — № 7 — 8. — С. 364.

8 Н. Ф. Сумцов «специальных (...) чтений» Потебни «на высших курсах» «не слушал, так как шел не по словесному, а по историческому отделению и русской филологией в университете специально не занимался». Но и в «общих» курсах профессор «читал лекции по русской грамматике о полногласии и о суффиксах», читал без всяких скидок на неподготовленность слушателей: «Профессор аккуратно посещал лекции и читал с большим увлечением; но содержание лекций было такое сухое, а изложение столь трудное, что понимание их было сопряжено с большим трудом, и это понимание было смутное, так как оно опиралось на частности и на примерах, не достигая общего плана и общих идей. Трудность понимания обуславливалась, между прочим, тем, что в лекциях были примеры из санскрита и литовского языка, а языков этих мы, первокурсники, не слушали по программе университетских лекций» (Сумцов Н. Ф. Материалы для истории Харьковского университета. — Харьков, 1894. — С. 7). Более убедительны и точны воспоминания Ф. Г. Кашменского, внимательнейшего слушателя всех курсов Потебни, читавшихся в 1876 — 1880 гг. «В первый учебный год А. А. читал нам курс древнецерковно-славянской грамматики и фонетики. Значительная часть этого (последнего) курса заключается в исследованиях его «Ж истории звуков русского языка» (в. I, 1876 г.). Что касается грамматики, то она освещена была нам с точки зрения философии языка, — так, как это сделала А. А. в I-й части его знаменитой докторской диссертации «Из записок по русской грамматике», а морфологические особенности языка мы должны были изучать практически, на разборах памятников древней письменности по хрестоматии Бусласва. На втором курсе, в 1877 — 78 году, А. А. опять возвращался к фонетике, по вопросам, составлявшим в то время предмет его специальных исследований, напр. о влиянии небности на согласные звуки. (...) Но главным предметом чтения в этом году были синтаксические исследо-

вания А. А., вошедшие во 2 и 3 части (...) сочинения «Из записок по русской грамматике». Тут же мы продолжали изучение памятников письменности и литературы XI, XII и XIII веков, но уже не с одной лингвистической, но и исторической стороны. С особенной тщательностью мы штудировали «Слово о полку Игореве», каковой памятник был превосходно потом обследован нашим профессором в «Филологических записках» и издан отдельной книгой в 1878 г. (Кашменский Ф. Г. Воспоминания о проф. Харьковского университета А. А. Потебне. — Харьков, 1902. — С. 12 — 13). С такою же убедительной точностью «привязаны» к ученым трудам Потебни и остальные, читавшиеся им в эти годы университетские курсы (Там же. — С. 13 — 17).

9 Пыпин А. Н. История русской этнографии. — СПб, 1891. — С. 423. Ранее, в 70-х годах (а возможно, даже в 60-х), читавшиеся Потебне курсы «теории словесности» были тесно связаны с его фольклорными интересами, причем в печати оказались использованной лишь незначительная часть накопленного материала. Об этом Потебня, в неопубликованном черновом варианте упомянутой автобиографии, писал: «Из того, что мне приходилось говорить и писать о национализме (в печатном тексте: народности), заимствовании и т. п., в печать попадали только строки, напр., в разборе Песен Головацкого. Я думаю: немислим атом, чисто страдательный, не изменяющий толчков, получаемых извне; «страдательный организм» есть противоречие, уничтожающее возможность физиологии и морфологии; в психологии «страдательное восприятие» есть абсурд: «всякое понимание есть непонимание» (В. Гумб(ольдт)), т. е. мысль не передается, а возбуждается в лице другим. В сложных психологических единицах, каков народ, общество, заимствование есть другая сторона самостоятельности. Поэтому, напр., теория литературного заимствования в чистом виде нелепость. Заимствование, как внешняя, механическая сторона процесса, лишь (1 нрзб.) сторона, т(ак) ск(азать) физиологическая. С другой стороны, как немислим атом, не испытывающий влияния других атомов (или он мыслим только как всеобъемлющая единица, бог), так (делая скачок) всякий национализм есть интернационализм» (ХЦИА, ф. 781).

10 Цитируется по копии (микрофильм) с автографа, хранящегося в Страговском архиве (Прага). Пользуюсь случаем выразить дирекции архива душевную признательность за присылку мне этого микрофильма.

11 См. его письмо к Адольфу Патере 1/13 июня 1863 г. из Риеки: «Я начал купаться и, хотя погода мне не благоприятствует, получил уже заметное облегчение. Это заставляет меня остаться здесь еще на две недели» (Прага, Страговский архив).

12 А. А. Шахматов. 1864 — 1920: Сборник статей и материалов / Под ред. акад. С. П. Обнорского. — М.: Л., 1947. — С. 85 — 86; ср. также с. 58 — 59, 62 — 63.

13 Цитируется по копии (микрофильм) с автографа из архива В. Ягича (Южнославянская академия в Загребе). За сообщение микрофильма приношу искреннюю благодарность академику Иосифу Хаму.

14 Памяти Александра Афанасьевича Потебни. — Харьков, 1892. — С. 30.

15 Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. — Харьков, 1894 (изд. 2-е — 1914; изд. 3-е — 1930).

16 Памяти Александра Афанасьевича Потебни. — Харьков, 1892. — С. 30.

17 Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 1, № 496.

18 Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 1, № 1170; ср. Журнал министерства народного просвещения. — 1892. — № 1. — Отд. 4. — С. 59.

19 См. об этом: Штрайх С. Новое в биографии Ал. Аф. Потебни (По поводу 25-летия его кончины) // Речь. — 1916. — № 328. — 28 нояб.; Айзеншток И. Я. К биографии А. А. Потебни // Бюлетень Редакційного комітету для видання творів О. О. Потебни. Ч. 1. — Харьков, 1922. — С. 70 — 75.

20 Искются в виду реакционные польские газеты, издававшиеся в Австрии и пов-

торявшие на своих столбах суждения и оценки официальной австро-немецкой прессы. — И. А.

21 Харьковские губернские ведомости. — 1863. — № 32.

22 Русская старина, 1916. Интересно сообщение А. Н. Стоянова (позднее профессора Харьковского университета) своему товарищу Д. И. Каченовскому об аудиенции у Головина перед отъездом за границу: «В инструкциях, кот(орые) давал мне министр, он просил меня об осторожности в отчетах и саркастически отзывался о нападках нашей прессы на невинных ученых, отправленных уже за границу» (ИРЛИ, архив М. Ф. Де-Пуле; письмо 13 сентября 1863 г.). Сопоставляя даты этого письма с открытым письмом А. А. Потебни, вряд ли приходится сомневаться, что Головин имел в виду именно его.

23 Статья Потебни «О полногласии», напечатанная в «Филологических записках», 1864, вып. III — V, с. 201 — 252, почти целиком посвящена полемике со статьей П. А. Лавровского «О русском полногласии» (Известия II Отделения Академии наук. — 1859. — Т. 7. — Вып. 5). Отрицательные отзывы о Ганке, по-видимому, изустные, — могли задевать Лавровского, так как он в нескольких статьях своих высоко оценивал научную и общественную деятельность Ганки (Воспоминание о Вячеславе Вячеславиче Ганке // Московские ведомости. — 1861. — № 9; Похороны В. В. Ганки и замещение его в Музее // Там же. — № 71; Воспоминание о Ганке и Шафарике // Книжка Акта Харьковского университета за 1861 г.).

24 «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий» (М., 1865). Большой, резко отрицательный разбор книги Потебни Лавровский напечатал в «Чтениях Общества истории и древностей Российских» (1866. — Кн. 2. — Отд. 3. — С. 1 — 102). В бумагах Потебни сохранился его ответ Лавровскому, также очень резкий, однако выступать с ним в печати ученый раздумал, — по не вполне ясным причинам.

25 Страговский архив, Прага.

26 Именно так поступали обычно биографы Потебни, видевшие в провале П. Лавровским диссертации Потебни не очень существенный, частный эпизод, подчеркивавшие больше то, что некоторые профессора Харьковского университета (уже после ухода П. Лавровского из Харькова) «предлагали Ал. Аф-чу степень доктора до защиты за его прежние работы, но, по своей скромности и строгости к себе, А. А. отказался и предпочел достигнуть этого обычным путем» (Памяти Александра Афанасьевича Потебни. — Харьков, 1892. — С. 28).

27 Этот эпизод остался неизвестен биографам Потебни, хотя о нем довольно подробно, по материалам архива Новороссийского университета, рассказал А. И. Маркевич (Двадцатипятилетие Новороссийского университета. Историческая записка. — Одесса, 1890. — С. 221 — 223).

28 Айзеншток Ярема. Безсоновщина (3 материала до життєпису О. О. Потебні) // Записки Історично-філологічного відділу УАН. — 1928. — Кн. 16. — С. 146 — 188.

29 ИРЛИ, архив М. Ф. Де-Пуле. В другом письме 14 августа 1884 г. И. С. Аксаков, со слов того же Безсонова, подробно рассказывал своему корреспонденту о столкновении Потебни с Безсоновым во время докторского диспута Э. Диллона (Армянские этюды. — Харьков, 1884). Хотя моральная и научная правота в этом столкновении осталась за Потебней, хотя историко-филологический факультет и совет университета признали Диллона доктором и избрали его экстраординарным профессором, он с августа 1884 г. по январь 1887 г. по наветам Безсонова не был утвержден министерством и, в конце концов, подал в отставку.

30 Письмо не датировано. Отдел рукописей Государственной публичной библиотек и Академии наук УССР, III, № 7040.

31 Там же, III, № 7039. Письмо также не датировано, очевидно, послано вслед

за предыдущим.

32 Шахматов А. А. Сборник статей и материалов / Под ред. акад. С. П. Обнорского. — М.; Л., 1947. — С. 59.

33 А. А. Григорьев, ученик Ягича по Петербургскому университету, профессорский стипендиат, прикомандированный к Харьковскому университету для научных занятий под руководством Потебни. — И. А.

34 Шахматов А. А. Сборник статей и материалов. — С. 61.

35 Ягич И. В. История славянской филологии. — СПб., 1910. — С. 551; ср. также: акад. Сумцов М. Ф. Спогади й замітки про Потебню. 2. Відозва Ягича про Потебню // Бюлетень Редакційного Комітету для видання творів О. П. Потебні. Ч. 1. — Харьков, 1922. — С. 60 — 61; Айзеншток И. Я. Еще о Ягиче и Потебне // Там же. — С. 76 — 79. Лаптева О. А. Из истории языкознания. Письма В. Ягича к А. А. Потебне // Вопросы языкознания. — 1960. — № 2. — С. 102 — 110. Заслуживает быть отмеченным отзыв-характеристика работ Потебни, данная В. Ягичем в курсе лекций «Отношение славянских наречий к церковнославянскому языку», читанном в Петербургском университете в 1881 — 1882 акад. гг. Здесь Ягич писал: «По всем вопросам, относящимся к звуковым особенностям малорусского наречия и вообще к русской диалектологии, первое место занимают тщательные, глубокомысленные исследования профессора Потебни. Появившись на страницах воронежского журнала, первые труды Потебни не сейчас же обратили на себя должное внимание; в России еще не окрепла до того умственная жизнь провинции, чтобы многие не относились к трудам, напечатанным в провинции, с некоторым предубеждением. Но можно сказать, что исследования Потебни существенно содействовали к повышению уровня «Филологических записок». Потебня первый сделал попытку на основании накопившихся этнографических материалов определить особенности велико- и малорусского говоров. В 1866 г. вышли отдельные оттиски его два исследования о звуках русского языка (первое из этих исследований исправляет ошибки статьи Лавровского «О полногласии» и расширяет границы этого вопроса, второе говорит о звуковых особенностях русских наречий). Несколько лет потом вышло еще более подробное исследование его о малорусском наречии, под скромным заглавием «Заметки о малорусском наречии», Воронеж, 1871. В последние годы вышли 3 выпуска под заглавием «К истории звуков русского языка», Воронеж, 1876, Варшава, 1880 и 1881 г. прибавил еще обширную рецензию на книгу Житецкого, изданную в «Отчетах об Уваровских наградах за 1877 г.», — во всех этих статьях заключается много драгоценных замечаний, блистательных доказательств тонкой наблюдательности автора. Из примеров, приводимых в подтверждение теоретических соображений, видны как громадная начитанность автора в памятниках древнерусской письменности, так обширное знакомство с живыми простонародными наречиями. Автор освоился вполне с научными приемами новейших языковедческих исследований, его соображения основаны на строгом соблюдении метода. Укажу вскользь на замечательные синтаксические труды Потебни: «Из записок по русской грамматике» и на его издание текста «Слова о полку Игореве» — но то и другое к нашему предмету не относится столь близко, как его исследования о фонетических явлениях, а именно в последних заключается вся сила замечательной наблюдательности Потебни» (с. 11 — 12, литогр. курс; за указание на это высказывание приношу благодарность И. В. Арбузовой).

36 Ламанский В. И. А. А. Потебня (Некролог) // Журнал министерства народного просвещения. — 1892. — № 1. — Отд. 4. — С. 56.

37 Archiv fur slavische Philologie. — В. 14. — II. 3. — S. 480.

38 Овсянко-Куликовский Д. Н. А. А. Потебня как языковед-мыслитель. — Киев, 1893. — С. 1, 58 — 59 (отдельный оттиск из «Киевской старины». — 1893. — № 7 — 9).

39 Сборник Харьковского Историко-филологического общества. — 1892. — Т. 4. — С. 1.

40 Там же. — С. 14. Письмо Б. М. Ляпунова к А. А. Шахматову 13 декабря 1891 г. несколько конкретизирует эти общие постановления. «Здесьнее филологическое общество (...) — писал Ляпунов, — решило издать все сочинения А. А. Потебни, оставшиеся в рукописи, а затем также переиздать со временем и некоторые старые труды его, ставшие библиографической редкостью. Рукописей, по словам вдовы покойного, осталось несколько больших ящиков; большая часть, конечно, уже вошла в настоящий сборник, но один ящик, который мне удалось видеть, заключает в себе непечатанный еще большой курс теории словесности и 3-ю часть «Записок по русской грамматике» (хотя эти сочинения еще не переписаны окончательно, но, кажется, обработаны и могут быть напечатаны, тем более, что А. А. сообщал из них много на лекциях). Кроме того, еще перевод «Одиссеи» на малорусское наречие и, как говорят, материалы для малорусского словаря» (Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 1, № 858).

41 Письмо ко мне В. И. Харциева 22 октября 1935 г.

42 Сборник Харьковского Историко-филологического общества. — 1892. — Т. 4. — С. 18 — 19. Как указывалось в очень сжатой протокольной записи, из сообщения В. И. Харциева «выяснилось огромное значение этого «научного наследия» А. А. Потебни. В особенности цены «Записки по русской грамматике» и «Теория поэзии». 1-й труд более закончен, чем 2-й; но едва ли членов общества, ученых покойного, может остановить трудность издания и «Теории поэзии»; из одного перечня глав и отделов можно было убедиться, что труд этот, даже в своем нынешнем, незаконченном виде, может произвести такой же переворот в теории словесности, какой произвели «Записки по русской грамматике» в русском синтаксисе. Нельзя руководиться в деле издания посмертных бумаг одним мерилом — степенью их обработки, — нужно принять во внимание и самую важность и новизну их содержания» (Там же. — С. 19). К сожалению, последнее, принципиально очень важное, положение в дальнейшем было реализовано далеко не в полной мере и отнюдь не так, как следовало бы.

43 Харциев В. И. Посмертные материалы А. А. Потебни // Памяти Александра Афанасьевича Потебни. — Харьков, 1892. — С. 75 — 87.

44 Имеются в виду «Этимологические заметки» А. А. Потебни в «Живой старине». — 1891. — Вып. 3. — С. 117 — 128.

45 Касаясь возможностей и характера опубликования этого материала, В. И. Харциев писал: «Издание этих материалов для русского сравнительно-этимологического словаря не составит большого труда; желательно было бы, чтобы издание это было вместе с тем и перепечаткой вышедших уже в свет этимологических исследований А. А. Потебни. Среди словарных работ Миклошича и др. труд А. А. Потебни займет почтенное место и составит важную настольную книгу для всякого занимающегося изучением древней русской письменности, народной словесностью и вообще славянскими наречиями». Думается, и в данном случае степень обработанности и возможность публикации словарных материалов Потебни были сильно преувеличены. Одно время Потебни действительно занимался довольно систематически подбором словарных материалов для своих исследований. В письме к И. И. Срезневскому 11 декабря 1875 г. он писал: «Я чувствую потребность в видах изучения фонетики более древних слоев языка (частью общеславянских, частью славяно-литовских) и словообразования, взявшись за систематический пересмотр словарей (Даля и пр.). В результате могло бы получиться нечто в роде (говоря нео достоинстве) «I Grundzüge d(er) gr(iechlachen) Et(ymologie)» Курциуса. Я много раз брался урывками за эту работу и вынес убеждение, что, как говорит мр. пословица, «догонивши не нацлущися». Поймавши известную нить, нужно вести ее до конца, пока сама не оборвется. В числе причин, заставлявших меня бросить эту работу, была мысль, что я возьмусь за нее снова по выходе в свет хотя части Вашего словаря. Без подобной книги, при малой моей

начитанности в древних русс(ких) пам(ятниках), мне было бы трудно обойтись. Меня пугает между прочим то, что, взявшись за такую работу, даже при самых тесных ее границах, нужно бы на несколько лет отказаться от деятельности, заметной для той публики, внимание которой и стараюсь заслужить. Недостатки предварительной подготовки и выдержки и без того заставляют меня работать медленно» («Украина. — 1927. — Кн. 1 — 2. — С. 173).

46 В настоящее время эта часть рукописного наследия Потебни опубликована: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог. — М.; Л., 1941. Как отмечалось в предисловии, «разбивка отдельных глав на параграфы, установление последовательности в расположении материалов, как и вся остальная редакционная работа, были произведены А. В. Ветуховым, М. Д. Мальцевым и Ф. П. Филиным» (с. 3). Заслуживает в этой связи внимания следующее замечание В. И. Харциева: «Просматривая заметки о глаголе, мы пришли к тому печальному заключению, что то, что читалось в аудитории, не заносилось на бумагу. (...) Коротенький семестровый курс, читанный им в последнее время о глаголе, указывает на то, что он имел в виду дать стройную историю происхождения глагольных разрядов в такой же обработке, в какой мы имеем историю имени в 3-й части записок».

47 Потебня А. А. Мысль и язык. — Изд. 2-е, с предисловием М. Дринова. — Харьков, 1892.

48 Об этой книжке В. И. Харциев писал мне (19 декабря 1935 г.): «Вы, кажется, уже знаете, что издала эти лекции «сама» М. Ф. по моей инициативе, но при очень слабом, не по моей вине, моем участии. Летом «неожиданно» была напечатана книга, осенью, по возвращении моем из отпуска, мне преподнесен сюрприз — готовая, сброшюрованная в листах книга и предложено дать предисловие. Наспех составил список замеченных опечаток и «описок» слушательницы Максимович, предисловие и оглавление, и книга пошла гулять. Лекции будто бы просмотрены были самим А. А. и поэтому можно было смело печатать. Правда, в двух лекциях я нашел по одной поправке собственной рукой Потебни, но это не значило, что рукопись подготовлена была к печати. Совет использовать черновые наброски для лекции о «басне, пословице» самого Потебни или хотя в приложении дать, как материал, эти конспекты — оказался непринятым».

49 Потебня А. А. Язык и народность // Вестник Европы. — 1895. — № 9. — С. 5 — 37 («Из черновых рукописей Потебни извлечено В. И. Харциевым и Д. Н. Овсянником-Куликовским»); Потебня А. А. Отзыв о сочинении А. Соболевского «Очерки из истории русского языка». — Ч. 1. — Киев, 1884. II+166+III+приложения (1 — 24) с. // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. — (т. 1) 1896. — Т. 1. — Кн. 4. — С. 804 — 831. Последнюю публикацию по копии, сделанной М. Ф. Потебней, подготовил В. М. Ляпунов. 10 ноября 1896 г., возвращая А. А. Шахматову корректуру отзыва, В. М. Ляпунов писал: «Вы не можете себе представить, сколько времени я употребил на нее. Сначала я надеялся просмотреть и исправить ее, не проверяя цитат по источникам, из которых они взяты, но скоро убедился, что это совершенно невозможно, а потому на другой день отправился в библиотеку и притащил оттуда сборники Головацкого, Z. Raull, Козловского и друг., но на следующий день пришлось идти за другими, и все таки оказалось под конец, что кое-чего в библиотеке я не нахожу, хотя это должно быть в ней непременно, так как б(иблиотека)ка Потебни, из которой он черпал, находится в университете (...). Кроме того, еще одно обстоятельство задерживает меня задержать корректуру: Халанский посоветовал мне обратиться в архив университета, где должна быть чистовая рецензия Потебни на Соболевского, и я действительно ее нашел. (...) Эта рецензия, представленная в факультет, хотя меньше по объему и короче в фактической части, но, может

быть, более обработана и менее выражает мнения самого Потебни, а потому я думаю, что не мешало бы и ей воспользоваться. Статья эта заключает настолько глубокие и интересные соображения, что очень важно, чтобы она была напечатана с должным вниманием, и я очень благодарен Вам за привлечение меня к участию в ее напечатании». А в письме к тому же Шахматову 12 ноября 1896 г. Ляпунов снова возвращался к трудностям публикации статьи. «Не проверять цитат, — писал он, — не было никакой возможности, ибо часто встречаются такие слова, которые можно прочесть двояко; некоторые места удалось вставить лишь после долгого искания найти почти случайно, так как Потебня иногда забывал отмечать страницу» (Архив Академии наук СССР, ф. 134, оп. 3, № 683).

⁵⁰ Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. III. Об изменении значения и замена существительных. — Харьков, 1899.

⁵¹ 23 декабря 1891 г. Д. И. Багалей сообщил В. И. Ламанскому: «Через год мы рассчитываем устроить заседание нашего ист(орико)-фил(ологического) общ(ества), где будут прочитаны биографический очерки и оценка его трудов. В 4-й книжке «Сборника ист.-фил. общ.» будет его портрет и «поминка»; рассчитываем учредить премию его имени за работы по его науке для студентов. Одним словом, постараемся исполнить все, к чему обязывает долг перед памятью усопшего» (Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 1, № 62). А 14 ноября 1892 г. ученый-статистик и общественный деятель А. А. Руссов, уведомляя А. Н. Пыпина о том, что «29 ноября Историко-филологическое общество делает поминки по А. А. Потебне: будет панихида, речи о значении Потебни в философии языка, этнографии, этнологии и пр.», просил его: «Не пришлете ли приветствия какого-либо личного от себя, не побудите ли каких-нибудь учреждений сделать то же?» (ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, архив А. Н. Пыпина). Заседания Общества 29 ноября вошли в традицию и проводились, сколько можно судить, ежегодно — вплоть до 1917 года, когда Общество прекратило существование; сведения о ряде таких заседаний напечатаны в ряде томов «Сборника» Общества.

⁵² См. об этих письмах также: Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1905. — Т. 14. — С. L XII — L XIII; *Редис Е. К.* Памяти профессора А. А. Потебни. — Харьков, 1901; *Халанский М. Е.* Материалы для биографии А. А. Потебни // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1909. — Т. 18. — С. 10 — 29.

⁵³ Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1897. — Т. 10. — С. 6. Это решение было подтверждено еще раз пять лет спустя, когда «по предложению нескольких членов — собрать для издания письма А. А. Потебни» было решено «по возможности привести в исполнение это издание» (Там же. — 1905. — Т. 14. — С. L XIII). Для реализации этого постановления однако ничего не было сделано — ни тогда, ни позднее.

⁵⁴ Там же. — 1905. — Т. 14. — С. XCIII — XCIV. Эти предположения также не были осуществлены в свое время. Только в начале 1920-х годов, в Музее Слободской Украины им. Г. С. Сковороды (Харьков) был организован небольшой мемориальный отдел, посвященный Потебне; отдел этот составляли: письменный стол ученого, большой его портрет, кажется, работы художника Сахарова (как говорила мне М. Ф. Потебня, не очень удачный, страдавший техническими промахами и даже не передававший внешнего сходства), и еще какие-то мелочи.

⁵⁵ Намеченных, к слову сказать, единолично М. Ф. Потебней, которая мало прислушивалась к советам других и не слишком охотно с ними соглашалась; «широко пользовалась» она, как сообщал мне В. И. Харциев, только советами окружного инспектора П. Б. Лукьянова, «друга дома и, по-моему, «злого гения дома» (письмо 22 октября 1935 г.).

⁵⁶ В печатных протоколах Общества можно найти сведения и о некоторых неосуществившихся изданиях. 30 апреля 1898 г., например, В. И. Харциев сделал доклад о трех статьях Потебни, извлеченных из рукописей («Вступительная лекция о языке-знании», «Язык и народность. Возражения М. Мюллеру и другим по поводу всемирных языков», «Условия процветания и падения поэзии»); «постановлено дать цензурное разрешение на печатание и выпуск в свет этих статей» (Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1899. — Т. 11. — С. XX). 1 апреля 1902 г. тот же В. И. Харциев «заявил, что наследники А. А. Потебни желают получить (...) цензурное разрешение на посмертное издание небольшой статьи А. А. Потебни «Гипербола у Гогила», которая при издании будет снабжена предисловием В. И. Харциева». И на этот раз просимое разрешение было выдано (Там же. — 1905. — Т. 14. — С. LXXIV).

⁵⁷ *Архив Академии наук СССР*, ф. 9, оп. 2, № 39, л. 5 — 5 об. В официальных бумагах и на обложках издававшихся книг Мария Францевна Потебня именовалась Марией Владимировной; причины этого расхождения мне неизвестны. В том же «деле», откуда извлечено публикуемое обращение, подписто также «прошение» М. Ф. Потебни на имя президента Академии наук, великого князя К. К. Романова. Повторяя в общем ту же аргументацию, «прошение» содержит несколько небезынтересных дополнительных деталей. Во-первых, оно уточняет предположенный объем задуманного издания: «По моим соображениям, как неопубликованные рукописи, так и некоторые отпечатанные еще при жизни мужа работы его, ныне ставшие библиографической редкостью, составят свыше 200 печатных листов». Во-вторых, из «прошения» выясняются материальные чаяния М. Ф. Потебни: она просила содействия Академии своему ходатайству «о том, не признано ли будет возможным возобновить представление об испрошении мне усиленной пенсии со дня смерти моего мужа, что дало бы мне возможность на собственный счет довести до конца начатые уже мною работы по приведению в порядок и отпечатанию рукописей мужа. (...) Это послужило бы полным удовлетворением памяти человека, всю жизнь свою посвятившего науке и на своем трудовом поприще не всегда видевшего признание заслуг». На случай, если бы президент Академии наук отказался от поддержки подобного ходатайства, М. Ф. Потебня просила «содействия» «для испрошения мне пособия на напечатание вышепоименованных трудов» (Там же, л. 3 — 4 об). Желание получать «усиленную пенсию» основывалось на том, что А. А. Потебня умер в чине статского советника, между тем как по положению и по выслуге лет имел все основания быть действительным статским или даже тайным советником. По этому поводу М. Ф., как она сама рассказывала, вскоре после смерти мужа ездила в Петербург и получила заверения министра народного просвещения И. Д. Делянова в том, что им будет исправлена эта ведомственная «ошибка», вызванная тою подозрительностью к Потебне со стороны министерских верхов, о которой упоминалось выше. Для очень амбициозной М. Ф. Потебни исправление «ошибки» имело не только материальное, но также большое моральное значение: выплата же пенсии со дня смерти А. А. Потебни давала ей одновременно около шести тысяч рублей, — именно ту сумму, о которой она хлопотала и с которой, как ей казалось, можно было начать издание трудов А. А. Потебни.

⁵⁸ *Архив Академии наук СССР*. Протоколы Отделения русского языка и словесности за 1894 г., л. 100 об.

⁵⁹ *Архив Академии наук СССР*. Протоколы Отделения русского языка и словесности за 1895 г., л. 3 — 5. Отзыв был составлен, по-видимому, еще до личного знакомства А. А. Шахматова с М. Ф. Потебней. Начало этого знакомства относится к следующему приезду М. Ф. Потебни в Петербург, в начале 1896 г. Впоследствии, как будет показано ниже, М. Ф. Потебня неоднократно обращалась к А. А. Шахматову за советами относительно издания трудов Потебни — вплоть до 1914 г., когда начавшаяся война остановила все ее планы.

60 Архив Академии наук СССР, фонд 9, оп. 2, № 39, л. 8 — 8 об.

61 Там же, л. 10 — 10 об. Письмо не датировано; оно было доложено в заседании Отделения русского языка и словесности 4 марта 1895 г. ("Протоколы ОРЯС за 1895 г.", л. 26 об.).

62 Вспоминаю, что в апреле 1917 г. М. Ф. Потевня переслала через меня П. Н. Сакулину рукопись лекции Потевни о В. Ф. Одоевском, — автограф вместе со снятою ею копией. Возвращая рукопись, П. Н. Сакулин в письме ко мне указывал на то, что в некоторых местах копия неточно передает оригинал. На необходимость при подготовке рукописей Потевни к печати очень внимательно исправлять вольные и невольные огрехи копий М. Ф. Потевни жаловался в письмах ко мне также В. И. Харциев.

63 Журнал министерства народного просвещения. — 1892. — № 1. — Отд. 4. — С. 62.

64 Архив Академии наук СССР, ф. 9, оп. 2, № 39, л. 12 — 12 об. Это решение было доложено в заседании ОРЯС 9 сентября 1895 г. (см. Протоколы ОРЯС за 1895 г., л. 69).

65 Протоколы ОРЯС за 1896 г., л. 8.

66 Именно так она не раз в личных беседах квалифицировала постановление Отделения, хотя, казалось бы, назначенная сумма полностью покрывала издержки по изданию всего того, что к тому времени было подготовлено к печати (т. е. т. 3 «Из записок по русской грамматике»). А Б. М. Ляпунов, со слов А. А. Шахматова, рассказывал мне, что Отделение было готово затем постепенно издать и остальные неизданные труды Потевни, как равно и переиздать те, что уже разошлись и требовали переиздания.

67 Архив Академии наук СССР, ф. 9, оп. 2, № 39, л. 14 — 15. Письмо было доложено в заседании Отделения 9 марта 1896 (Протоколы ОРЯС за 1896 г., л. 17). Судьба этого письма очень занимала М. Ф. Потевню. Вскоре после возвращения из Петербурга в Харьков она запрашивала А. А. Шахматова: «Докладывал ли Бычков о моем письме, в котором я отказываюсь от пособия? Хорошо было бы, если бы он прочел самое письмо в заседании, чтобы видны были мотивы отказа». Далее она писала: «Обдумывала, правильно ли я поступила в этом деле? Пришла к заключению, что, поступивши иначе, я бы оскорбила память покойного, человека при жизни очень самолюбивого, конечно, в наилучшем смысле. Он понял бы, что большинству состава Отд(еления) русск(ого) яз(ыка) никакого интереса не представляет, что там написал какой-то провинциальный ученый. В пессимистические минуты он не раз и высказывал это. Может быть, многие из этих господ говорят про себя то же, что сказал, с некоторым негодованием, попечитель Харь(овского) учеб(ного) округа, Воронцов-Вельяминов, читая некрологи по смерти мужа: «Не понимаю, что это им вздумалось так раздувать славу Потевни!». А попечитель этот более десяти лет в Харькове! После всего этого Вы можете представить, какое было для меня удовольствие встретить в Вас человека, интересующегося трудами покойного и признающего его ученые заслуги". И еще: «Когда я просила субсидию в 6000, то далеко не преувеличила сумму, как, кажется, думает г. Бычков. Не имею платного не только корректора, но и для проверки, что тоже немалый труд. (...) Бывшие ученики покойного охотно бы работали, да и работали первое время, пока были без занятий; теперь все они пристроились и поэтому время их занято, на них и жаловаться нельзя, «своя рубашка ближе к телу»; некоторые из них обзавелись семьями, следовательно, и частными уроками. Имей я деньги в руках, сговорились бы с несколькими из них, они бы бросили частные уроки, а так не знаю, когда и приступлю к печатанию III т. гр(амматики) и тех записок, на к(ото)рые Вы указали. Боюсь, что и будущей осенью, как предполагаю, пожалуй, не удастся, хотя употреблю все усилия для этого. Вы не поверите, до чего все это меня волнует" (Архив Академии наук СССР, ф. 134, оп. 3, № 1228; письмо не датировано, относится, вероятно, к марту 1896 г.). Вслед за этим письмом М. Ф. Потевня написала

Шахматову еще одно, в котором повторяла и, по-своему, углубляла аргументацию своего отказа. «Как я говорила Вам, — писала она, — мой план и желание — поскорее начать печатание трудов по грамматике и теории словесности; последние, еп раganthèse, кажется, Академией не признаются, но по отзывам людей, действительно заинтересованных и отнесшихся к рукописям со вниманием, издание этого труда считается немаловажным, а для меня, видевшей процесс работы и сколько души туда вложено, дело еще и сердечное. Кроме того, как Вы и сами говорили, и другие специалисты считают нужным переиздание некоторых из прежних, уже разошедшихся сочинений. При беглом обзоре непереписанного материала, Вы нашли ценную статью «Об ударениях»; если бы было время, то, вероятно, Вы нашли бы еще много ценного. Все это желательно бы было издать поскорее, не откладывая, одно за другим. Я это излагала и академику А. Ф. Бычкову и Л. Н. Майкову. На все эти нужды последовало предложение 1400 р. Такое предложение я считаю желанием от меня отделаться. Если бы это дело представляло какой-нибудь интерес для Академии, то она нашла бы возможность искодатайствовать нужную сумму. Академия, со смерти Изм. Ив. Срезневского, который ценил покойного, совершенно его игнорировала, о чем он не раз с горечью говорил. Не удивительно, что и теперь отнеслась к его трудам таким же образом.

А. Ф. Бычков утверждает, что грамматических работ, представленных в прошлом году (3-й т. грамматики) будет не более 10 — 15 листов печатных. Я высчитала по буквам, — наберется листов около 40, формата «Мысль и язык». Будь их листов 10-ть, я бы не стала и просить о пособии. Ведь издала же я на свой счет «М(ысль) и яз(ык)» и «десять лекций по теории словесности», что составляет 28 листов.

Повторяю, я категорически отказалась от предлагаемых 1400 руб. Эта мизерная сумма не оказала бы мне желанной пользы, а между тем поставила бы меня в положение лица, обязанного Академии. Конечно, я впредь никогда Академии никакой просьбой не беспокою, и от печатанья там трудов больших или малых навсегда отказываюсь. На печатанье трудов покойного, что и теперь составляет цель моей жизни, надеюсь найти средства и помимо Академии; на худой конец, если бы даже пришлось влезть в долги, то и перед этим не остановлюсь.

Очень и очень благодарю Вас за Ваше посещение; большой радостью было для меня встретить в Вас человека ценящего и интересующегося трудами покойного мужа моего" (Там же; письмо может быть датировано также мартом — началом апреля 1896 г.).

68 Архив Академии наук СССР, фонд 134, оп. 3, № 883. По положению об академических премиях Академия наук была лишена права по собственной инициативе выдвигать заслуживавшие внимания сочинения.

69 Русские ведомости. — 1903. — № 204.

70 Заем был оформлен при содействии крупного финансиста и банковского деятеля в Харькове А. К. Алчевского, лично знавшего А. А. Потевню.

71 «Теперь, наконец, покончила с перепискою, что оказалось не совсем легким делом, — писала М. Ф. Потевня, по-видимому, в марте 1896 г. — рукопись неразборчива, многое пришлось догадываться. Не хотелось посылать Вам, не проверив с кем-нибудь из людей сведущих. Опять вышла задержка: все заняты. Б. М. Ляпунов спешит с диссертацией, он по своей доброте не отказал бы придти мне на помощь, но я не хотела его тревожить. Наконец, удалось запастись одного из бывших слушателей покойного мужа, Харциева, но он более 1 — 2 часов зараз не может посвятить, и то изредка. Работа кропотливая, в три вчераша, т. е. за шесть часов, мы и половины не прочитали, хотя статья и невелика» (Архив АН СССР, ф. 134, оп. 3, № 1228).

72 Опубликовано, кстати сказать, очень точно, со многими искажениями текста, с пропусками неразобранных мест или вставок, не получивших в рукописи точной

атрибуции. Этот неисправный текст повторен в «Записках по теории словесности» (1905); наново выверен по рукописи текст статьи только в пятом издании «Мысль и язык» (1926).

73 Архив АН СССР, ф. 134, оп. 3, № 1228; письмо относится к марту — апрелю 1896 г.

74 Ветухов А. Философские вопросы при свете языка. Заметка о вышедшем посмертным изданием труде А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике. III // Русский филологический вестник. — 1899. — № 4. — С. 129 — 159 и отд.; Харциев В. И. Новый труд по истории языка и мысли А. А. Потебни (Посмертное издание) // Труды Педагогического отдела Харьковского Историко-филологического общества. — 1899. — Вып. 5. — С. 143 — 162. 2/14 марта 1900 г. Д. Н. Овсяннико-Куликовский писал А. А. Шахматову: «Я хотел бы прислать Вам (для «Известий Отделения русского языка и словесности». — И. А.) несколько заметок о третьей части «Из записок по русск(ой) грамм(атике)» Потебни. По некоторым из тех вопросов, которые там трактуются, у меня есть кое-какие свои данные (из санскрита, греч(еского), цер(ковно)-сл(авянского), а также др. — еврейского), собранные раньше, при чтении текстов, а также есть и кое-какие мысли, позволяющие сгруппировать эти мысли в респонд к исследованиям Потебни» (Архив АН СССР, ф. 134, оп. 3, № 1080). В результате появилась работа Д. Н. Овсяннико-Куликовского: Из синтаксических наблюдений. I. К вопросу о классификации бессубъектных предложений // Известия Отделения русского языка и словесности. — 1900, — Т. 5. — С. 1146 — 1186 и отд.; СПб, 1900. Тому же автору принадлежит актовая речь в Харьковском университете, произнесенная 17 января 1901 г. — «О значении научного языкознания для психологии мысли» (Записки Харьковского университета. — 1901. Кн. 2, часть официальная. — С. 1 — 16), почти целиком посвященная трудам Потебни и, в частности, ч. III «Записок по русской грамматике».

75 Архив АН СССР, ф. 134, оп. 3, № 1228; датируется по почтовому штемпелю: СПб. 17.IX.1903.

76 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. — Харьков, 1905. — с. V: «Три отдела», о которых упоминается в предисловии: «Поэзия и проза», «Тропы и фигуры», «Мышление поэтическое и мифическое».

77 В другом месте своего большого письма В. И. Харциев писал еще: «У меня была мысль издать записки по своему плану, но удерживало меня от этого одно обстоятельство: М. Ф. могла причислить меня к лику «недобросовестных плагиаторов», как Д. Н. Ов(сяннико)-Кул(иковского), и я так и остался при добром намерении». Лишь несколько лет спустя, уже по окончании работ над «Записками по теории словесности», В. И. Харциев частично осуществил свое намерение в интереснейшей и ценной статье «Основы поэтики А. А. Потебни» (Вопросы теории и психологии творчества. — Т. 2. — Вып. 2. — С. 1 — 98. — Изд. А. С7 Суворина), составленной «по лекциям, читанным А. А. Потебней в конце 80-х годов, и заметкам бывшего слушателя», т. е. собственно говоря, являвшейся тщательной обработкой лекционных студенческих записей. Ср. в том же издании статью Б. А. Лезина, «Психология поэтического и прозаического мышления» (с. 99 — 137), также составленную «по студенческим записям лекций А. А. Потебни» (в основном старшего брата автора, В. А. Лезина).

78 Кстати сказать, такую же раздраженность в отзывах о М. Ф. Потебне я наблюдал у большинства тех, кому в свое время доводилось сталкиваться с нею по поводу издания и публикации сочинений Потебни. Более или менее открыто и резко это раздражение высказывали и Н. Ф. Сумцов, и Д. Н. Овсяннико-Куликовский, отчасти — Д. И. Багалея, Б. М. Ляпунов, Б. А. Лезин (называю тех, с кем мне лично приходилось беседовать). Считаю вместе с тем своим долгом отметить, что я сохранил о М. Ф. Потебне самые теплые воспоминания, что в отношении ко мне она неизменно проявляла

большое внимание и полную готовность идти навстречу моим просьбам и пожеланиям. В конце концов, следуя моим советам и уговорам, она в 1918 году передала большую часть рукописей А. А. Потебни в Харьковский Исторический архив, а переписку учебного и ряд книг его с пометками — отдала мне, для составления биографии Потебни (позднее, в 1925 году, переписка была присоединена к основному фонду рукописей ученого).

79 Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. — Изд. 3-е. — Харьков, 1930. — С. 37 — 39. Внимательное сопоставление этой книжки с соответствующими страницами «Записок» вообще дает обильный материал для положительного решения вопроса об использовании слушательских записей — как для общей композиции материала, так и для более связного, подробного и полного его изложения, для уточнения формулировок отдельных положений.

80 Так, например, в текст статьи «Язык и народность» из других рукописей внесены следующие места: примечание 1 на с. 167; большой фрагмент, начинающийся словами «Человек, говорящий на двух языках...» (с. 167) и заканчивающийся словами «...два различные понятия о хлебе» (с. 172). Кроме того, фраза «До сих пор мысль (...) и существует сама по себе» (с. 193) перенесена сюда со с. 192, где она шла после слов «...а прочее все гиль?» и была автором зачеркнута.

81 Желая окончательно отбросить какую-либо фразу, абзац и т. д., Потебня тщательно (построчно) вычеркивал данное место в рукописи, либо вовсе вырезал его.

82 Необходимо заметить, что сравнение этих заметок Потебни с рукописным оригиналом вызывает много недоумений: не говоря о неоднократных вставках из других рукописей, источник которых не всегда в настоящее время поддается установлению, не говоря о вопиющих ошибках переписчиков и не менее вопиющих типографских опечатках, в ряде случаев очевидно стороннее (М. Ф. Потебни?) вмешательство в самый публикуемый текст. Ограничиваюсь (в параллельном сопоставлении) лишь двумя примерами из многих возможных:

Текст рукописи

Противоположное направление состоит, конечно, не в отрицании дальних целей и идеалов, как разница между хорошим шахматным игроком (и дурным) не в том, (что) у одного из них нет цели выиграть, а в степени верности оценки промежуточных ходов.

В 1851 г. покойный М. В. Неговский показывал мне кем-то добытый из архива Харьковского врачебного управления акт освидетельствования умственных способностей одного мужика, хорошего семьянина и благочестивого человека, убившего нескольких членов своей семьи, потому что она бы вошла в состав военного поселения. Подробности я забыл, но помню, что в числе подписавших акт профессоров Медицинского факультета был Ив. Н. Рейпольский.

Текст «Записок»

Противоположное направление состоит, конечно, не в отрицании дальних целей и идеалов, как разница между хорошим шахматным игроком и дурным состоит не в том, что один стремится к выигрышу, другой нет, а в том, что у другого цель заслоняет промежуточные ступени.

В 1851 г. покойный врач Улеговский показывал мне кем-то добытый из архива

е
и
у
е
в
2.
с-
ва
гь
и
в-
7.
а и
я в
13.
че-

(ус-
зд.)

Харьковского врачебного управления акт освидетельствования умственных способностей мужика, хорошего семьянина и благочестивого человека, убившего нескольких членов семьи, потому что они бы вошли в состав военных поселений (так называемая высшая политика, оказывающаяся на деле очень недалеконвидной), так и в радикальном, действия, называемые, смотря по точке зрения, благоразумными, политичными, иногда — преступными. Сюда — революционная деятельность христианства по отношению к народной литературе. Сюда — многие нынешние действия разрада «цель оправдывает средства».

83 См. *Потебня А. А.* Из записок по теории словесности. — Харьков, 1905. — С. 538 — 542 (вступительные замечания А. Русова к переводу «Одиссея»).

84 Письмо В. И. Харциева ко мне 22 октября 1935 г.

85 *Архив АН СССР*, ф. 134, оп. 3, № 1228. Заслуживают, в том же письме, внимания припоминания М. Ф. Потебни относительно литературных вкусов своего мужа: «Ал. Аф. очень высоко ставил Л. Н. Толстого как гениального художника слова, читал и перечитывал его сочин(ения), также глубоко возмущался той частью его сочин(ений), которую он отметил в прилагаемых листах. Из наших художников он выше всех, конечно, ставил Толстого и Тургенева; первого как человека он не очень любил. Тургенев же и как человек был ему глубоко симпатичен. Праддивая, мягкая душа последнего была более родственна покойному. Очень ценил Салтыкова, восхищаясь его слогом. Из забытых — давал большую цену Одоевскому. Есть наброски и о нем. Из полузабытых — придавал большое значение Писемскому. О Достоевском есть такие же конспективные заметки, как и прилагаемые о Толстом. Если Вы найдете, что следует печатать это, то это будет относиться и к Достоевскому. Я издам их тогда вместе». Ответное письмо А. А. Шахматова не сохранилось. «Черновые заметки А. А. Потебни о Л. Н. Толстом и Ф. М. Достоевском» были опубликованы несколько позднее Б. А. Лезиным в одном из сборников «Вопросы теории и психологии творчества». Т. 5. — Харьков, 1914. — С. 263 — 292. Заметки А. А. Потебни о В. Ф. Одоевском отчасти использованы Б. А. Лезиным в его студенческой работе «Очерки из жизни и литературной деятельности кн. В. Ф. Одоевского». — Харьков, 1907. — С. 90, 110 и др.

86 По-видимому, А. А. Шахматов рекомендовал переиздание «Двух исследований» (точнее, второго исследования — «О звуковых особенностях русских наречий», «Первую статью — о полногласии — я ни в коем случае не советовал бы перепечатывать», — писал он в черновом наброске ответа на недатированное письмо М. Ф. Потебни, 1914 г., на его обороте) в одном из давнишних, не сохранившихся писем к М. Ф. Потебне. В упомянутом недатированном письме к А. А. Шахматову, 1914 г., последняя писала: «Теперь собираюсь приступить к печатанию, по Вашему указанию, «Два исследования о звуках рус(ского) яз(ыка)». Предполагала начать с этого сочинения, но вышел затруднения. Случайно нашла истрепанный экземпляр этого сочинения, в который вложено много листов исписанной бумаги, с указанием на страницы, к которым относятся заметки; кроме того, много надписано на полях; всего этого наберется более полутора печатных листов. Все это мною уже переписано. Долго пришлось возиться, написано с большими сокращениями, а главное, так мелко, что приходилось прибегать к лупе. К ней приходится прибегать при всей переписке. Все это, и моя довольно продолжительная болезнь осенью, заставило отложить печатание этого труда. Покойный, по-видимому, до конца жизни вписывал в это свое сочин(ение) все новое, что выходило и что считал ценным. Так, во многих местах книги и на листах карандашом приписано указание на Вашу книгу «Об яз(ыке) и(овгородских) гр(амот)» (Исследование о языке Новгородских грамот XIII и XIV века». СПб, 1886. — И. А.). При переписке стараюсь, по мере разумения, раскрывать сокращения. Хотелось бы знать настоящий заголовок Вашей книги, чтобы хоть раз на-

печатать его полностью. Если это Вас не особенно затруднит, сообщите пожалуйста. Останова еще в том, как разместить этот добавочный материал? Обратиться за советом не к кому. Харциев давно выбыл из Харькова, директорствует в уездном городе. Кто и мог бы прийти на помощь, все заняты своими делами и поисками хлеба насущного, который к тому же становится все дороже. При таких затруднениях, думаю, будет удобнее всего вынести в конец книги как дополнение?» (Архив АН СССР, ф. 134, оп. 3, № 1228). Горько жалуюсь на свои материальные затруднения с издательством («На издание средств у меня нет. Хотя и считаюсь домовладелицей, но так солидно сижу в банке, что скорее могу считаться управляющей банка»), М. Ф. Потебня вместе с тем категорически отказывалась от предлагавшихся А. А. Шахматовым академических субсидий, — об этом см. выше.

87 В одном из писем к А. А. Шахматову 1914 г. она сообщала: «Из рукописей переписано, почти готово к печати: «Об ударениях и о склонениях». Переписываю довольно большую рукопись «О глаголе». Последнюю рукопись М. Ф. Потебни даже переслала В. И. Харциеву для редактирования и подготовки к печати, однако оказалось, что без тщательной проверки по оригиналу и источникам, пользуясь одною только копией М. Ф. Потебни, отредактировать рукопись невозможно. Книга увидела свет лишь в 1941 г., подготовленная, насколько известно, без учета копий М. Ф. Потебни, непосредственно по автографу.

88 О создании и первоначальной работе Комитета см. его отчет: «Випикнення й діяльність Комітету для видання творів О. О. Потебні» в «Бюлетені Редакційного Комітету для видання творів О. О. Потебні». — 1922. — Ч. 1. — С. 3 — 8.

89 Привожу здесь принятый Комитетом проект плана издания сочинений А. А. Потебни:

Вступительный том. Биография Потебни (20 л.); оценка его деятельности (15 л.), библиография его трудов и работ о нем (5 л.)

Серия первая: Философия языка и мысли. Теория слова.

Том I. — «Мысль и язык» (15 л.) со вступительными статьями.

Том II. — Посмертные статьи и заметки. Поэзия и проза: — 1. Определение поэзии. — 2. Слово и его свойства. Речь и понимание. — 3. Три составные части поэтических произведений. — 4. Значение поэтических произведений для самого автора. — Поэт и публика. Критика толпы. Стыдливость творчества. — 5. Понимание (критика). Идеальность поэзии и науки. — 6. Поэтичность содержания. Формальность поэзии. — 7. Виды поэтической иносказательности. — 8. Влияние поэзии. Героизм. — 9. Цель в искусстве. — 10. Вдохновение. — 11. Поэзия и проза. — 12. Критика и сосредоточенность знаний; взаимодействие наук. — 13. Условия процветания и падения поэзии. — 14. Цивилизация и народная поэзия. — 15. Поэзия устная и письменная. — 16. Пессимизм и ретроспективность мысли. — 17. Язык и народность (15 л.).

Том III. — Из лекций по теории словесности. Мифотворчество. — 1. О тропах и фигурах. — 2. Синекдоха и эпитет. — 3. Метонимия. — 4. Метафора. — 5. Сравнение. — 6. Виды метафор со стороны качества образа и отношения к значению. — 7. Басня. Пословица. — 8. Субъективные средства образительности. — 9. Гипербола и ирония. — 10. Конкретность мышления. — 11. Лучший журавель у неба, ніж синиця в жмені. — 12. Умозаключение в области метафоры, метонимии и синекдохи. — 13. Миф и слово. — 14. Об участии языка в образовании мифов. — 15. Характер мифического мышления. — 16. Религиозный миф (18 л.).

Серия вторая: Грамматические труды.

Том IV. — 1. Два исследования о звуках русского языка. — 2. Записки о малорусском наречии. — 3. Рецензия на статью о подвижных звуках в малор. языке (неизд.) (20 л.).

Том V. — 1. Язык и языки. — 2. Вступительная лекция 1881 — 1882 г. — 3. Из записок по русской грамматике, ч. 1 — 4. Из записок по русской грамматике, ч. 2 (40 л.).

Том VI. — Из записок по русской грамматике, ч. 3 (40 л.).

Том VII. — 1. Значения множественного числа. — 2. Из записок по русской грамматике, ч. 4 (неизд.). — 3. Рецензия на литовско-русский словарь бр. Юшкевичей (неизд.) (40 л.).

Том VIII. — 1. К истории звуков русского языка, ч. I. — 2. К истории звуков русского языка, ч. II (22 л.).

Том IX. — 1. К истории звуков русского языка, ч. III. — 2. К истории звуков русского языка, ч. IV. — 3. Этимологические заметки. — 4. Рецензия на книгу П. И. Житецкого (25 л.).

Серия третья: Этнография, народная поэзия.

Том X. — 1. О некоторых символах. — 2. О связи некоторых представлений о языке. — 3. Заметка о "Кике". — 4. О доле и сродных с нею существах. — 5. К статье Афанасьева "Для археологии русского быта". — 6. О купальских огнях. — 7. Переправа через воду (20 л.).

Том XI. — 1. Рецензия на статью П. А. Лавровского "Исследование о мифических верованиях славян в облако и дождь" (неизд.). — 2. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. — 3. Ответ Лавровскому. — 4. Приложение: рецензия Лавровского (30 л.).

Том XII. — 1. Малорусская народная песня по списку XVI века. — 2. Слово о полку Игореве. — 3. Заметки о Задонщине (20 л.).

Том XIII. — 1. Рецензия на сборник Головацкого. — 2. О народности по поводу соч. Рюдигера. — 3. О народности по трудам Кулиша (неизд.) (15 л.).

Том XIV. — 1. Заметка о двух песнях. — 2. Рожа-мажа. — 3. Село, деревня (К истории быта). — 4. Малорусские домашние лечебники. — 5. Заговоры. — 6. Простейшая форма колдовства и чар. — 7. Объяснение малорусских и сродных народных песен, т. 1 (25 л.).

Том XV. — Объяснение малорусских и сродных народных песен, т. 2 (50 л.).

Том XVI. — Материалы для словаря (20 л.).

Серия четвертая:

Том XVII. — 1. Об Одиссее. — 2. Перевод Одиссеи. — 3. Заметки о Толстом, Достоевском и Одоевском. — 4. Рецензии на диссертации Сумцова, Шерцля, Соболевского, Халанского, Воеводского и др. — 5. Ответ Вессонову. — 6. Некролог А. В. Попова. — 7. Некролог М. А. Колосова. — 8. Реферат о Достоевском и др. (20 л.).

Серия пятая: Переписка.

Том XVIII. — Письма Потебни и к нему (20 л.).

Том XIX. — Дополнительный, с новыми материалами (20 л.).

90 Задачи эти отчетливо были сформулированы в ряде докладов на состоявшейся 23 — 27 декабря 1960 г. в Харькове Третьей республиканской славистической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения А. А. Потебни; см. сборник тезисов докладов и сообщений конференции: "О. О. Потебня и деятели питания сучасної славистики", Харьков, 1960.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Чусинов П. В. (Таганрог). А. А. Потебни об общечеловеческих и национальных формах мышления в их отношении к языку	5
Ажжюк Б. М. (Киев). Языковые явления как этнокультурная целостность	26
Гречко В. А. (Горький). А. А. Потебни о содержании и форме в языке	44
Темляков Ю. П. (Полтава). Аналогия слова и искусства в концепции А. А. Потебни	59
Минералов Ю. И. (Москва). Практическая семасиология (Об абстрактном и конкретном в концепции А. А. Потебни)	74
Крисьюк В. Б. (Рига). Двойной объектный винительный в славянских языках в свете концепций А. А. Потебни и А. В. Попова	88
Диничев К. А. (Влаговград). А. А. Потебни как собиратель и исследователь фольклора	100
Мацейкив М. А. (Киев). Вопросы этнической психологии в научном наследии А. А. Потебни	111
Арбат Н. Н. (Нежин). О лекторском мастерстве А. А. Потебни	124
Черныш Т. А. (Киев). А. А. Потебни и проблемы параллелизма в исторической семасиологии	140
Брицман В. М. (Киев). Синтаксис и семантика инфинитива в концепции А. А. Потебни	149
Дмитренко Н. К. (Киев). Роль А. А. Потебни в становлении М. Г. Халанского как ученого	161
Потебни А. А. Осочинении М. Халанского "Великорусские былинки Киевского цикла". — Варш[ава], 1885. — 235 стр. Публикация Н. К. Дмитренко	165
Потебни А. А. Критические заметки о рецензии П. А. Вессонова на фольклористический труд М. Г. Халанского. Публикация Н. К. Дмитренко	172
Гольберг М. Я. А. А. Потебни и развитие славянского теоретического литературоведения	181
Гальченко С. А. (Киев). О работе И. Я. Айзенштока над биографией А. А. Потебни	191
Айзеншток И. Я. Из истории научного наследия А. А. Потебни. Публикация С. А. Гальченко	194
Список сокращений трудов А. А. Потебни	243

АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ
ИМ. А. А. ПОТЕВНИ

Научное издание

**А. А. ПОТЕВНЯ
И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОЛОГИИ
(СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ)**

Ответственный редактор В. Ю. Франчук

Київ Наукова думка 1992
(На украинском языке)

Художній редактор А. О. Комякова
Технічний редактор Г. М. Ковальова
Коректори А. І. Семлюк, А. Ф. Рябцева

Підписано до друку 10.06.91. Формат 60×84/16. Папір офс. № 1. Гарн. Тип Даймс.
Друк офсетний. Ум.-друч. арк. 14,42. Ум. фарбо-відб. 14,65. Обл.-вид. арк. 17,45.
Тираж 480 пр. Зам. № 287.

Оригінал-макет підготовлено в редакції комп'ютерного редагування
видавництва «Наукова думка». 252601 Київ 4, вул. Репіна, 3.

Віддруковано у Київській книжковій друкарні наукової книги.
252004 Київ 4, вул. Репіна, 4.

**СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ПРАЦЬ
О. О. ПОТЕВНИ**

- Автобиограф. — Автобиографическое письмо к А. Н. Пыпику // *Пыпин А. Н. История русской этнографии*. Т. 3. Этнография малорусская. — Спб., 1891. — С. 420 — 424.
- Зап. по р. гр. — Из записок по русской грамматике. — М.: Учпедгиз; Просвещение, 1958.
- Т. 1-2. (3-е изд.): Учпедгиз, 1958. — 532 с.
- Т. 3. (2-е изд.): Просвещение, 1968. — 551 с.
- Т. 4. Вып. 2 (2-е доп. изд.): Просвещение, 1977. — 406 с.; 1-е изд. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — 318 с. (В одном выпуске).
- Зап. по теории — Из записок по теории словесности (Поэзия и проза. Тропы и фигуры. Мышление поэтическое и мифическое). — Харьков: М. В. Потевня, 1905. — 649 с.
- Исслед. о звуках — Два исследования о звуках русского языка.
1. О полных гласных.
 2. О звуковых особенностях русских наречий. — Воронеж, 1886. — 156 с.
- Ист. рус. яз. — История русского языка // *Потевнянский читанья*. — К., 1981.
- К ист. звуков — К истории звуков русского языка. — Воронеж; Варшава, 1876 — 1883.
- Ч. 1. — Воронеж, 1871. — 243 с.
 - Ч. 2. — Варшава, 1880. — 96 с.
 - Ч. 3. — Варшава, 1881. — 144 с.
 - Ч. 4. — Варшава, 1883. — 96 с.
- Лекции по теории — Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка. — Харьков, 1894. — 162 с.
- Материалы — *Халанский М. Г.* Материалы для биографии А. А. Потевни // *Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва*. — 1909. — Т. 18. — С. 10 — 29.
- Мысль и язык — Мысль и язык. — 3-е изд., доп. статьями "Язык и народность" и "О национализме". — Харьков: М. В. Потевня, 1913. — 225 с.
- Объяснения... песен — Объяснения малорусских и сродных народных песен. — Варшава, 1883 — 1887.
- Ч. 1. — 1883. VIII. — 268 с.
 - Ч. 2. — 1887. — 809 с.
- О знач. обрядов — О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. — Читения Моск. о-ва истории и древностей рос. ... — 1865. — Кн. 2. — С. 1 — 84; Кн. 3. — С. 65 — 232; Кн. 4. — С. 233 — 310.
- О малорус. нареч. — Записки о малорусском наречии. — Воронеж, 1871. — 134 с.
- О... символах — I. О некоторых символах в славянской народной поэзии. II. О связи некоторых представлений в языке. III. О купальских огнях и сродных с ними представлениях. IV. О доле и сродных с нею существах. — Харьков: М. В. Потевня, 1914. — 243 с.
- Рец. [на кн.] *Потевнянский читанья* — Народные песни Галицкой и Угорской Руси / *Собр. Я. Ф. Галицкий*; 3 ч. В 4-х т. — М., 1878. — Зап. Акад. наук. — 1880. — Т. 37. — Прил. № 4. Отчет о 22-м присуждении награды гр. Уварова, с. 64 — 152.
- Слово... Примеч. — Славян в полях Игореве. Текст и примечания. 2-е изд. с доп. из черновика рукописей. "О Задонщине". II. Объяснение малорусской песни XVI в. — Харьков: М. В. Потевня, 1914. — 233 с.

ЗМІСТ

Передмова	3
Чесноков П. В. (Таганрог). О. О. Потебня про загальнонаціональні і національні форми мислення в їх відношенні до мови	6
Алжюок Б. М. (Київ). Мовні явища як етнокультурна цілісність	16
Гречко В. О. (Горький). О. О. Потебня про зміст і форму в мові	44
Тепляко Ю. П. (Полтава). Аналогія слова і мистецтва в концепції О. О. Потебні	59
Мінералов Ю. І. (Москва). Практична семасіологія (про абстрактне й конкретне в концепції О. О. Потебні)	74
Крисюк В. Б. (Рига). Подвійний об'єктивний знахідний в слов'янських мовах у світлі концепції О. О. Потебні і О. В. Попова	88
Дмишев К. А. (Влаговград). О. О. Потебня як збирач і дослідник фольклору	100
Мацейків М. А. (Київ). Питання етнічної психології в науковій спадщині О. О. Потебні	111
Арбат Н. М. (Ніжин). Про лекторську майстерність О. О. Потебні	124
Черниш Т. О. (Київ). О. О. Потебня і проблеми паралелізму в історичній семасіології	140
Врціши В. М. (Київ). Синтаксис і семантика інфінітива в концепції О. О. Потебні	149
Дмитренко М. К. (Київ). Роль О. О. Потебні в становленні М. Г. Халанського як ученого	161
Потебня О. О. Про твір М. Г. Халанського "Великорусские былинны Киевского цикла". - Варш[ава], 1885. - 235 стр. Публікація М. К. Дмитренка	165
Потебня О. О. Критичні замітки про рецензію П. О. Безсонова на фольклористичну працю М. Г. Халанського. Публікація М. К. Дмитренка	172
Гольберг М. Я. О. О. Потебня і розвиток слов'янського теоретичного літературознавства	181
Гальченко С. А. (Київ). Про працю І. Я. Айзенштока над науковою біографією О. О. Потебні	191
Айзеншток І. А. З історії наукової спадщини О. О. Потебні. Публікація С. А. Гальченка	194
Список скорочень праць О. О. Потебні	243

Видавництво "Наукова думка"
1992 року випустить у світ книги:

Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови.
23 арк. — 4 крб. 90 к.

В монографії висвітлюються походження і розвиток масиву давньоруської лексики для позначення предметів і явищ навколишньої дійсності. Розглядаються словникові системи, пов'язані з побутом, простором і часом, будовою всесвіту, землі, а також георгафічна, метеорологічна, ботанічна, зоологічна та інша інша номенклатура X — XIII ст. Досліджується доля успадкованої давньоруської лексики в українській (літературній та діалектній) мові протягом усього її розвитку. Для славістів, істориків східнослов'янських мов, етимологів, лексикологів, природознавців, викладачів, студентів.

Пещак М. М. Розвиток структури давньоруського та староукраїнського наукового тексту.
15 арк. — 3 крб.

У монографії докладно характеризується еволюція способів оформлення стародавніх рукописних наукових книжок, поділу наукових творів на томи, розвиток багатоманітності супровідних текстів наукового твору в книжці, аналізуються їх текстотворчі засоби. Розглядаються особливості композиційної будови основного тексту наукових творів та ознаки, якими вони відрізняються від інших літературних стилів. Для мовознавців, літературознавців, істориків, видавничих працівників та дослідників книги і письма.